

**КОНСТАНТИН ТАРАСОВ**

## **Память о легендах**

**Белорусской старины голоса и лица**

### **от автора**

Любовь к Родине впитывается с молоком матери и обязательно предполагает знание прошлого своего народа — его побед и поражений, его героев, мыслителей, великих мастеров, памятников его материальной и духовной культуры.

Память о прошлом требует постоянного о нем напоминания, постоянного внимания.

Память требует заботы. Это тем более относится к прошлому белорусского народа, который часто оказывался в смерче военных действий и нес невосполнимые потери людей, материальных ценностей, духовных сокровищ.

Любовь к Родине не является однако следствием полученных знаний; скорее стремление к знанию есть следствие любви к Родине. Именно любовью к Родине диктуется желание проникать в загадки древности, узнавать о том, что было, но чего уже нет или что осталось малоприметными следами в скупых словах летописей и немногих документов, что затопталось чередой столетий, закрылось глухими туманами прошедших эпох.

Интерес к прошлому носит духовный характер, он коренится в существе человека — жизнь которого коротка, но разум которого желает объять необъятное время, заглядывает в будущее и проникает в прошлое.

События прошлого, как бы далеко они от нас не отстояли, всегда отражают усилия конкретных людей. Зачастую имена их неизвестны, облик неясен, непонятны их нравы, стерлись или остались отголосками их верования, песни, легенды, желания души и заботы ума. Но исторические изыскания дают ту основу, на которой наше воображение способно рисовать образы минувшей жизни, понимать помыслы и страсти наших предков, чувствовать их не обезличенно под национальными или родовыми названиями, а в плоти жизненно важных дел каждого поколения, в тех неизбежных ограничениях обстоятельствами, которые поставлены малыми сроками человеческой жизни.

Жизнь народа не имеет отправной точки, во всяком случае, она не поддается познанию. Ни одна дата не является исходной: всегда нечто было и прежде. Белорусы сложились из смешения славянских и балтийских племен, но и славяне пришли в Восточную Европу не из рая. Первое письменное сообщение о славянах оставлено

Геродотом, который приводит их собственное название — сколоты. Давность жительство славян в верхнем Поднепровье составляет три с половиной тысячи лет. Но где они были прежде? Из каких мест и какими путями пришли сюда? Что из этой трехтысячелетней истории нам известно?

Деятельность каждого поколения длится лет двадцать, затем его сменяет следующее и само сменяется новым, и в этой смене, в продолжении забот, в передаче конкретными людьми друг другу опыта и традиций, своих духовных обретений и ткется нить времени, действует его смысловой нерв и событийный остов.

Не всегда прошлое предстает в явных приметах, как, например, в памятниках материальной культуры; в духовной культуре сложнее рассмотреть начальное и нынешнее — здесь напластования времен спаиваются и приобретают цельность; необходимо знать историю идей и сознания, их трансформацию, их сложное существование в целом ряде сменившихся политических и жизненных укладов.

Любое знание о прошлом приближает его к нам, делает минувшее близким и обогащает наши чувства, заполняет окружающее нас пространство и предшествующее нам время множеством события и лиц — наше бытие обретает более ясный смысл.

История отсчитывается в обратном направлении — ведь началом ее всегда есть сегодняшний день. Завтра он станет историей. Собственно, каждое прошедшее мгновение становится историей; в нем ничего не изменить, не исправить, его не переиграть. В отличие от текущего времени в истории каждый момент имеет свое известное прошлое и будущее, он не стоит перед неизвестностью, как жизнь живая.

История позволяет увидеть и прошлое, и то, что было для прошлого будущим; именно это и допускает учиться у нее. Изучение былых войн и сражений создало военную науку; есть экономическая история, отразившая хозяйственное развитие народов; история политики показывает, как менялись идеология и классовое сознание.

Развитие народного духа связано с материальной и событийной сторонами истории — в них дух отражается, но он и самостоятелен, поскольку духовным с такою же силой определяется внешнее, с какою внешнее воздействует на духовное. Победа над крестоносцами в Грюнвальдской битве стала возможной, потому что народный дух стал силен и потребовал покончить с вековым натиском тевтонцев; но не менее важным результатом, чем освобождение от завоевателей, стало и пробуждение национального самосознания белорусов, ощущение своего единства как народа. Таких примеров можно привести много.

Знание истории, а еще шире — историческое сознание, под каким бы углом оно не рассматривалось, возможно лишь при освоении доступного исторического материала — художественной, на крайний случай — популярной литературы. Таким — популяризаторским — целям и служит эта книга.

Читатель не найдет на страницах сносок на использованные источники и исследования, поскольку книга адресуется широкой аудитории и на научную работу никоим образом не претендует. Однако автор считает своей обязанностью сообщить, что он пользовался многими специальными работами как давнего времени, так и современными. Автор также считает своим долгом сказать слово благодарности ученым, краеведам и популяризаторам: Б. А. Рыбакову, М. Н. Тихомирову, Д. С. Лихачеву, Ст. Кучиньскому, Б. Д. Грекову, В. Т. Пашуто, В. А. Дьякову, А. Н. Кирпичникову, А. П. Грицкевичу, В. С. Короткевичу, В. М. Конону, Н. И. Ермоловичу, Г. В. Киселеву, Я. И. Порецкому, А. Ф. Коршунову и многим другим. Список этот, весьма неполный, поскольку на поприще истории, этнографии и фольклористики трудятся сотни людей, будет неверно краток, если не назвать имена тех, кого уже давно нет, но без чьих трудов

невозможна работа любого белорусского краеведа или исторического писателя: Я. Длугоша, М. Стрыйковского, В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева. И. Д. Беляева, В. О. Ключевского, Ю. Крашевского, И. Лелевеля, Е. Ф. Карского, В. И. Пичеты и др.

Не только историки рассказывают об истории. В каждом старом городе, на многих полях, берегах рек и озер есть безмолвные свидетельства славного или горького прошлого — курганы, руины замков. Они тоже хранители старины, может быть, главные ее хранители.

Лишь небольшой холм остался на месте каменного Лоскского замка. Трудно поверить, что здесь высились стены, на них стояла стража, что в замке работала типография, а в ней печатал свои книги Сымон Будный, что отсюда эти книги развозились во все концы Белоруссии, и в Литву, и в Польшу, что здесь был центр просвещения, что здесь спорили, смеялись, печалились — что здесь жили...

Стоит прислушаться — и услышатся стук печатного станка, говор мастеров, скрип колес, крики стражи, беседы книжников и... шум сражений, которые смели замок с лица земли. Ничто не немо для того, кто умеет слушать...

## Семь веков назад

В середине XVII столетия, в успешное время русско-польской войны и восстания Хмельницкого царь Алексей Михайлович внес в свой титул следующее уточнение земельных интересов русской державы: «Царь всея Великия, Белья, Черныя и Червоныя Руси...» Никогда затем географические понятия Черной и Червоной Руси, вскоре изъятые из титла, в нем не обновлялись, а через полтора века растворились в более емких и исторически развившихся названиях. Черная Русь переняла на себя название родственной ей Белой Руси; Червоная Русь, известная еще как Галицкая, стала именоваться Украиной, подобно всем прочим малоросским землям.

Понятие Черной Руси попало на западноевропейские карты еще в XV веке, им пользовалась в государственной политике и Россия. Любопытно проследить, какое же содержание за ним скрывалось — уж очень оно необычно, загадочно.

Вроде, многое известно о Черной Руси, а на самом деле, когда приблизишься к сведениям старины, когда взглядишься в них пристально,— мало там достоверного, да и сам смысл названия еще никто не смог убедительно разъяснить. Настолько оно забылось от неупотребления, что, кроме специалистов и начитанных любителей истории, никто о нем не помнит. Даже у нас в Белоруссии, на территории которой Черная Русь и находилась.

Занимала она достаточно большую территорию, обозначаемую городами Гродно, Слонимом, Волковыском, Турийском, Зельвой, Лидой, Новогрудком. Сейчас мы называем эти земли белорусскими, и нам кажется, что так было всегда, по крайней мере — исстари. Однако название Белая Русь в приложении к нынешней территории республики сложилось лишь в прошлом веке, а прежде — несколько столетий назад прилагалось оно только к восточным белорусским землям — Полоцкой, Витебской, Гомельской, Могилевской, Мстиславской и к Смоленской земле. К месту сказать, первоначально (в XI—XIII веках) Белой Русью назывались только Суздальские земли, затем название распространилось на Московскую Русь, а позже (в XIV—XVI веках) сдвинулось к западу — Смоленску, Полоцку и Витебску — и здесь закрепилось.

Достоверных объяснений смысла названий Белая и Черная Русь пока нет. Историки разных времен пытались объяснить их происхождение цветом носимых населением одежд, что, естественно, никакого отношения к истине не имело: в Черной Руси не носили черной одежды, равно как в Белой не носили белой. Объяснение, что Черной Русью стали называться земли, якобы захваченные литовцами, а Белой Русью — свободные от литовской принадлежности, ни на чем не основано и противоречит реальности.

Ближе других к истине мнение, которое полагает противоположность названий разницей религиозного состояния населения; в Белой Руси христианизация затронула весь народ, крещение язычников в православие началось здесь одновременно с крещением киевлян, и к тринадцатому веку христианство здесь имело уже двухвековую историю. Как бы ни были на белорусских землях стойки пережитки язычества, народ считал себя христианами «греческой веры» и эту свою новую веру считал родной. В Черной же Руси «поганство» (язычество) держалось дольше и тверже, поскольку тут сложился особый уклад, обусловленный тем, что при колонизации этих земель кривичами и дреговичами коренное население в своем большинстве оставалось жить бок о бок с пришельцами. Безусловно, колонизация поначалу не была мирной, об этом свидетельствуют археологические материалы: раскопки древних городищ показывают, что все они были сожжены. Но это вовсе не означало полного изгнания или уничтожения коренных жителей — литовцев, пруссов и ятвягов. Вольно или невольно, они входили в тесные отношения с пришлыми славянами, и культуры их под взаимным влиянием изменялись к некоему общему состоянию. Обилие языческих капищ, множество не христианизированного — некрещеного, то есть чужого по верованиям и в этом смысле «черного», населения и дало основание назвать эту часть бывшей Киевской Руси Черной Русью.

Но почему можно говорить о ней в отдельности от Белой Руси, где сосредоточены более известные наши города — Полоцк, Витебск, Туров, Минск? Ведь, кажется, объединителем белорусских земель выступал Полоцк со своим знаменитым Рогволодом; здесь сидел известный, помянутый в «Слове о полку Игореве» Всеслав, здесь проходил великий водный путь. Все это так, но, во-первых, между Белой и Черной Русью никогда не существовало рубежа, и контрастная разница названий не означает коренного различия интересов. Ведь Черная Русь была «создана» теми же самыми племенами кривичей и дреговичей, которые населяли Белую Русь. Во-вторых, XIII век, о котором здесь пойдет речь, никак не начало Черной и Белой Руси, а одно из времен ее старины: на это время политическое и военное могущество Полоцка упало, земли его подробились, и на первый план выдвинулись сидевшие до того в тени соседи во главе с Новогрудком. Но более всего важны внешние обстоятельства, которые проявились в XIII столетии, и были эти обстоятельства таковы, что XIII век стал веком переломным, круто и существенно изменившим течение истории многих народов.

В XIII столетии почти одновременно на западных и восточных границах Восточной Европы возникли мощные агрессивные силы, борьба против которых на полтора-два века стала главным смыслом государственной жизни всех здешних народов.

В 1201 году немцы заняли стоявшую в устье Западной Двины крепость Ригу, годом позже здесь возник Орден меченосцев, и без промедления начались его войны с литовцами и белорусами. В 1221 году на реке Калке сошлись на первую свою битву татары и русские. Разгром, который потерпели в этом сражении объединенные силы русских княжеств и половцев, послужил прологом к Батыеву нашествию, с 1236 года за пять лет татары с мечом и огнем прошли почти все русские земли, разгромили Киев,

галицкие и волынские города, ошеломили Западную Европу опустошением Венгрии, Малопольши и Силезии. В 1237 году, когда горели Рязань, Суздаль, Владимир, когда татары древним селигерским путем двигались к Великому Новгороду, добраться до которого, к счастью, не смогли из-за непогоды, закрывшей дороги,— в тяжкий этот год ливонские меченосцы объединились с прусскими крестоносцами. Возник Тевтонский орден, который повел наступление на прусские, а затем на литовские, польские и белорусские земли.

Время было мрачное, испытания, выпавшие на долю народов, вызвали к деятельности людей большой духовной мощи: в Белоруссии и в Литве — это князь Миндовг, в Галицко-Волынской Руси — князь Даниил Романович, во Владимиро-Суздальской Руси — Александр Невский. Все они были людьми героического склада, крупного ума и вошли в историю значимыми делами.

С Миндовгом настолько тесно связаны важные события белорусской и литовской истории, что нет ни одной исследовательской работы по той эпохе, которая обошла бы вниманием незаурядную личность князя. Он был первым объединителем белорусских и некоторых литовских земель в единое государство — Великое княжество Литовское, при нем были одержаны важные победы над немцами и татарами, он определил политику отношений Великого княжества с Орденом крестоносцев, которой держались все его преемники вплоть до 1410 года, когда Орден потерпел поражение в знаменитой Грюнвальдской битве.

Научные споры о происхождении Миндовга не прекращаются по сей день, что можно объяснить скудостью исторических о нем сведений. Впервые имя Миндовга упоминается в Ипатьевской летописи под 1219 год в договоре галицких князей с литовскими о совместных действиях против поляков. Миндовг называется в договоре в числе старших князей литовских, имена которых летописец сообщает в следующей последовательности: «Живинбуд, Давьян, Довспрунк, брат его Миндог...» Затем сведения о нем встречаются через шестнадцать лет, и опять речь идет об отношениях между Галицкой Русью и Польшей. Названный выше Даниил Романович враждовал тогда с князем Конрадом Мазовецким и в 1235 году, как пишет летописец, «возведе на Кондрата Литву Минога [и] Изяслава Новгородского» (Новогрудского). Эта коротенькая запись таит в себе множество тайн. Но к ним мы обратимся позже, а сейчас важно подчеркнуть, что с сороковых годов XIII века и Миндовг, и Новогрудок становятся объектом частого внимания летописей и хроник.

С Новогрудком связаны самые важные дела и зрелые годы жизни Миндовга. Но откуда он пришел в Новогрудок и в каком качестве, почему сделал Новогрудок столицей новообразованного государства, в каких отношениях был с литовскими племенами и русскими княжествами, почему был убит — все это объясняется неоднозначно, иногда противоречиво.

Личные пристрастия историков позволяли трактовать Миндовга то жмудином, то облитовившимся белорусом из династии полоцких князей, то обрусевшим литовцем, то приглашенным князем Новогрудка, то завоевателем его и т. п. Если допустить, что в договоре 1219 года упомянут именно он, а не какой-либо другой князь с таким же именем, то в этом случае активная политическая, государственная и военная деятельность Миндовга охватывает большой промежуток времени — почти полвека. Надо воистину родиться под счастливой звездой, чтобы в условиях феодальной вражды, заговоров, непрерывных военных походов оставаться живым и успешно осуществить свои замыслы: образовать жизнеспособное, сильное государство, задать ему идеи, смысл на будущее существование и развитие.

Но прежде чем продолжать разговор о Миндовге и созданной им державе, необходимо прояснить некоторые исторические и географические названия, без чего недоступно правильное понимание многих событий белорусской древности.

Литву XIII века нельзя отождествлять с современной Литвой; тогда на территории нынешней Литовской республики развивалось несколько племенных объединений. В Ипатьевской летописи они названы так: Жемойты (Жмудь), Рушковичи, Булевичи и Деволтва; они имели определенные различия в языке, особенно Жмудь, и соблюдали достаточную самостоятельность. В исследованиях по истории

Литвы, которые опираются на русские летописи, немецкие хроники и на документы, картина состава Литвы выглядит несколько иначе: она предстает двумя крупными областями — Жемойтией и Аукштотой. Жмудь занимала территорию от Балтийского побережья до р. Невяжи — правого притока Немана. К востоку от нее лежала Аукштота, которую составляли земли: Деволтва, Нальшаны и собственно Литовская земля; границами последней были реки Меречанка, Виляя и Неман. Главными поселениями Нальшанской земли были Ошмяны, Эйшишки, Медники, Ворняны, Свираны, Свентяны, то есть находилась она на северо-западном пограничье Белоруссии. За Нальшанами и собственно Литвой находилась Деволтва. В глубокой истории балтийские племена заселяли нынешние белорусские и украинские земли вплоть до Дуная, но постепенно были оттеснены славянами к Балтийскому морю. Колонизация литовских земель дреговичами и полочанами проходила уже в исторические времена. Эти земли, получившие впоследствии название Черная Русь, помнили свое прежнее название; помнили об этом и русские летописцы, отчего и в жизни и в летописях это старое их название — Литва — за ними сохранялось.

Ипатьевская летопись границей между Литвой и Новгородским княжеством считает Неман. На левом берегу — Новгородок, через реку — Литва. Это видно из сообщения о строительстве сыном Миндовга Войшелком монастыря: «...и приде опять в Новгородок и учини себе манастырь на реце на Немне межи Литвою и Новымгородком». Так что летописное название Литва включало в себя и Черную Русь, или, говоря иначе, Черная Русь — это одно из названий колонизованной белорусами части Литвы, причем большей ее части. Надо сказать, что это не самоназвание, то есть оно дано не жителями этого региона, а дальними соседями. Само население называло эти земли Русью Литовской, что отражало их географическое положение и генезис. Площадь Руси Литовской примерно 55 тысяч квадратных километров. Смысл названия Русь Литовская таков же, как название Русь Залесская или Русь Московская (то есть Русь, осевшая в бассейне реки Москвы). Поскольку земли Руси Литовской стали центрообразующим ядром нового государства, то за ними закрепилось их старое название, коренное, географическое — Литва. Государственное объединение белорусских, деволтовских, нальшанских и литовских земель получило название Великого княжества Литовского, а после присоединения Украины и Жмуди стало называться Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Верная расшифровка названия такова: Литовское — западная часть Белоруссии и Аукштота, Русское — восточная часть Белоруссии и Украина, Жемойтское — Жмудь (западная часть нынешней Литвы).

Вообще, с названиями Литва, литвин, литовец дело обстоит не так просто, как кажется современному человеку. Для москвичей XVI—XVII веков любой пришелец из Великого княжества Литовского, независимо от того, был ли он белорус, жмудин, украинец, оставался литвином. Например, литвином называли Петра Мстиславца. Во время войн войско Великого княжества среди противников имело общее название — литовское войско, а то и проще — литва. Упомянутые в хрониках набеги литвы на

Мстиславские, новгородские земли не означают, что нападали только литовцы — нападали из Литвы, Литвою были земли от Гродно до Новогрудка и от Вильни до Полесья. «О, Литва, отчизна моя»,— писал еще в XIX веке А. Мицкевич в поэме, посвященной делам Новогрудского повета, а род Мицкевичей происходит из-под Лиды. Жители Жемойтии (Жмуди) никогда в то время не назывались литовцами, как в наши дни, а только жмудинами. Кстати сказать, для белорусов русские из Московской Руси были «москвитами,» «москалями», то есть точно так же, как для последних первые были литвой, литвинами.

Но вернемся к географии. К югу от Руси Литовской лежало Полесье — начальная область дреговичей — с главными своими княжествами Туровским и Пинским. Леса и болота Полесья и Брестчины отделяли Русь Литовскую от Галицко-Волынской Руси, создавая «естественное» препятствие для ее устремлений быть объединительницей всех южных и западных русских земель. Русь Литовская и собственно Литва также выдвинули программу объединения новгородских, гродненских, литовских и белорусских земель и оказались соперниками галичан и волынцев. Это соперничество отмечено и военными столкновениями, и попеременными успехами. Крайнее положение Галицко-Волыньских княжеств, военный натиск татар, венгров, поляков не позволили им выполнить свою объединительную миссию, и в следующем столетии большая часть их земель была присоединена более крепким соперником — Великим княжеством Литовским.

Родственные литовцам ятвяги — восточные соседи Руси Литовской — занимали Беловежскую пушу и земли, к ней примыкавшие, так называемое Подляшье. Первая попытка включить ятвяжские владения в состав Древнерусского государства отмечена 983 годом, когда на них ходил киевский князь Владимир. Тогда у них были отняты земли, центром которых стал Брест; здесь же, на бывших ятвяжских землях, возникли и другие города — Кобрин, Каменец, Дрогичин. На земли ятвягов претендовали и поляки — в борьбе за брестское княжество интересы русских и мазовецких князей приходили в столкновение.

В начале XII столетия Конрад Мазовецкий даже пытался захватить Брест, но брестчане вынудили его уйти. Бесполезны были и его попытки покорить ятвягов и союзных им пруссов. Более того, они вынуждали мазовецкого князя к уплате дани. Существует легенда, которая рисует зависимость Конрада от пруссов в гротескной форме. По этой легенде, однажды пруссы предъявили Конраду требования дать им коней и одежду, грозя в случае неисполнения набегом. Конрад, не имея чем удовлетворить это желание воинственных соседей, созвал на пир панов. Споев гостей до беспамятства, о» и ж раздел и отослал их одежды и коней пруссам.

Сомнительно, конечно, чтобы Конрад был стеснен пруссами до таких мелких поступков, однако суть легенды правдива — пруссы и ятвяги досаждали ему. Ответные их походы на поляков были столь чувствительны, что польские князья, враждуя между собой, объединились для военного утеснения пруссов. Конрад Мазовецкий, его брат Лешек Белый и Гжегош Бородатый ходили на пруссов в 1222 году, причем приглашали в этот поход и немецкое рыцарство. Поход оказался безуспешным. В следующем году наступление на пруссов повторилось, и к нему были привлечены отряды поморских княжеств. Желательных результатов поляки не добились. И тогда Конрад решился на крайнюю меру — пригласил на помощь крестоносцев, что очень тяжело отразилось на последующей истории Лолыии.

Орден не просто умиротворил ятвягов и пруссов, он захватил их земли и создал здесь агрессивное государство. Уже в 1226 году великий магистр Ордена Герман фон Зальца обеспечился привилеем германского императора Фридриха II, который отдавал в

вечную собственность Ордена все территориальные захваты рыцарей в прусских землях. Но по иронии судьбы орденское государство сохранило за собой имя уничтоженного (частично онемеченного) народа, и часть его под названием Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом просуществовала до 1945 года. От ятвягов же не осталось и имени.

Гибельное время ятвягов известно с буквальной определенностью. Они участвовали в восстания пруссов против Тевтонского ордена, и последним годом исторического существования этого племени является год подавления восстания — 1283. Большая часть ятвягов погибла в боях с немцами, некоторая часть была переселена с их родных мест в западную область Самбии. Окончательно они были германизированы в XVI веке. Некоторые роды ятвягов нашли спасение от орденского меча в Руси Литовской. Сюда, например, пришел с отрядом и населением последний ятвяжский князь Скурдо. С 1283 года летописные упоминания о ятвягах прекращаются.

Но какую цель преследовали мы, столь немало описывая соседей и положение Руси Литовской? Очень важную — чтобы стало возможно представить необычность обстоятельств, племенную пестроту, столкновение самых разных интересов и сил на небольшой в общем-то территории. Как видим, эти группы людей принуждены были уживаться и терпеливо принимать бытовые, духовные и религиозные различия друг друга. Скоро вместо ятвягов и пруссов соседями Руси Литовской стали тевтонцы, и началось длительное, полуторавековое им противостояние. Но прежде пришли в столкновение с немцами полочане. Полоцкое княжество, одно из самых сильных в предыдущую историю, к XIII веку раздробилось, на землях его создан ряд самостоятельных уделов — Витебский, Минский, Заславский, Логойский, Дружки. Уделами Полоцкого княжества стали и его прибалтийские пригороды — Кукейнос и Герсике, где княжили князья полоцкой династии. Они охраняли торговые интересы Полоцка, для которого Западная Двина была дорогой в Европу. Меченосцы, построив на Двине свои крепости, закрыли полочанам свободный выход в море. Полоцкий князь Владимир, сопротивляясь немцам, неоднократно осаждал их замки Икскуль и Гольм. В 1208 году рыцари обложили в Купейное полоцкого князя Вячко; не получив помощи, князь был вынужден сжечь свою крепость. Ничего более о князе Вячко (Вячеславе) не известно, но и это короткое сообщение хроники позволяет представить горькие чувства князя, его дружины к жителей Кукейноса в тот тяжкий для них день: приходилось собственными руками уничтожать свои крепость и город, уступать немцам земли, добытые, безусловно, немалой кровью предков в борьбе с ливами.

Через год крестоносцы разрушили Герсике, а в 1212 году Владимиру пришлось отказаться от нижнего Подвинья и от дани с ливов, которую теперь стали брать немцы. Только Герсике был вновь отстроен полочанами, как на него опять напали меченосцы, но на сей раз без успеха — герсикский князь Всеволод призвал на помощь литовцев и объединенными силами разбил немцев. В 121 в году Владимир готовил большой поход против Ордена силами полочан, литвы и эстов. Однако внезапно, перед самым выступлением, князь Владимир умер.

Княжение Владимира и его дела сохранились в народной памяти, в частности в былинах об Илье Муромце. Чрезвычайно интересно, что одно из старейших упоминаний о Владимире и Илье Муромце встречается в скандинавской саге XIII века о Дитрихе Бернском. Сага называет города Полоцк, Киев, Смоленск, Новгород; князь Владимир называется сыном князя Сертнита, а брат его от наложницы Илья называется Ярлом из Герсике. Исследовавший эту сагу А. Веселовский увидел в ней отражение реальных исторических событий, в том числе и конкретных событий XIII века. Полоцкому князю



Владимиру действительно подчинился Герсике, и сидевший там князь мог быть братом Владимира, возможно, что и имя его было Илья. Конкретные обстоятельства и имена в понимании немецких купцов, бывавших в Полоцке и слушавших песни и были об Илье Муромце, переплелись с былинами, и записи их, сложившие сагу, сохранили некоторые моменты белорусской истории, не известные по нашим летописям.

Военная экспансия немцев против Полоцкого княжества и Новгородской земли привела Полоцк и Новгород к союзу, который был скреплен браком Александра Невского с дочерью полоцкого князя Брячислава. Поражение немцев на льду Чудского озера, где рядом с новгородцами стояли и полоцкие полки, приостановило натиск крестоносцев на псковские и новгородские земли, но он усилился на литовском направлении.

Сорок лет немецкого давления на северные литовские земли и кровавая христианизация прусских племен послужили катализатором объединительных осмыслений среди чернорусских, литовских, нальшанских, деволтовских князей. В это время княжества Руси Литовской оказались в выигрышном положении: их, как и все остальные белорусские земли, кроме брестской, не коснулось Батыево нашествие, до них еще не дошли крестоносцы, и естественно, что здесь сложились не только настроения, но и возможности для проведения самостоятельной политики, для реализации претензий на главенство над своими ослабленными соседями. Деловое исполнение этих интересов начал Новогрудок.

Под 1237 год упоминается в летописях последний новогрудский князь Изяслав. Вероятно, вскоре он умер, и город пригласил на княжение Миндовга. О том, что Миндовг вошел в Новогрудок не силой, а по желанию или с согласия новогрудских феодалов, неопровержимо доказывает крещение Миндовга в православие, датируемое Густинской летописью 1246 годом: «В сие лето великий князь литовский Миндовг прият веру христианскую от Востока, со многими своими бояры». Переход князя-язычника в православие меньше всего был религиозным актом; в первую очередь он имел политическое значение. Смысл его заключался в том, что князь становился одноверцем с населением города, княжества, в котором садился княжить, и брал на себя соответствующие обязательства соблюдать интересы княжества, уважать его «старину», то есть законы, религию, обрядность. При этом город, верно, заключал с князем договор, как о том свидетельствует договор начала XIV века между полочанами и князем Ерденом. Принимал православие и князь Довмонт, когда с 1275 года стал княжить в Пскове. В православие крестился племянник Миндовга Товтивил, заняв княжеский стол в Полоцке в шестидесятих годах XIII века. Практически нельзя назвать хотя бы одного литовского князя, который бы осуществлял в белорусских, украинских или русских городах княжеские обязанности, оставаясь язычником.

Из Новогрудка, опираясь на силы новогрудского княжества и действуя в его интересах, Миндовг приступил к объединению земель Черной Руси — Гродно, Слонима, Волковыска, Несвижа, Здитова, Турыйска. Литовская дружина Миндовга была малая. Например, Довмонт явился в Псков с дружиной в триста человек. Скорее всего, с таким же примерно отрядом пришел в Новогрудок и Миндовг и был принят в силу прочных дружественных отношений с новогрудским боярством, которое знало его как способного полководца. К такому выводу приводит запись Ипатьевской летописи о том, что галицко-волынский князь Даниил Романович «возведе на Кондрата Литву Минога [и] Изяслава Новгородского». «Возведению» этому предшествовали такие обстоятельства: Конрад Мазовецкий, пригласив Орден на свои земли для борьбы с язычниками, передал им и Дрогичинскую волость, которую Даниил Романович считал своей. В ответ он был

вынужден прогонять крестоносцев силой и затеял поход против Конрада, для чего привлек своих союзников — Миндовга и Новогрудок, то есть уже в тридцатых годах «Литва Миндовга» и новогрудское княжество совместно участвовали в боевых действиях.

Полоцкое княжество, ущемляемое меченосцами, пришло к союзу с Миндовгом, то есть к согласованию своих интересов с интересами Черной Руси и той части Литвы, которая была верна Миндовгу или покорена им в результате междоусобных войн. С помощью чернорусских полков Миндовг сумел подчинить себе собственно Литовскую землю; Жмудь враждебно относилась к нему, другие земли Аукштоты — Деволтовская и Нальшанская — также противились его державным устремлениям; показательно, что именно на эти земли обрушил репрессии сын Миндовга Войшелк после гибели отца.

Державное объединение Руси Литовской и части литовских земель получило для государственной символики Новогрудский герб Погоню — всадник с поднятым мечом. Это был распространенный герб, им пользовался, например, и Александр Невский. На белорусских землях того времени Погоней назывался также и призыв боярства на войну или в набег; Погоня — это всеобщее ополчение. Только при Гедимине, уже в следующем столетии, появляется и другой герб, так называемые Колонны, образовавшийся из родового знака Гедимины, из клейма, которым метили княжеские табуны. К роду Колоннов принадлежит и Миндовг; родовое гнездо Колоннов находилось возле Ошмян. Так что Миндовг (отметим это еще раз) выходец белорусско-литовского порубежья.

О политическом и «географическом» центре Великого княжества Литовского позволяет судить и каменное строительство, ведущееся уже в следующем столетии Гедимином. При нем были построены крепости в Новогрудке, Крево, Лиде.

Первые образователи Великого княжества Литовского, разумеется, не могли видеть на два века вперед, не могли предвидеть такого развития событий и отношений, которое сделает необходимостью государственный союз Великого княжества с Польшей. До 1386 года в развитии Великого княжества доминировало белорусское начало, выразившееся в первую очередь в том, что государственным языком новой державы стал белорусский (русский, как его тогда называли). Он был не только языком великокняжеского двора и канцелярии, но и языком всей феодальной знати. На белорусском языке были составлены и изданы главные государственные документы. Лишь под конец семнадцатого столетия он был запрещен к употреблению в официальном делопроизводстве. И сменился белорусский язык не литовским, а польским.

Иными словами, держава Миндовга началась как крепнущая, присоединяющая к себе литовские земли, уже частично колонизованные, а затем и не тронутые колонизацией. Последующее присоединение к Великому княжеству других белорусских, украинских и части русских земель вообще стало неразрушимым препятствием для расширения литовского содержания государства. Наибольшее сопротивление Миндовг встретил как раз на Литве, где для победы над удельными князьями был вынужден прибегнуть к прямому военному насилию. Даже близкая его родня ориентировалась лишь на временные союзы для отпора врагам или для походов за лупами, так называлась тогда военная добыча.

В 1248 году Миндовг захватил земли своих племянников Товтивила и Едивида, а их самих выслал «воевать ко Смоленску», объявив: «что кто примет — себе держит». Другими словами, Миндовг изгнал их на верную смерть: под Зубцовом войско Товтивила и Едивида потерпело поражение в битве с полками суздальцев, москвичей и тверян. Когда же они остались живы, Миндовг послал на них «вои свое, хотя убити».

Не столько сами эти действия, сколько прояснившиеся намерения державы

Миндовга привели к образованию военной коалиции против него, которую возглавил князь Даниил Романович. Военное наступление против Миндовга замыслилось в союзе с ятвягами, поляками, Жмудью и той частью Литвы, которая ему противилась. К этому союзу были привлечены и меченосцы, заинтересованные в любом ослаблении соседей.

Для державы Миндовга ситуация складывалась очень неблагоприятно, и Миндовг решился на смелый политический шаг: он снесся с магистром Ордена меченосцев Андреем фон Стирландом, вступив с ним в договор о своем обращении в католичество и коронации. Это стоило ему немалых даров, но зато вывело из игры Орден; с помощью серебра вышли из коалиции с Даниилом и жмудские князья. В 1250 году в Новогрудке магистр Ордена короновал Миндовга специально изготовленной короной. Немцы не только перестали быть союзниками Даниила, они выделили военную помощь Миндовгу, что в той ситуации было ему крайне необходимо. Он смог отстоять свои земли и фактически выиграл войну. В 1253 году противники заключили мир, скрепив его браком дочери

Миндовга с сыном Даниила Романовича Шварном.

Акция крещения, а вернее, перекрещивания Миндовга из православия в католичество не была для того времени единственной или свойственной только языческому самодержцу. Примерно в такой же ситуации оказался и его противник — князь Даниил Романович, испытывавший все тяготы татарского гнета. Не имея сил самому противостоять ордынцам, Даниил задумал привлечь к войне против татар западное рыцарство, организовать крестовый поход против «поганых», которые проявили себя врагами не только восточного, но и западного христианства. Такой поход был возможен только по одобрению и призыванию к нему папой римским. И князь Даниил Романович вошел в тесные сношения с папой Иннокентием IV, сам предложив идею унии греческой и римской церковей. Предложение, сулившее получить под эгиду католической церкви большие русские территории, было встречено, разумеется, очень тепло; тотчас же при дворе Даниила Романовича оказались папский легат и доминиканские монахи. Однако на буллы папы о крестовом походе против татар западное рыцарство не отозвалось, и, таким образом, уния, не имея самого главного подкрепления — военного, была сорвана. Но в 1255 году Даниил, все еще надеясь на какую-нибудь помощь, принял королевскую корону от папских посланцев, не меняя веры. Коронация Даниила проходила в Дрогичине. Когда же прояснилось, что в военном отношении папа содействовать не в силах, Даниил Романович порвал с ним и королевским своим титулом не пользовался. Политическая игра, какую он в этом случае вел, ничего ему не принесла; Миндовг же своим крещением разрушил военный блок, который мог его сокрушить. Во время этой войны случилось с Миндовгом рядовое для военного человека, однако отмеченное летописью происшествие, загадочность которого питала и питает интерес многих историков. Суть его такова. Против Миндовга в начальный период боевых действий выступил Товтивил с войском, составленным из галичан, половцев, ятвягов и немцев. «Миндог же,— рассказывает летописец,— собрался бе и умыслил же себе не битися с ними полком, но вниде во град именем Ворута, и высла щурина своего ночью, и розгнаша и Русь и ятвяга. Наутро же выехаша немцы со самострелы и ехаша на не русь с половци и стрелами и ятвязе со улицами и гонишася на поли подобно игре». То есть вместо осады, вместо попыток брать Воруту штурмом, лезть на стены, выбивать ворота тарасами, морить защитников Воруты голодом, вместо любых обычных для осады мер, направленных на изнеможение и гибель противника, под стенами Воруты было проведено групповое состязание в среде союзников, учебный бой, в котором одетые в латы немецкие рыцари противостояли русскому и ятвяжскому вооружению и иной тактике. Однако самое странное, что Ворута

не была взята. И вот почему странно. Вскоре после этого Даниил Романович, сам прибывший на театр военных действий, взял Гродно — сильную крепость в Руси Литовской, овладел другими городами. Вору́та же оказалась неприступной. Товтивил в бессилии взять ее потряс, так сказать, кулаками и отбыл восвояси.

Что же это за град Вору́та, который предстает в летописи более мощным укреплением, чем Гродненский замок на крутом высоком берегу Немана? О Вору́те, помимо приведенного сообщения, никаких других сведений нет ни в одной русской летописи или немецкой хронике. Нет упоминания о Вору́те в сохранившихся белорусско-литовских летописях. Эта полная безызвестность вызвала к жизни ряд предположений и гаданий. Вору́ту считали «родовым гнездом» Миндовга, его «столицей» и помещали то в Жмудь — либо в верховья Дубиссы под Россены, либо в низовья ее под Эйраголу, — то идентифицировали с Вороньянами (на нынешнем белорусско-литовском пограничье), то с Лишковом (неподалеку от Друскеник). Существует мнение, высказанное еще Нарбуттом, что Вору́та находилась на месте Городища — вблизи Столовичей современного Барановичского района. Белорусский историк Н. Ермолович в своем исследовании, посвященном становлению Великого княжества Литовского, предполагает, что слово Вору́та образовалась по ошибке переписчика, соединившего предлог с существительным в единое целое, то есть в первоначальной записи хрониста было так: «во град именем во Руту», что соответствовало книжной традиции нашей старины. Если согласиться с этим мнением, то крепость, в которой отсиживался Миндовг, находилась неподалеку от Новогрудка, где и сейчас есть несколько населенных пунктов с названием Рута.

Предположение Н. Ермоловича представляется убедительным, если посмотреть на смысл прятания Миндовга в «Вору́те» с военной точки зрения. Размышления здесь могут быть таковы. Если «Вору́та» была мелким укреплением, то действия союзных войск под началом Товтивила не поддаются осмыслению, поскольку численно они превосходили войско Миндовга, о чем говорит его решение избежать полевого боя. Если же это было сильное укрепление, то ниодно предполагаемое историками местонахождение Вору́ты не может быть принято в расчет, так как и Лишков, и Воронины, и Рута, и Эйрагола были мелкими крепостцами, не способными защитить от большого войска. В Литве XIII века мощных замков вообще не было, они появились столетием позже. Черная Русь располагала мощными крепостями, в первую очередь это Новогрудок и Гродно. Но они были захвачены Даниилом Романовичем через год после малоуспешного похода Товтивила; только тогда, оттесненный в собственно литовские земли, Миндовг пошел на мир с противником. Поэтому есть все основания считать, что Вору́та находилась в Руси Литовской и что это было мелкое укрепление, — возможно, Рута, или что за названием Вору́та скрывается город с сильным замком. Может быть, Миндовг затворился в Новогрудке. Может быть, отряд Товтивила был малочисленным, а Миндовг встретил его с еще меньшей дружиной и спрятался в первом попавшемся укреплении, поджидая прихода других полков. Товтивил же, не рассчитывая на подмогу, решил за лучшее уйти, продемонстрировав сидевшему за стенами врагу выучку своих отрядов.

Однодневная осада Миндовга в Вору́те была мелким эпизодом, запомнившимся благодаря турниру между немцами и русскими и ятвяжскими рыцарями.

Миндовг принял во внимание преподнесенный ему урок единства западных и южных своих соседей и разрушил его принятием короны и серебром.

За несколько следующих спокойных для Миндовга лет Орден попытался взять свое за услугу крещения. Миндовг вынужденно дал Ливонскому ордену грамоту, отписав в пользу Ордена свои земли. (Семь подобных грамот крестоносцы подделали.) Грамота служила знаком вассальной зависимости Миндовга от немцев и требовала определенных

мер в ее оправдание и в оправдание полученной короны христианского государя — в первую очередь мер по христианизации языческого населения страны, строительству католических храмов, приему миссионеров и т. п.

Появление немецких священников в Литве и на чернорусских землях вызвало, безусловно, недовольство Миндовгом; но он и сам, как показало время, не собирался терпеть то положение, какое ему навязывали крестоносцы. Исполдволь Миндовг готовил восстание против Ордена — ив Литве и, что особенно интересно, в Пруссии. Оно началось в 1260 году и было отмечено разгромом орденских войск у озера Дурбе. Восстание захватило всю Пруссию и длилось там без малого двадцать пять лет. И Миндовг, и его преемники помогали пруссам. Миндовг сам водил против Ордена 30-тысячное белорусско-литовское войско. Количество войска преувеличено хронистами по меньшей мере втрое; 30-тысячное войско появилось в Великом княжестве Литовском только к началу XV столетия, когда простерлось оно от Балтийского до Черного морей. Но не в цифрах суть; важно заметить, что Миндовг вел борьбу с немцами на полном напряжении сил Черной Руси и Литвы.

Логика войны привела Миндовга к союзу с Александром Невским против немцев. Союз был подкреплён браком Константина — сына полоцкого князя Товтивила, того самого, который десятилетием прежде осаждал Миндовга в Воруце,— с дочерью Невского Евдокией. Константин в то время был князем витебским.

В 1263 году почти одновременно умер Невский и был убит Миндовг. В Великом княжестве началась междоусобица, длившаяся около десяти лет и приведшая к его ослаблению. Борьба за престол, сведение личных счетов, разделение войска по соперничающим группировкам худо отразились иа общем противоборстве с крестоносцами. Да и ближайшие преемники Миндовга оказались послабее, помельче его, а в феодальном государстве личность самодержца, его одаренность, мудрость, сила натуры решительно определяли и державную политику и полноту ее осуществления.

После укрепления своей державы и победоносных походов в Пруссию он почувствовал себя на вершине удачи и славы. Талантливый политик, человек сильной воли, решительный и непреклонный, Миндовг оказался во власти тех пороков, какие развивает неограниченное положение,— все позволено в отношении люден, ему подчиненных. В 1263 году умерла его жена Марта, и Миндовг вызвал плакать по ней сестру покойной, которая была замужем за Довмонтом — князем нальшанским. Когда жена Довмонта прибыла, он объявил ей, что будто бы, умирая, Марта повелела ему жениться на сестре — и женился, то есть силой оставил при себе чужую жену. Любопытно, что и Марта, первая жена, была взята Миндовгом силой — он женился на ней, убив ее мужа — булевичского князя Вишимунта и его братьев Единила и Спрудейка. Так что отношения Миндовга с женщинами были отмечены, мягко говоря, своеобразием. Возможно, здесь крылась какая-то неизвестная нам «романтическая» история безответной любви Миндовга к сестрам: не добившись своего, так сказать, мирными средствами, он завладел ими, убив первого соперника и унизив второго. Напрашивается и такое предположение, что Марта Миндовгу досталась вместе с владениями братьев Булевичей после их убийства — тут наличествует материальный и политический интерес. То же, как Миндовг поступил с женой Довмонта, трудно расценить иначе, чем грубое насилие уверенного в своей безнаказанности самодержца. Затаив смертельную обиду, Довмонт через год с помощью равшегося к власти племянника Миндовга князя Тройната нашел случай расправиться с обидчиком — и расправился: Миндовг и двое его младших сыновей были изрублены в куски.

Великокняжеский престол занял Тройнат. Незамедлительно ему предьявил какие-то

претензии на земли и власть его брат Товтивил, княживший в Полоцке. Дележ земель привел братьев к ссоре, в которой Тройнат убил Товтивила; сын Товтивила Константин, занявший в Полоцке место отца, опасаясь Тройната, должен был бежать в Новгород. Но снедаемому честолюбием братоубийце недолго привелось радоваться добытой через кровь властью: четверо конюших Миндовга, мстя за господина, зарезали Тройната, когда он шел в баню.

После этой череды убийств на сцену бурной политической жизни вышел Войшелк, укрывавшийся от Тройната в Пинске. Силою пинских полков он вернул себе Новогрудок — столицу Великого княжества — и вместе с новогрудцами отправился наказывать строптивых и непослушных князей Нальшан и Деволтвы. Все противное Миндовгу и Войшелку боярство и князья в Аукштоте были перебиты. «Войшелк же нача княжати во всей земле Литовской,— говорит летописец,— и поча вороги свое избивати, изби их бещисленное множество, а друзии разбегошася како кто видя». Довмонт, например, бежал в Псков, где княжил по 1299 год, верно служа интересам города.

Войшелк в отличие от отца не был натурой цельной: дух его терзался сложными противоречиями, он уходил в монастырь, даже пускался паломничать, основал монастырь неподалеку от Новогрудка, но, видимо, и затворническая жизнь его не успокаивала и не удовлетворяла, так как он вновь вернулся в Новогрудок князем.

В 1267 году Войшелк отправился во Владимир-Волынский на съезд князей, и здесь, в монастыре неподалеку от города, стал выяснять за хмельным кубком отношения с Львом Данииловичем. Верно, немало было выпито — пилн весь вечер и ночь,— и наконец зелье сделало свое дело — пьяный и злой Лев Даниилович выхватил меч и засек Войшелка.

Так закончилась жизнь третьего правителя Великого княжества Литовского, человека раздвоенного, сочетавшего в себе жестокость с совестью, державное мышление с монашескими чувствами, жажду государственной деятельности с склонностью к полному уединению от мира и суеты человеческих дел. Если хоронили его по монашескому обряду, то похоронили, верно, в основанном им монастыре, простоявшем на берегу Немана без малого семь веков. Если же Войшелка хоронили как князя, то могила его могла быть в Борисоглебской церкви в Новогрудке, где он принимал крещение. Тут же неподалеку от замка нашел успокоение его отец — курган Миндовга, по сей день являющийся достопримечательностью Новогрудка, видимо, и есть то место, где по языческому обряду основатель разнорационального государства был предан вечному покою.

Государственное объединение Руси Литовской с Литвой оказалось достаточно крепким, чтобы сохраниться в войнах с галицко-волынскими князьями, дать памятный отпор татарам в их походах на Великое княжество в 1258 и 1278 годах, вести напряженные войны с немцами и присоединять к себе белорусские, украинские и некоторые русские земли.

Стоит сказать и еще об одном герое Руси Литовской того времени. Это Давид — гродненский воевода. Давид был сыном Довмонта и вернулся из Пскова на родину лет через тридцать по смерти Войшелка. Выдающиеся военные способности Давыда снискали ему любовь великого князя Гедимины, отдавшего за него свою дочь. Тут, видимо, сыграло роль и то, что Давид по отцу остался псковским князем, и таким образом Гедимин получал в союзники псковичан.

С именем Давыда связан разгром крестового похода на Новогрудок в 1314 году. В 1326 году он участвовал в совместном с поляками походе в глубь Германии и возглавлял белорусские конные полки.

Явившись началообразующим центром Великого княжества Литовского, Русь Литовская и собственная Литва всегда оставались его основой, его «становым хребтом».

## На поле Куликовом

Конец XIV, начало XV столетия отмечены двумя самыми крупными в истории средневековой Европы битвами — Куликовской и Грюнвальдской. Между ними есть определенная связь: победа русских над татарами ускорила разгром Тевтонского ордена объединенными силами поляков, белорусов, литовцев, украинцев. Отношения между этими выдающимися событиями, безусловно, не простые, и тем более лишены прямой обусловленности. Усиление Московской Руси, широкая слава Куликовской победы, в блеске явившая себя военная мощь русских земель, тяготевших к Москве, отразились и на державной политике Великого княжества Литовского, дали образец для подражания и, может быть, самое важное, сломали утвердившийся стереотип мышления, что с крыжачками надо ловчить, что в большом сражении они непобедимы.

Куликовская битва предрешила конец татаро-монгольского гнета на русских землях, Грюнвальдская победа остановила крестовые походы на Белоруссию к Литву; после разгрома татар на поле Куликовом начала становиться сильная Московская держава, Грюнвальд породил государственное объединение Великого княжества с Польшей, зафиксированное Городельской унией. Есть еще одна важная причина, которая способствует говорить о Куликовской битве, вспоминая Грюнвальдскую. Дело в том, что события седой старины, какой бы ореол славы их не окружал, как бы широко не отражались они в литературных памятниках, остаются для далеких потомков таинственными. Лучше будет сказать, что многое в этих событиях никогда не перестанет волновать нас недоступной проникновению загадочностью. Увековеченные летописцами или историками того времени описания обеих битв подобны одним — неточностью и приблизительностью: по ним трудно, а то и вообще невозможно представить ход, течение, развитие как первой, так и второй битвы, количество полков, число войска, действия войск, роль исторических лиц в сражении и многое другое, связанное с военной стороной событий. Сколько историков не бралось реконструировать конкретное развитие действий 8 сентября 1380 года на Куликовом поле и 15 июля 1410 года в окрестностях деревни Грюнвальд, каждый наталкивался на такие обстоятельства, которые позволяли строить в чем-то новую версию, по-разному толковать и общую численность войск, и их состав, и поступки тех или других участников этих переломных событий русской и белорусской истории. Интересно, наконец, и то, что были люди, которым выпала печальная судьба (нельзя сказать — посчастливилось) биться в обеих кровавых сечах, главным образом это жители Полоцка и Полоцкой земли — наши предки.

Любопытно поэтому проследить, насколько возможно, непосредственное участие в Куликовской битве белорусов и вообще высветить ту конкретную помощь, какую сыграло сочувствие белорусов борьбе братского народа против татарского гнета. По нашему мнению, нежелание белорусов сражаться на стороне Мамаю — существенно повлияло на исход битвы в пользу русского оружия...

Война, как известно,— продолжение политики насильственными средствами. Стратегия господства Золотой Орды над русскими землями не допускала их объединения. Удельная раздробленность русских княжеств, взаимное недоверие и враждебность князей, их нежелание поступиться своим ради общего дела позволяли татарам долгое

время сдерживать появление сильной русской державы. Но феодальная централизация как процесс исторический нашла способных к такому нелегкому, жестокому делу людей. Субъективно их заботы и поступки могли иметь (и часто имели) отталкивающий, неблагородный облик. Объективно же они были героями этого процесса.

В начале XIV столетия в роли объединителей русских земель выступали два самых сильных русских княжества — Тверское и Московское. Но, чтобы стать объединителем, надо иметь силу, так как соседние княжества и удельные князья по доброй воле подчиниться, менять самостоятельность на положение князей подручных, подколренных, подначаленных не желали. Поэтому главным и единственным средством объединения могла быть только реальная сила — войско, которым обеспечивал и гарантировал успех своей политики объединитель — Москва или Тверь. Они соперничали. Это соперничество отмечено рядом драматических, а то и трагических событий — войнами, интригами, предательствами, изменами слову, обращением за помощью к врагам. Самое тяжелое столкновение произошло в 1327 году, когда московский великий князь Иван Калита ходил походом на Тверь вместе с татарским войском и, как говорит летопись, «положил Тверскую землю пусту». Эта крайняя взаимная враждебность не остывала еще полстолетия. Только поход Дмитрия Донского в 1375 году принес Москве победу над Тверским княжеством. Тверской князь Михаил Александрович был вынужден заручиться с Дмитрием мир, по условиям которого признавал себя «младшим братом» Московского великого князя и обещал помогать ему своим ополчением против татар. Большой этот успех не был случаен. Готовясь к походу на Тверь, московское княжество сумело подначалить себе Нижегородского, Галльского, Ростовского, Стародубского князей и таким образом значительно увеличило свою территорию и, что более важно, свои вооруженные силы.

В следующем году Дмитрий отправился на камских болгар и после победного боя обязал их заплатить выкуп. Сверх того, к болгарам сел заструга (сборщик дани) от Москвы. Такой смелости не позволял себе прежде ни один русский князь.

Московские успехи и целенаправленность политики обеспокоили Мамай, и он решил осадить Дмитрия, подрезать ему крылья. Летом 1378 года на Москву двинулась татарская рать под началом Бегнча. Русские и татарские полки сошлись на реке Воже, 11 августа произошла битва, в которой татары впервые за историю своего господства на русских землях потерпели полное поражение.

Понятно, что татары не могли согласиться, чтобы такая акция Московского великого княжества стала прецедентом и чтобы воинственный князь избежал соответствующего наказания. Мамай начал готовить карательный поход на Москву. Но в это время положение Золотой Орды было не лучшим. Татарскую державу раздирала смута. На ордынском троне ханы менялись молниеносно: не успел сесть — как уже убит, или согнав, или сам уступил, боясь очередного соперника. За короткий срок ханскую шапку носили Бердыбек, Кульпа, Наврус, Гиды, Темир-Хазя, Арзу-Меник, Кизильбек, Белаз, Амурат. От Золотой Орды практически откололись густонаселенные земли Нижнего Поволжья. Враждебные отношения сложились у Мамай с ханом Кипчакской Орды Гохтамышем, который был потомком Чингисхана и стал во главе кипчаков в 1376 году с помощью знаменитого Тамерлана. В этих обстоятельствах терпеть усиление Московского княжества, действия которого ущемляли экономические и военные интересы Орды, было бы равноценно самоубийству.

Жизненной потребностью для Мамай стал поиск союзников против Москвы, и он нашел их в лице великого князя литовского Ягайлы и рязанского князя Олега.

Невыгодное положение рязанских земель между московскими и ордынскими



требовало от Олега осторожности и политической гибкости. Ответить Мамаю на предложение союза против Дмитрия решительным «нет» никак было нельзя — на завтра же ордынцы прошли бы его княжество с огнем и мечом. В этом и приходилось сомневаться. В 1365 году Рязань испытала набег хана Тагая. В 1373, 1377, 1379 годах Орда вновь разоряла Рязанское княжество, то есть прямо накануне Задонщины. Отказ означал незамедлительное беспощадное нападение. Не избавляло Олега от такой угрозы возможное поражение Москвы в столкновении с татарами. А равно не избавляла и возможная победа Москвы — Рязанское княжество в любом случае оставалось порубежным, открытым для набегов. С другой стороны, Олегу не было смысла поддерживать Москву, поскольку любая поддержка оборачивалась издержками для независимости княжества, к чему Олег стремился. Ситуация для Олега складывалась весьма драматически, даже, можно сказать, — трагически, как всегда бывает для слабого, если ему выпадает стоять между двумя силачами. И Олег проявил понятную гибкость: Мамаю ответил согласием, Москве обещал свой нейтралитет. Так что ярлык «предателя общерусского дела» навешен на него безосновательно, без учета реальных условий его непростого положения. Если он и изменил, так только Мамаю, потому что известил Дмитрия о готовящемся походе. Конечно, для русского войска на Куликовом поле было бы лучше иметь в своих рядах и рязанское ополчение, но за такой шаг Олега могло поплатиться жизнями все рязанское население — поголовно.

Второй союзник татар — Ягайла — был кровно заинтересован в разгроме Москвы или, по меньшей мере, в военном ослаблении Московского княжества. В этом отношении он продолжал политику своего отца — великого князя литовского Ольгерда. Политика эта была нацелена на территориальный рост растущего, крепнущего государства за счет русских и украинских земель. Но сговор Ягайлы с Ордой был политической новинкой. Так прежде не поступали. Наоборот, татары считались противником. Еще хорошо помнилось, как отец Ягайлы Ольгерд провел против Орды ряд победных походов: в 1362 году белорусы, литовцы и украинцы разгромили татар на Синей Воде — тогда у них была отнята житница восточно-славянского юга — Подолье; в 1365 году Ольгерд отбил у татар Киев. Правда, одновременно шло присоединение русских княжеств: в 1358 году Ольгерд занял Мстиславль, через три года — Торопец; к Великому княжеству Литовскому перешли Брянск, Трубчевск, Новгород-Северский, Путивль, Рыльск, Чернигов, Стародуб. Стало очевидным, что Ольгерд стремится присоединить Смоленское княжество. Таким образом, Москва и Великое княжество Литовское неминуемо двигались к столкновению. К 1380 году враждебность сторон надела уже достаточную историю, и началась она после смерти Гедимина, когда власть в белорусско-литовском государстве поделили его сыновья Ольгерд и Кейстут.

Взаимоотношения властительных братьев от темы разговора — белорусы и Куликовская битва — неотделимы. И вот почему.

Великое княжество Литовское, начиная с Миндовга, складывалось, как говорилось выше, из белорусских, литовских и жмудских земель, и во главе его стоял самодержец. Годы правления Ольгерда и Кейстута явили отклонение — двоевластие, и Великое княжество разделилось на Виленскую и Трокскую половины. Первая принадлежала Ольгерду, вторая — Кейстуту. Трокская половина включала непосредственно Трокское княжество, Жмудь, Подляшье, Полесье, Брестскую и Гродненскую земли, большую часть Лидской и половину Новогрудской земель — другими словами, почти что весь запад Великого княжества. Ольгердову половину составляли, если считать по городам, Вильно, Полоцк, Витебск, Крево, Ошмяны, Ивье, Минск, Игумен, Бобруйск, Борисов, Слуцк, Орша, Могилев, Речица, Быхов, Копыль, Кричев, Рогачев, Чаусы, Мстиславль, Брянск,

Новгород-Северский — иначе говоря, восточные земли княжества. Соответственно братья поделили и сферу внешней политики и функции в обороне государственных границ. Кейстут противостоял Тевтонскому ордену, полякам, венграм; Ольгерд действовал на восточных и южных рубежах против русских и татар.

Это деление Великого княжества на Виленскую и Тройскую половины, на Ольгердову и Кейстутову, было твердым и общепризнанным, о чем свидетельствует факт утверждения Виленского и Трокского воеводств по Городельской унии 1413 года, когда ни Кейстута, ни Ольгерда уже не было на свете и полноту власти держал в своих руках сын Кейстута Витовт.

Приняв по смерти отца в 1377 году великокняжеский венец, Ягайла принял Виленскую половину и политику военного давления на Москву. Почему же в первую очередь на Москву, а не на ослабленную московскими нападениями Тверь? Наличествовали определенные основания. Матерью Ягайлы была тверская княжна Юлианна, и узы родства Ольгерда с тестем — князем Михаилом Александровичем — цементировали в единое целое их несхожую в основе неприязнь к Москве. В 1368 и 1370 годах Ольгерд провел успешные походы на Московское княжество, разбурил столицу, осаждал Кремль. Однако скорее эти войны носили предупредительный характер — на серьезную битву с Москвой Великое княжество Литовское отважиться не могло. Продолжительная война на восточных границах способствовала бы захвату крестоносцами Жмуди и западных белорусских земель. Великому княжеству каждый год приходилось отбивать то два, а то шесть-восемь рыцарских нашествий. За 1345—1377 годы Белоруссии и Литве выпало отбивать сто немецких походов и наездов и сорок два раза объявлять Погоню — для ответных походов на крестоносцев. На эти годы, особенно на 70-е, припадают и войны с Польшей, и походы за лупами в польские воеводства.

В 1370 году Кейстут и брат его Любарт напали на польскую часть Волыни. В 1376 году последовал новый поход под началом Кейстута. Эти набег, которые невозможно было предвидеть и предотвратить, вызвали в среде государственных мужей Польши идею укрощения Великого княжества путем династического брака, который осуществился позже — через несколько лет после Куликовского сражения. Так что в годы, предшествовавшие этому сражению, Трокская половина княжества вообще забыла, что такое мир, и для напряженной борьбы с потенциальным крепнущим противником, каким становилась Москва, Великое княжество не имело необходимых воинских ресурсов.

Неожиданное предложение Мамайя пришлось Ягайле на руку; он решил воспользоваться удобным случаем. Против Москвы Ягайлу распалляла еще и та помощь, которую московский князь оказывал его брату Андрею — полоцкому князю.

Надо сказать, что в целом положение Ягайлы на виленском троне было довольно неустойчивым. Заняв отцовское место, он встретил сопротивление своих братьев, особенно от брака Ольгерда с витебской княжной Марией: старший брат Андрей княжил в Полоцке, Владимир — в Киеве, Дмитрий — в Брянске, Дмитрий-Корибут — в Новгород-Северском. Каждый из них жаждал отделиться, а Андрей считал за собой больше прав на корону, чем Ягайла. Но главным противником Ягайлы стал дядя — старый Кейстут. Держа в руках половину земель и войска, он и мысли не допускал подчиняться решениям и желаниям своего племянника. Между Кейстутом и Ягайлой началась острая, но в то время еще скрытая война. Опасаясь выступить против дяди открыто, Ягайла договорился с крыжаками, которые за обещанную уступку им Жмуди начали бурить земли и города Трокской половины, обходя земли Виленской. Все вело к вооруженному конфликту; он начался, когда Кейстут, получив документы о союзе племянника с немцами, сбросил его с великокняжеского трона на удельный витебский

стол, и окончился восстанием Ягайлы и насильственной смертью Кейстута в Кревском замке. Но драматические эти события имели место вскоре после Куликовской битвы, а в 1380 году, во время сборов Ягайлы на Дон, взаимная ненависть только поспевала. Так что и разговора не могло быть об отправлении войска Кейстута в поход под началом Ягайлы. Да и при добрых отношениях оголить рубежи с крестоносцами было бы большим риском. Поэтому полесские, подляшские, жмудские, брестская, гродненская, волковыская, слонимская, частично лидская и новогрудская земли не дали Ягайле ни одного воина.

Какими же силами располагал Ягайла, выступая на помощь Мамаю? За исключением трех-четырех целиком литовских хоругвей войско его состояло из восточнобелорусского населения. Но здесь не было полка из Полоцкого княжества, который выступал на стороне Дмитрия Донского. Вряд ли Ягайла мог вести с собой более 8—10 тысяч воинов. Из каких рассуждений возникает это число? До нашего времени сохранились «полисы» белорусско-литовского войска от 1529 и 1564 годов, точнее говоря, конного войска. Так, в начале XVI столетия Великое княжество Литовское располагало 25 тысячами магнатской и шляхетской конницы. На Виленскую половину приходилось, можно считать, 13—14 тысяч, но, принимая во внимание рост народонаселения (с 1380 по 1529 год), это число надо сократить примерно на треть, что и дает 8—9 тысяч в конных хоругвях. Далекий поход требовал заводных коней, требовал подвод для перевозки оружия и питания — поэтому необходимо прибавить 1—1,5 тысячи человек челяди, которая в бою использовалась как пехота. Ягайла должен был оставить какие-то силы в гарнизонах (при Вильно и других крепостях) — пусть общим числом в тысячу человек. Следовательно, выправился он на Дон, ведя 7—8 тысяч конного войска и 1—1,5 тысячи пехоты.

А теперь проследим, каким путем оказались при Дмитрии Донском полочане. Предшествующие Куликовской битве тринадцать лет полоцким князем сидел Андрей Ольгердович. Кроме того, он княжил в Пскове, но не постоянно и не твердо, поскольку псковичам не нравилось, что Андрей больше живет в Полоцке и не выполняет свои обязанности перед Псковом. В 1377 году, когда Ольгерд на смертном одре назначил своим преемником Ягайлу, князь Андрей посчитал себя ущемленным: по праву первородства великокняжеский венец полагался ему. Попытка отнять у Ягайлы трон силой не удалась; эта неудача вынудила Андрея покинуть Великое княжество Литовское. Он подался в Москву к князю Дмитрию Ивановичу, где все литовские и белорусские князья-беглецы находили теплый и уважительный прием.

В это время в Москве служил двоюродный брат Андрея — князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, женатый на сестре Дмитрия Донского; родная сестра Андрея Полоцкого Елена была женой двоюродного брата Дмитрия Донского — серпуховского Владимира Андреевича. Так что Андрей прибыл к самой близкой родне, и его намерения сместить Ягайлу встретили поддержку в Кремле, потому что любая смута в Великом княжестве Литовском шла на пользу Московскому великому княжеству.

По законам той эпохи князь, отъезжая служить в другое государство, имел при себе двор и отряд приязненного к нему боярства. У Андрея такое окружение сложилось из полочан. Понятно, что главной целью отъезда в Москву была надежда на военную помощь в борьбе с Ягайлой. Но Московское княжество само испытывало острую потребность в ратных людях — близилась война с Мамаем. К тому же припало на тот 1377 год поражение русских на реке Пьяна, где, воспользовавшись недисциплинированностью противника, татары уничтожили передовой полк московского войска. Князю Андрею пришлось повоевать ради Дмитрия. Так, он и его полоцкий отряд

вместе с Дмитрием Боб роком участвовали в 1378 году в победной битве на Воже, которая стала репетицией полного разгрома татар на Куликовском поле.

Следующий, 1379 год был для Москвы спокойным, и Андрей Полоцкий, верно, получив от Дмитрия какие-то подкрепления, вернулся на родину и начал военные действия против Ягайлы.

Почему же поддерживали князя Андрея полочане, чем так не угодил им «великий князь Литвы, Руси и Жмуди»? Главной причиной стала самоуверенность Ягайлы, который не посчитался с религиозными чувствами и традициями полоцких жителей; Прогнав в 1377 году князя Андрея, он назначил наместником в Полоцк своего родного брата Скиргайлу. Последний, в отличие от Андрея, не принимал крещения, был язычником. Насколько этот шаг великого князя оскорбил полочан, свидетельствует то, что рассвирепевшая толпа посадила Скиргайлу на лошадь задом наперед и погнала по улицам за городскую стену под улюлюканье и свист. Когда через несколько лет Скиргайле вновь довелось явиться в Полоцк в качестве наместника, то он, чтобы войти в понимание с полочанами, крестился в православие и взял имя Иван.

Вообще, в белорусских городах, особенно в восточной Белоруссии, прием городом князя-язычника, тем более иноверца, был делом невозможным. Из двенадцати сыновей Ольгерда одиннадцать крестились в православные, то есть принимали религию, утвердившуюся у белорусов. Поэтому эти его сыновья известны с двумя именами — христианским и языческим: Семен-Лингвен, Федор-Виганд, Василь-Коригела, Дмитрий-Корибут, Иван-Скиргайла. Даже Ягайла был вынужден перейти в «греческую веру» и принял имя Яков, и конкретная причина этого действия Ягайлы прямо связана с Куликовской битвой, как мы это увидим ниже. Православные белорусы составляли преобладающее большинство в войске Великого княжества Литовского, считали за святой долг защищать свои религиозные убеждения. То, что с точки зрения иерархов церкви их религиозные представления были несуразной смесью христианства и язычества, — разговор особый, главное, что они сами считали себя верными христианами и отличали своего от чужого по единственному и внятному признаку — есть на нем крест или нет. Так что Андрей Ольгердович, вернувшись в 1379 году на Полоччину, нашел там широкую поддержку. К нему присоединился киевский князь Владимир Ольгердович, который также жаждал самостоятельности. Вообще, все православное население Великого княжества было недовольно, что державный трон занял язычник Ягайла, и сочувствовало его противникам. Естественно, что потворствующая таким настроениям Москва становилась для Ягайлы тем более враждебной.

Получив тайное известие от рязанского князя о готовящемся нападении Орды, Дмитрий Донской обратился ко всем русским княжествам за помощью. Не миновали эти призывные письма и Андрея Полоцкого. Он собрал полк и двинулся под Коломну, куда собиралась русская рать. Какую же силу вел на поле Куликово князь Андрей? Как псковский князь он вел полк псковичан. Вся псковская земля в случае войны могла выставить тысяч восемь воинов. В дальний поход скорее всего пошли конные добровольцы. Количественно этот полк вряд ли превышал 500—600 человек. Что касается Полоцкого княжества, то здесь Андрей как хозяин положения имел возможность собрать больше людей. Полоцк был одним из крупнейших городов Белоруссии и Восточной Европы: население его на то время, по мнению историков, составляло примерно 20 тысяч. Соответственно при воинской мобилизации в десять процентов город мог выставить в поле две тысячи воинов. Такое же количество могло дать полоцкое боярство со своих вотчин. Едва ли с Андреем пошли все полоцкие ратники; ближе к истине уменьшить это число вдвое. Остается две с половиной — три тысячи. Вот с таким

полком и пришел Андрей Полоцкий помогать Дмитрию Донскому.

Много это или мало? Ответ на этот вопрос может дать только подсчет количества людей в войске Дмитрия. В «Сказаниях о Мамаевом побоище» русская рать определяется в 200—400 тысяч воинов. Русские летописцы называют меньшее число — 150 тысяч. Но все это — известия легендарные, цифры поэтически образные. Армия подобных размеров появилась в России только в Петровскую эпоху. В 1380 году Московская Русь такого количества воинов никоим образом собрать не могла. По разным причинам не все русские земли приняли участие в Куликовской битве. Не отозвались на призыв Дмитрия Тверское княжество, Новгородская земля, Нижегородское и Суздальское княжества, остались в стороне Смоленское княжество и, как мы уже говорили, рязанский князь Олег. Помимо непосредственно москвичей в состав русского войска вошли полки удельных князей — белоозерских, ярославских, муромских, елецких, мещерских, кашинских, брянских — и городские полки из Коломны, Серпухова, Владимира, Костромы, Ростова, Старо дуба, Переяславля-Залесского, Калуги, Дмитрова и некоторых других. Так что силы Дмитрия Донского были ограничены.

По подсчетам историков, в 1630 году общая численность войск русского государства составляла 93 тысячи человек. Полстолетием прежде, при Иване Грозном, русское полевое войско насчитывало 70 тысяч воинов, из них 10 тысяч — татары и 4 тысячи — наемники. Таким образом, само русское войско составляло 66 тысяч. Но двумя столетиями раньше территория Московской державы была втрое меньше; следовательно, даже без учета роста населения, Дмитрий Донской мог вести под своими знаменами примерно 20—25 тысяч ратников.

К этому числу приводят и другие подсчеты. В конце XIV века население Москвы не превышало 20 тысяч жителей. При сверхнапряженной мобилизации (в двадцать процентов) Москва могла выставить полк в 5 тысяч воинов. Прочие города московского и сторонних княжеств были значительно меньшими — одна-три тысячи жителей. Если допустить, что в Роднеже, Звенигороде, Оболенске, Перемышле, Рузе, Можайске, Боровске, Боголюбове, Юрьеве, Дмитрове, Переяславле жило по тысяче, а в Серпухове, Коломне, Муроме, Стародубе, Владимире, Угличе, Калуге, Ярославле — по три тысячи человек, то при сверхнапряженной мобилизации городское население сумело выставить на битву семь тысяч воинов.

В первой половине XVI столетия сельское население русской державы, как подсчитал историк Е. А. Разив, составляло 1,1 миллиона человек. Среди них мужчин призывного возраста было 280 тысяч. Таким образом, при мобилизации в десять процентов (а для сельской местности это высокий процент) русские крестьяне могли выделить на войну 28 тысяч человек.

Это через 150 лет после Куликовской битвы и при расширенной территории государства. А в 1380 году Дмитрий навряд ли мог получить в ополчение более чем 12—15 тысяч крестьян. Сюда надо прибавить обоз. Для похода на каждые 8—10 человек требовалась подвода. На 25 тысяч русского войска 2—3 тысячи подвод, что дает еще 2—3 тысячи пехоты; определенное количество составляли коноводы, которые вели запасных лошадей.

В русском ополчении на конницу приходилась половина силы; об этом свидетельствует состав войска в 1580 году, когда из общей его численности в 56 тысяч на поместную конницу приходилось 25 тысяч. Суммируя все сказанное, можно считать, что Дмитрий Донской располагал на поле Куликовом 15 тысячами конных воинов и таким же количеством пеших. Это была огромная рать. Она потребовала невиданного раньше напряжения сил русского народа, затронула все города, каждую деревню. Именно

поэтому Куликовская битва и осталась в народной памяти — русские земли, призванные побить Мамай, дали для этой победы все, что могли, ничего не затаили, вышли в поле на пределе своих воинских возможностей.

Для сравнения припомним, что для взятия Казани в тяжелый многомесячный поход Иван Грозный вел 50 тысяч войска. В самой крупной битве XIX столетия на Бородинском поле с русской стороны участвовало 125 тысяч солдат и офицеров. А Куликовская битва состоялась на 430 лет раньше. Так что 25 тысяч Дмитрия Донского на то время представляли собой необычно большую рать.

Тем не менее князь Дмитрий Иванович, хоть и собиралось невиданное прежде войско, не мог быть спокоен. Через меру было у него в войске «небыльцев» — людей, которые шли на битву впервые, не привычных к длительному бою в строю. Вот почему с благодарностью был воспринят (что отметили все русские летописи) приход братьев Ольгердовичей — Андрея с полоцким и псковским полками, Дмитрия с брянским полком. К тому же братья имели богатый боевой опыт и пользовались авторитетом, о чем говорит доверие Андрею полка правой руки, а князю Дмитрию — особого полка резерва. В художественной форме этот почет отразило одно из лучших произведений литературы того времени — «Задонщина»: «О, соловей, летня птица, чтобы ты, соловей, выщекотал земли Литовской дву братьев Альгердовичей — Ондрей да брат его Дмитрей Альгердовичей, да Дмитрей Волынский. Те бо суть сынове храбрии, крчати в ратной времени, ведоми полководцы, под трубами и под шеломы возлелеяны, конец копия вскормлены...»

Такое же примерно войско — чуть меньшее или чуть большее — привел на битву Мамай. Междоусобицы в Орде не позволяли собрать рать со значительным перевесом; это выразилось в стараниях Мамай о союзниках и приглашении наемников — генуэзской пехоты.

Из Москвы на Коломну, где был назначен общий сбор, русские полки двинулись тремя дорогами. Почему тремя? Из соображений удобства. Если отмерить на одну подводку обоза семь метров дороги, то обоз в три тысячи подвод занял бы двадцать один километр, а если приплюсовать сюда растянутые на пятнадцать километров конные отряды (три метра на коня при трех верховых в ряд) да еще не менее пяти верст под пехотой, то походный порядок потребовал бы 40—45 километров при максимальной плотности колонны. Однако и три колонны по пятнадцать километров в глубину — картина впечатлительная.

26 августа Дмитрий Донской провел смотр войска. В соответствии с русской военной тактикой оно было поделено на пять полков: передовой, правой руки, большой, левой руки, засадный. О количественных соотношениях этих полков дает представление роспись русской рати, которая в 1562 году ходила в Ливонский поход: передовой полк — 5400 человек, полк правой руки — 4000, большой — 5800, полк левой руки — 3400, царский — 6200. Царский полк примерно соответствует засадному полку XIV столетия.

В последний день августа русское войско переправилось через Оку и двинулось к полю битвы. От переправы до него было 125 верст. На таком же расстоянии от Куликовского поля находились войска Ягайлы и Олега рязанского. Мамай, хоть и был ближе остальных к Дону, подвигался медленно, ожидая союзников. Упоминание об одинаковой для всех сторон столкновения длине пути имеет важный смысл, так как все участники

Мамаевой коалиции могли прийти на битву в одно и то же время.

Никто из них не был поставлен в худшее положение по условиям качества дорог, количества переходов, их сложности. Однако Ягайла на битву не пришел. Почему —

будет сказано ниже.

Победа русских в битве была обеспечена вовсе не количественным перевесом, если даже предположить, что он имел место, и дело вообще не в меньшем или равном количестве копий и топоров. Татары хорошо знали, за что идут бороться. В Орду из русских земель тек серебряный ручей. Одна Москва давала Орде пять тысяч рублей — по тому времени баснословные деньги. Не зря на Востоке ходили рассказы, что Русь засыпана серебром, как снегом. И еще на русских лежала ямская (почтовая) повинность, и давила на дань натурой. Львиная часть этих поступлений шла хану, но кое-что перепадало и воину. Средством наживы были для Орды и набеги на русские земли. Согласиться с утратой такого источника своего благосостояния татары не могли.

Полезное и приятное для татар было злом для русских, и каждый ратник чувствовал себя ответственным за судьбы родины. Но не только крепкий дух русского войска привел к победе. Успех стал и результатом военного таланта, который проявили Дмитрий Донской и ставшие с ним рядом князья. Татары бились не менее мужественно, чем русские, и в отношении воинской дисциплины, опыта, тактики нисколько не уступали русскому ополчению, скорее — превосходили его. Мужество, стойкость, храбрость — необходимые условия, но исход битвы решают не только они. Храбро сражались русские дружины и на Калке в 1223 году, в свое первое столкновение с монголами, однако славы и успеха не сыскали, спластовались поголовно.

К месту сказать, в трагической битве на Калке также участвовали белорусские отряды. Так, перечисляя погибших там князей, летописи называют среди них и несвижского князя Юрия. Верно, не он единственный из белорусских князей ходил на ту сечу.

В Куликовской битве ситуация коренным образом изменилась. Удачно, с преимуществом для русских, с учетом тактики татар было выбрано поле боя. Географические размеры его 8X9 километров, но площадь, подходящая для сражения, составляла 4 километра по фронту и 5 в глубину. Вот на этих четырех километрах и разместились полки — правой руки, большой, левой руки. Передовой полк подвинулся навстречу татарам, засадный засел в Зеленой Дубраве в 2 километрах за главными силами, а между дубравой и полком левой руки стал полк Дмитрия Ольгердовича. Позиции русского войска с правого фланга оберегали порезанные ярами берега реки Нижний Дубяк; обойти левый фланг мешала речка Смолка, и татарам не было возможности применить свою излюбленную тактику окружения; им оставалось идти на малоприятное лобовое столкновение.

По традиции средневековья, которой твердо придерживались и в Западной и в Восточной Европе, князь — возглавитель войска принимал непосредственное участие в битве: или сразу, с первых минут боя, или позже, когда сам вел в бой резерв. Неисполнение этого неписаного закона считалось проявлением трусости и отрицательно влияло на боевой дух войска. Вообще, иначе и не понималось — князь в бою был равным с другими перед лицом возможной смерти, и то, что он бился с врагом, как и все прочие, было утверждением справедливости. Князь служил образцом боевого поведения. Насколько эта традиция была сильной, можно судить по такому вот происшествию. В 1552 году, когда русское войско пошло на решительный штурм Казани и ворвалось в город, в жестоком уличном бою настал критический момент. Воеводы, чтобы поднять пыл воинов, приказали развернуть возле городских ворот царскую хоругвь, а самого царя Ивана Грозного против его желания, силой заставили стать рядом — «и самого царя, — как отметил летописец, — хотяща и не хотяща, за бразды коня взяв, близ хоругви поставиша».

Дмитрий Донской исполнил старинный обычай, хоть и отступил от него. Под черным великокняжеским стягом стал одетый в доспехи Дмитрия Михаил Бренк, а сам Дмитрий бился в первых рядах большого полка. Отдавая честь личному мужеству Донского, надо сказать, однако, что такое решение князя с военной точки зрения было не лучшим. Великий князь, завязнув в гуще сечи как простой ратник, лишал войско единого руководства. Каждый полк подчинялся своим командирам, координация действий «сверху» не осуществлялась. Даже введение в бой резервного полка Дмитрия Ольгердовича и засадного, во главе которого стояли князь Владимир Андреевич Серпуховский и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, целиком зависело от их военной интуиции. Те же неудобства испытывали и начальники отдельных отрядов в полках. Положение спасло то, что все эти люди, особенно Боброк-Волынский, показали высокую сообразительность, самостоятельность военного мышления и чувство критической минуты.

В татарском войске порядок был иной. Правила боя, разработанные еще Чингисханом, запрещали под страхом смертной казни участие в сражении даже тысяцкому. Тот наблюдал за действиями своих сотен, а тысячами распоряжался темник. Общее руководство осуществлял хан, который располагался так, чтобы было доступно осмотру все пространство боя. Мамай в Куликовской битве стоял на Красном холме — в пяти километрах от центра сечи. Его глазам открывалось все русское построение — передовой полк, три полка по фронту и полк Дмитрия Ольгердовича в запасе. Зная тактическое построение русской рати из пяти полков, Мамай допустил ошибку, посчитав, что все видимые ему полки — и есть все войско Дмитрия. Спрятанная в Зеленой Дубраве конница Боброка-Волынского и Владимира Андреевича осталась незамеченной, не была взята в расчет, и потому, как показала битва, Мамай не предусмотрел появления свежего и значительного засадного полка.

После поединка богатырей — Пересвета с Толубеем — сошлись передовые полки русских и татар: их нещадный обоюдоуничтожающий бой занял более часа. Здесь, в рядах передового полка рубилась белорусская дружина Глеба Друцкого. Никаких других сведений о князе Глебе не сохранилось. Только и известно о нем, что ходил на Куликово поле — может там навсегда и остался. Невозможно определить и численность друцкой дружины: могло быть триста человек, могло быть больше, могло быть меньше. Но сколько бы ни было там дручан, навряд ли хоть одному из них посчастливилось остаться в живых — все они полегли, отбивая первый, самый тяжелый удар.

Потом сблизилась главная сила, и татары направили натиск на большой полк, на общевойсковое знамя. Тактика татар с обязательностью требовала первоочередного уничтожения большого полка и великокняжеского стяга — это было равнозначно победе. Помимо того, разгром большого полка позволял взять в «клещи», а затем в «котлы» полки правой и левой руки и вырубать их уже по отдельности. Одновременно Мамай усилил натиск по всему фронту боя, отыскивая слабинку.

Возглавляемый Андреем Полоцким полк правой руки, в котором сражались полочане, выкачал наибольшую стойкость. Это значит — терял людей, но держался, не уступал.

Трудно представить ту битву, лучше послушаем летописца:

«...Льется кровь богатырская под седлами, котятся шлемы золотом под ноги конские, а за шлемами головы богатыров. Татары же вдвое того падают на поли Куликовом, а як великое и пространное место межю Доном и Мечею, але еще и тое было тесно. От так великого и тесного войска и не тылко от оружия падали, але и сами от себя разбивались и от тесноты великой иишии задыхались, иишии под ногами конскими



умирали, а реки кровавые текли, мечи блискались, аки молнии, копии крушатся, як гром трещи ти; от третьей години а ж до шестой билися христиане. О грозной години. О горького часа. В трох бо годинах безчисленое множество побито создания божия. Годину четвертую и пятую бьются, не ослабевают христиане, ниже татары, наставшей же шестой године начата божиим попущением грех ради наших поганым одолевати, а христиане изнемогати...»

Большой полк стал прогибаться, а полк левой руки под напором татарской конницы был вынужден отступать. Сюда, на охрану большого полка от флангового удара поспешил со своим полком Дмитрий Ольгердович. Но и брянцам удержать лавину татар не удалось. Битва длилась уже пятый час; в большом полку и в полку левой руки стояло много «небыльцев» — главным образом ремесленников и крестьян. Большинство из них не имело защитных доспехов, даже кожаных, в продолжительной битве они неминуемо должны были погибнуть и сами понимали свою трагическую роль; ряды их таяли, пластовались под татарскими саблями, и настал такой момент, когда татары опрокинули полк левой руки и половину большого полка и погнали к Непрядве. Мамай, очевидно, ликовал победу — татары шли по пятам бегущих и высекали их в спину.

И вот тогда, когда полк левой руки гибнул от татарских арканов, оседал под татарскими топорами, когда зажимались клещи вокруг полка правой руки,— вот тогда князь Дмитрий Боброк отдал приказ засадному полку вступить в бой. Тысяч 6—7 конницы вынеслось из Зеленой Дубравы и обвалилось на татар. «И побегоша татарсции полци, а христианьсции полци за ними гояюще, бьюща и секуща». Битва изменила свое течение; перешли от обороны к натиску нетронутая бегством половина большого полка и крыло Андрея Полоцкого. Татары побежали. Удар Дмитрия Боброка и Владимира Андреевича был полной неожиданностью. Мамай ничего не мог противопоставить этой, словно с неба сошедшей силе. Прямо у него на глазах такая близкая и безусловная победа оборачивалась небывалым, ужасным для татар поражением...

Вот когда потребовались бы Мамаю, более того, были необходимы те 7—8 тысяч белорусско-литовского войска, которое вел на битву Ягайла. Но их не было, они не пришли, словно осели в землю в 20 верстах от Куликовского поля. Почему же? Что остановило их движение? Что не позволило пройти последние километры — три часа хода для конницы — после многодневного похода? Какая же ворожба зауздала решимость Ягайлы, что заставило изменить слову, не вынуть меч, не нанести удар — удар действительно смертельный — своему противнику Московской Руси? И как ни посмотришь — удивительно странно, очень странно поступил Ягайла. Стань его хоругви против засадного полка — и многое могло бы измениться: могли бы русские и не увидеть победы, могла бы снизиться сила, сдерживающая Ягайлу иа Востоке, и пропал бы князь, приятный к беглецам из Великого княжества Литовского. По-разному объяснялся историками этот загадочный поступок Ягайлы. Высказывали мнение, что Ягайла не успел на битву, опоздал, что ему не хватило «одного дня». Действительно не хватило. Но совсем не потому, что был далеко и переходы были длинные и полные напряжения. При желании он смог бы соединиться с татарами на дня два раньше. 125 верст войско его сумело одолеть за десять дней — это чрезвычайно медленные темпы, ползком — и то выйдет быстрее. Пробовали объяснить опоздание Ягайлы его личной трусостью — будто бы он вообще опасался боя. Это не так. Ягайла был храбрым человеком; об этом свидетельствуют его смелый заговор против К ей с ту та и особенно непосредственное участие в московских походах отца, в набегах на крестоносцев, на польские земли (например, на Свентокшыжский монастырь). Был бы Ягайла боязлив, он вообще не выступил бы на соединение с Мамаем. Или, может быть, отказала Ягайле в решительный

момент политическая дальновзоркость, военное мышление? Нет, Ягайла обладал глубоким и трезвым умом.

Суть дела крылась в другом; стояние в стороне решил не он — решили люди, которых он вел, его хоругви, войско. Единственной причиной, которая заставила Ягайлу не лезть в битву, было настроение белорусских полков, то есть подавляющего большинства войска. Белорусы были православными, их сочувствие русским как одноверцам вылилось в решительное нежелание рубиться на стороне Мамаю. В этом религиозном чувствовании нашло объективное проявление и чувство славянского единства против этнически враждебных народов. Но самым главным препятствием для соединения войск Ягайлы с Мамаем была память белорусов о разгроме ими татар на Синей Воде. Эта битва незаслуженно находится в тени. Между тем как раз на Синей Воде в 1362 году татары потерпели первое крупное поражение, которое и определило конец их владычества на захваченных славянских землях. Точнее сказать, оно положило конец татаро-монгольскому игу на украинских землях. Великий князь Ольгерд повел на освобождение Украины всю военную силу Великого княжества Литовского — тысяч тридцать войска, не считая челяди и обозников. К нему присоединились полки украинских земель, которые давно мечтали скинуть гнет татар. В битве на Синей Воде, как рассказывают летописи, особенно отличилось ополчение новгородцев. Эта битва входит в число крупнейших сражений средневековья, а по своим результатам едва ли имеет себе равных — ведь татары были изгнаны из Киева, Волыни, Подолья, со всей степной Украины до Крыма и устья Дона. Еще одним следствием этой исторической победы было воссоединение белорусского и украинского народов. Оно произошло через двести пятьдесят лет после распада Киевской Руси (1125 год). Только теперь народы воссоединились в новом государстве — Великом княжестве Литовском, Русском, Жемойтском.

Именно освобождение Волыни, Подолья, «матери городов русских» Киева повлияло на решимость Московской Руси добиться победы над татарами. Не случайно Куликовская битва последовала так скоро за битвой на Синей Воде. Час освобождения от Орды пробил, и возвестили о нем радостным звоном мечи белорусов, украинцев и литовцев в Диком поле на Синей Воде. В войсках Ягайлы было достаточно воинов, которые участвовали в той исторической битве, и сейчас выступать на Куликовском поле вместе со своим недавним побитым врагом против близкого по крови и братского по вере русского народа им было невозможно. Оценивая такое настроение своих хоругвей, их нежелание осквернить себя общими действиями с иноверцами, Ягайла счел за лучшее не рисковать. И поступил разумно. Белорусские хоругви в ходе битвы могли присоединиться к русским полкам, и уже тогда неминуемо, тут же по разгроме ордынцев, сгорела бы, как зничка, звезда княжения Ягайлы. Тем более, что не надо было искать преемника, он находился рядом — полоцкий князь Андрей Ольгердович. Вот почему те тысячи, которых так не хватало Мамаю, на которых в известной степени основывалась его уверенность в победе, недвижимо простояли поодаль поля, а унаво о боевом успехе русских, двинулись назад, в Великое княжество.

Надо сказать, что лояльные отношения белорусов к жизненно важной задаче русского народа, отношения, которые подействовали на уничтожение войска Мамаю, нашли понимание в Московском княжестве и остались в памяти. Через тридцать лет, во время Грюнвальдской битвы, где решались исторические судьбы белорусов и литовцев, русский народ в лице своих князей не воспользовался моментом, не ударил в спину, не пошел воевать Смоленск, Брянщину, белорусские земли. Момент, стоит подчеркнуть, был наиудобнейшим — в Грюнвальдскую битву вступили полки всех белорусских земель. Восточная Беларусь, Смоленщина остались без защитников — бери голыми руками.

Случись такое нападение, и Великому княжеству Литовскому пришлось бы разделить силы, биться на два фронта. Так что Куликовский долг, долг косвенной помощи, русские вернули благородно. Это взаимное уважение коренных интересов друг друга и представляется наиболее существенным в истории наших братских народов того времени.

Как же сложились дальнейшие судьбы некоторых главных участников Куликовской битвы? Андрей Полоцкий после настойчивой борьбы с Ягайлой был побежден, несколько лет провел в темнице, откуда его освободил под свою заруку князь Витовт. Погиб Андрей в жестокой битве с татарами на реке Ворскле в 1399 году. Сыновья князя Андрея — Михаил и Сымон, также рубившиеся с татарами на поле Куликовом, — погибли прежде отца: Михаил в 1385 году в походе Москвы на Олега Рязанского; Сымон годом позже, защищая Полоцк от своего дяди Ивана-Скиргайлы.

В трагической битве на Ворскле погибли и герои Куликовки — Дмитрий Ольгердович и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский...

Мамай через год после своего поражения на Дону был разбит Кипчакской Ордой, сбежал в Крым, где в скором времени был зарезан. Во главе Золотой Орды стал Тохтамыш. В 1382 году он с большим войском напал на Московское княжество, сжег Москву и хитростью вошел в Кремль. Население Москвы (10—15 тысяч человек) было поголовно и безжалостно вырублено. Новое усиление Орды стало угрожать не только Москве, но и Великому княжеству Литовскому. Поэтому Ягайла, по казни своего дяди Кейстута став самодержцем, решил изменить политику отношений с Москвой — примириться. Для скрепления союза предполагался брак Ягайлы с дочерью Дмитрия Донского. Об этом велись переговоры в 1384 году. Но тогда же последовало более выгодное для Ягайлы предложение от поляков — вступить в брак с польской королевой Ядвигой и стать королем Польши. Ягайла его принял.

Сын Дмитрия Донского Василий после побега из татарского плена встретился в Луцке с Витовтом, и эта встреча завершилась обручением Василия Дмитриевича с дочерью Витовта Софьей. Свадьба была сыграна в 1391 году, и таким образом Московский великий князь и великий князь Литвы, Руси и Жмуди породнились, что, однако, не мешало Витовту воевать со своим зятем.

Да, безусловное освобождение русского народа от господства Орды наступило не сразу по Мамаевом побоище, как не сразу по Грюнвальде потерял свою силу Тевтонский орден. Но есть в обоих сражениях глубинный смысл: они показали народам, что конец вражеского насилия, походов, набегов, обескровливающих войн — неизбежен, что народы Восточной Европы имеют духовную силу для победы.

Шесть столетий отделяют от нас Куликовскую битву. Многое исчезло из памяти, неизвестны многие имена. Забылись многие славные когда-то подвиги и дела, а слава о Задонщине живет и поныне, и на поле Куликово приходят люди почтить далеких своих предков, которые не пожалели жизни ради родины и свободы. Те, polegшие в бою герои, спят вечным сном на былом поле сечи; есть среди них и наши предки с Полотчины и Друцка. и поле Куликово — святое для нас, белорусов, так и для русских.

## Холмы Грюнвальда

Значение победы под Грюнвальдом можно высказать так: после нее в течение пяти веков, до 1914 года, на земли Белоруссии и Литвы не ступала нога вооруженного немца. Почему важно в первую очередь отметить этот аспект Грюнвальда? Потому что до Id

июля 1410 года походы крестоносцев на Великое княжество Литовское, а конкретно, на Литву и Белоруссию, совершались до восьми раз в год. Это не были походы ради наживы; стратегическая цель немецкой политики состояла в полной ассимиляции народов захватываемых территорий. Такая судьба постигла славянские племена бодричей и лютичей; в 1157 году император Фридрих Барбаросса перешел Одру; ста лет не прошло, как на землях шпревян был основан Берлин, ставший столицей Бранденбургского маркграфства и центром немецкой колонизации земель между Вартой и Одрой. Славянское население при малейшей попытке сопротивления уничтожалось, изгонялось или переселялось; остававшаяся часть подвергалась насильственному онемечиванию. Так было и с литовским племенем пруссов, от которого, как говорилось выше, немцы не оставили ничего, кроме имени, да и то закрепилось оно за немцами, — воинственное грозное племя исчезло, растворившись среди немецких колонистов. Такая же участь ожидала белорусов и литовцев. Пределы территориальных претензий Тевтонского ордена постоянно расширялись.

Тевтонский орден сложился из двух орденов: Меченосцев и Ордена рыцарей черного креста девы Марии. Объединение произошло в 1237 году по настоянию папы римского Григория IX. Тевтонский орден после упадка Иерусалимского королевства и возвращения в Европу с 1211 по 1225 год действовал в Венгрии, но был изгнан оттуда и оказался без места. В этот тяжелый для него час Ордену повезло — в 1226 году он получил приглашение от мазовецкого князя Конрада осесть на 20 лет в Хелминской земле (в Польше) для умиротворения и христианизации пруссов, чтобы за это время приобрести себе земли в Пруссии. Захватив прусские земли, Орден целенаправленно отвоевал у Конрада важные для себя польские территории (Поморье) и направил военный удар против Великого княжества Литовского. Необходимо сказать, что в том же 1226 году магистр Ордена заручился грамотой императора Фридриха II, которая все территориальные завоевания в землях пруссов «передавала» в собственность крестоносцев. Через два года Коирад был вынужден отдать Ордену Хелминскую землю в «вечное владение».

Белоруссия и Литва еще при Миндовге испытывали давление Ордена. Необходимость противостояния ему привела в 1325 году Великое княжество к союзу с Польшей. Союз был скреплен браком польского короля Казимира III с дочерью Гедимины Алдоной.

Из земель Великого княжества для крестоносцев жизненно важно было заполучить Жмудь, которая отделяла ливонцев от орденской Пруссии. В случае объединения у крестоносцев оказалось бы в руках все балтийское побережье; для литовцев и белорусов такое объединение создавало смертельную угрозу и, кроме того, сильно ущемляло их экономически, отнимая выход к морю.

Формально походы крестоносцев на Литву и Белоруссию представлялись как миссионерские, богоугодные — против язычников и русских «недоверков». Великие князья литовские вынужденно заключали с Орденом соглашения, обещавшие ему Жмудь или даже передававшие Жмудь под орденскую власть.

Захватнические замыслы Ордена, однако, не ограничивались Жмудью. В 1392 году между Тевтонским орденом и венгерским королем Сигизмундом Люксембургским был заключен договор о совместном ведении войны против Польши и Великого княжества, в результате которой предполагалось разделить территорию противника следующим образом: Орден получал Жмудь, Белую и Литовскую Русь, Полесье, Подляшье, Мазовецкое княжество, псковские и новгородские земли, Великопольшу; Сигизмунд должен был обрести южную Польшу и Червоную Русь (то есть всю Волынь и Подолье).

При таком соседстве государственное развитие Великого княжества и Польши не могло проходить нормально. Сокрушение Ордена стало неотложной задачей, жизненно необходимой потребностью литовцев, белорусов и поляков. Эту задачу и решила Великая война 1409—1411 годов. Стратегическое решение о войне было принято польским королем Владиславом-Ягайлой и великим князем литовским Витовтом на тайном совещании в Новогрудке в декабре 1408 года. Первым действием войны стало восстание Жмуди, которая в это время находилась под управлением Ордена. По приказу Витовта жмудские отряды напали на рыцарские замки и вырубали крестоносцев. Послы Ордена, как записал Ян Длугош, тотчас обратились к Ягайле выяснить его отношение к тому, что «Александр-Витовт, великий князь литовский, отнял у них землю самагитов (Жмудь), несмотря на то, что открытой грамотой записал ее в вечный дар магистру и Ордену и отрекся от всякого права притязать на нее, а начальников и наместников его и Ордена перебил или захватил в плен с позором и срамом. И хотя магистр и Орден снаряжали много посольств к упомянутому Александру-Витовту и многократными просьбами и настояниями добивались возвращения захваченной земли и возврата пленных, однако их старания и просьбы не оказали никакого действия, так как Александр, князь литовский, насмеялся над их настояниями и требованиями».

Польские послы в Мариенбурге (столице Ордена) в ответ на угрозу магистра, что он наберет войско и нападет на Великое княжество, ответили: «Перестань, магистр, страшить нас, что пойдешь войной на Литву, так как, если ты решишь это сделать, то не сомневайся, что лишь только ты нападешь на Литву, наш король вторгнется в Пруссию». Тогда немцы, не медля, начали военные действия против поляков и захватили Добжинскую землю. Боевые действия длились недолго и завершились перемирием

Польши с Орденом до Купалья 1410 года. Но перемирие с Великим княжеством великий магистр не заключил, что давало ему возможность продолжать военный натиск против Литвы и Белоруссии. Арбитром в споре Польши и Ордена взялся выступить чешский король Вацлав; решение его должно было быть оглашено в Праге 9 февраля 1410 года. Поскольку ни Ягайла, ни Витовт не сомневались, что Вацлав объявит решение в пользу Ордена, то возобновление войны следующим летом было неотвратимо.

В декабре 1409 года Витовт и Ягайла встретились в Бресте, где обсудили детальный план летнего похода на крестоносцев. На это брестское совещание приглашался хан Джелаледдин, сын Тохтамыша, которому подчинялось принятое в Великом княжестве большое золотоордынское войско. С ханом была заключена договоренность, что он выводит на войну определенное число конницы, а за это после войны Витовт поможет Джелаледдину вернуть отцовский престол в Золотой Орде.

Забегая вперед следует сказать, что свое обязательство Витовт выполнил. В 1411 году, после удачного похода на Орду он посадил Джелаледдина на ордынский трон, что Великому княжеству было выгодно: это ограждало южные границы Великого княжества от татарских набегов и давало союзника в политике утеснения Московской Руси.

На брестском совещании Витовт и Ягайла обговорили также численность и место сбора войск Польши и Великого княжества, стратегию удара, вопросы набора наемников, дипломатическую тактику привлечения своих возможных союзников и нейтрализации возможных союзников Ордена.

Соответственно плану в последних числах мая 1410 года в Гродно стала стягиваться полки из белорусских и литовских земель и княжеств. Отсюда тронулись они к истокам реки Нарев, где был назначен сбор всему войску Великого княжества. Затем войска Витовта совершили переход через мазовецкие земли и пришли к Червеньску на Висле, где встретились с польскими хоругвями. Это было в начале июля, а через две недели

произошло Грюнвальдское сражение, ставшее кульминацией всей войны 1409—1411 годов и определившее ее исход.

В ряду крупных битв того времени Грюнвальдская выделяется как количеством участвовавших в ней войск, так и необыкновенной удачей результатов: Орден, который еще утром 15 июля 1410 года был одним из могущественных государств Европы, к вечеру стал почти ничем, и ему угрожало исчезновение с политической карты. Хоть впоследствии Ордену удалось воспрянуть и укрепиться, поражение его в Грюнвальдской битве изменило политический и военный климат в Европе и вывело Польшу и Великое княжество Литовское в число действенных стран, с которыми следовало считаться.

Понятен поэтому глубокий интерес к этому сражению со стороны историков многих поколений Польши, Литвы, Белоруссии, Германии, России. Среди них — Я. Длугош, М. Стрыйковский, А. Кояловнч, Т. Нарбут, И. Лелевель, А. Левицкий, Ю. Крашевский, А. Шайноха, А. Прохазка, А. Барбашев, М. Кояловнч, Я. Гейсман, Г. Зутнс, Г. Дельбрюк, Н. Разин, А. Строков, В. Пашуто, Н. Лапин, А. Тирчинский и многие другие. Наиболее глубоко исследовал круг связанных с Грюнвальдом проблем современный польский историк С. Кучинский, обобщивший свои выводы в труде «Великая война с орденом крестоносцев в 1409—1411 годах».

В битве участвовали хоругви на всех белорусских землях и княжествах; все города, каждая деревня дали воинов для Грюнвальдского сражения, и, конечно же, любопытно проследить по имеющимся прямым и косвенным свидетельствам, каково было это участие.

Польское войско пришло на битву в составе 50 хоругвей; из них 7 выставили подчиненные Польше украинские земли. Длугош называет следующие украинские полки: Львовский, Холмский, Галицкий, Перемышльский и три Подольских; в двух хоругвях были наемные рыцари из чехов, моравов, силезцев.

Великое княжество Литовское выставило на поле боя 40 хоругвей: 30 из них имели на знамени Погоню — герб Великого княжества; 10 — герб Колонны — белые столпы на красном фоне. Помимо них, с Витовтом пришла конница хана Джелаледдина. Длугош в своей «Истории Польши» определяет число татар, участвовавших в Грюнвальдском сражении, в 300 человек. Цифра, безусловно, во много раз занижена. По преданиям белорусско-литовских татар, их пришло к Витовту 40 тысяч. Поэтому мнения исследователей были весьма разноречивы. Одни считали, что в походе 1410 года было около 30 тысяч татар, другие утверждают, что Джелаледдин выставил для битвы 10—15 тысяч воинов, третьи ограничивают численность помогавших Витовту татар 1—2 тысячами. Не имея точных данных, трудно согласиться с любым мнением, но косвенные свидетельства позволяют считать, что Джелаледдин присоединил к войску Великого княжества не менее 5 тысяч всадников. Такой вывод можно сделать на основании того, что ордынцы, пришедшие с Тохтамышем, были размещены во многих белорусских и литовских поветах; и далее — восстановление на отцовском троне могло быть реальным для Джелаледдина только при наличии у него самого достаточной военной силы.

Кроме того, в орденских хрониках записано, что великий магистр Ульрик фон Юнгинген погиб в битве от руки татарского хана Багардина, что могло быть и правдой, и в этом случае смерть магистра от руки язычника была еще одним упреком против Ягайлы и Витовта. Возможно, чтобы отвести такой упрек, Я. Длугош записал в «Истории», что великий магистр был убит «простым драгом», то есть рядовым воином нешляхетского происхождения. На известной картине «Грюнвальдская битва» Яна Матейко момент гибели Юнгингена изображен символически: человек, наносящий великому магистру Ордена смертельный удар, одет в красную одежду официального

палача; его оружие — также традиционное орудие казни, то есть воин выступает как бы безличностным исполнителем приговора истории.

Из сорока хоругвей Великого княжества Длугош поименно называет 21: виленскую, тройскую, гродненскую, ковенскую, лидскую, полоцкую, витебскую, новогрудскую, волковыскую, медницкую, брестскую, пинскую, киевскую, стародубскую, дрогичинскую, мельницкую, кременецкую, смоленскую, а еще хоругвь князя Сигизмунда-Корибута, хоругвь князя Семева-Лингвеи Мстиславского и хоругвь некоего Георгия (Юрия). Остальные 19 хоругвей не названы.

Попытаемся, насколько это возможно, определить их. Начнем с полков, названных именами князей. Юриев, которым доступно было вести в битву полк, на то время известно трое. Юрий Мстиславский — сын Семена-Лингвена, вошедший во многие исследования чуть ли не самым известным участником битвы, на самом деле в Грюнвальдском сражении быть не мог: ему в 1410 году едва ли исполнилось 12—13 лет. Невозможно допустить, чтобы он не только командовал полком, но и вообще присутствовал в этом рискованном походе.

Князь Юрий Пинский по кличке Нос в это время был псковским наместником Витовта; если он на время войны возвращался по вызову Витовта на родину, то вел пинскую хоругвь, где его знали и где он пользовался «законной властью».

Третьим Юрием был племянник Витовта и Ягайлы — Юрий Михайлович — князь в Заславле. Вот он более всего и подходит на роль полкового командира, яе раскрытого Я. Длугошем. Кто шел на войну с его хоругвью? Само заславское княжество было маленьким, и князь Юрий возглавил минский полк, в который вошла и его заславская дружина. Минск, в те годы подчиненный Витовту, самостоятельного князя не имел, о старосте Витовта в Минске неизвестно, поэтому вполне допустимо считать, что хоругвь князя Юрия составляли минские и заславские бояре и их паробки.

Семен-Лингвен был родным братом короля Владислава-Ягайлы и двоюродным братом Витовта. В описываемое время он являлся боевым князем в Великом Новгороде, который Витовт стремился подчинить своему влиянию. В октябре 1409 года князь Семен приезжал на тайный совет с Витовтом в Троки. Поскольку время было военное, то разговор братьев исключительно мог идти о предстоящем походе, в частности о возможностях участия в нем великоновгородского полка. Вотчиной Семена Ольгердовича было Мстиславское княжество, следовательно он вел на битву Мстиславский полк, подчиняться ему должен был и полк новгородцев. В битве Семен Мстиславский возглавлял левое крыло войск Витовта, то самое, в котором геройски бились хоругви смолян.

«В этом сражении русские рыцари Смоленской земли,— сообщает Длугош,— упорно сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни только не обратившись в бегство, и

тем заслужили великую славу. Хотя под одним знаменем они были жестоко порублены и знамя их было втоптанно в землю, однако в двух остальных хоругвях они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками; и только они одни в войске Александра-Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство в сражении...»

Смоленское княжество окончательно было подчинено Витовтом в 1406 году; его западные области с городами Оршей, Мстиславлем, Пропойском отошли к Великому княжеству Литовскому намного раньше, еще при Ольгерде. Указание Длугоша, что в битве выступали три смоленских полка, вызывает достаточное недоумение, поскольку он сам, перечисляя полки, называет смоленский полк в единственном числе; затем же речь

идет о трех хоругвях. Сам Смоленск непосредственно выправить три полка никоим образом не мог; в сравнении с тем, что Полоцк, Владимир, Вильно выставили по полку, это было бы очень странно. Речь, таким образом, может идти лишь о полках Смоленщины. Тогда, если прибавить к названной смоленской хоругви два не названных полка со Смоленщины — мстиславский и оршанский, запись Я. Длугоша обретает ясность в отношении количества; насколько же стойкостью и мужеством эти полки отличались перед другими полками войска — вопрос особый.

Трудно представить, чтобы от участия в походе были устранены слуцкий полк князя Александра Владимировича и могилевский князя Андрея Владимировича; оба Владимировичи были внуки Ольгерда, родные племянники Ягайлы и двоюродные — Витовта. Из украинских полков несомненно участие в битве луцкой, владимирской, ратненской хоругвей, полков Подольской земли, входившей в Великое княжество. Как убедительно полагает Ст. Кучиньский, Вильно, Троки, бывшие центрами больших, густозаселенных земель, дали не по одной, а по две-три хоругви. Следует также учесть, что полки могли состояться и из мелких поветовых и княжеских дружин. Выставили своих воинов Несвиж, где княжили Григорий и Иван Несвижские, Чорторыйск, Кобрин, Крево, где наместником был Ян Гаштольд;

Лукомль, Ошмяны, Ушполье, Вилькомир, где наместничал боярин Вежкгайло. Помимо медницкой хоругви, Жмудские поветы дали еще 2100 воинов, из которых большинство не пошло на Грюнвальд, а выполняло боевые действия на жмудско-орденской границе.

Хоругви имели различную численность — от 60 до 200 — 300 копий, но были хоругви и в 500 и в 600 копий. Копьем называлась боевая единица из трех воинов: рыцаря, оруженосца (у нас он назывался паробком) и лучника. Бедный боярин мог выступать и в одиночку или обходиться только лучником, но кто был побогаче, стремился увеличить число своих паробков и лучников, поскольку безопасность рыцаря в бою крепко зависела от их числа и умения.

Командирами хоругвей назначались, как правило, люди, занимавшие высшие должности на землях или в городах, где хоругви формировались. Поэтому можно считать, что гродненскую хоругвь вел гродненский наместник Михаил Монтвид, виленскую — Войцех Монтвид, полоцкую — Иван Немир, новгородскую — брат Витовта Сигизмунд Кейстутович, одно время там наместничавший; он же мог стоять во главе новгород-северской хоругви, так как на 1410 год наместничал в Новгороде-Северском. Но в то же время этот полк мог быть по приказу Витовта отдан под начало Сигизмунда-Корибута, отец которого некогда там княжил. Полк киевлян, очевидно, возглавлял киевский воевода Иван Гольшанский, трокские хоругви могли вести воевода Явнис и трокский наместник Гинвил; командиром луцкого полка скорее всего был князь Федор Острожский. Главенство над всеми подольскими хоругвями, как следует из «Хроники Быховца», держал Иван Жедевид — двоюродный брат Витовта.

Отсутствие каких-либо конкретных сведений о численности войск или отдельных хоругвей Ордена, Польши и Великого княжества Литовского допускает строить самые разные предположения — вплоть до фантастических — по этому вопросу. Обычная методика расчета состояла в том, что брали какое-то среднее возможное число копий для хоругви (например 70, что давало 210 воинов, или 300, то есть под 1000 воинов) и умножали на число хоругвей. Поэтому у разных исследователей численность войска представляла то 80 тысяч для крестоносцев и 160 тысяч для Польши и Великого княжества, то соответственно 18 и 36 тысяч. Некоторые историки не считали пехоту, другие не считали татар, третьи по-разному оценивали численность войска, оставленного



для охраны границ и замков.

Наиболее любопытны в этом отношении расчеты Кучиньского, который опирался на мобилизационные способности стран — участников битвы. Польское войско он определил в 20 тысяч воинов, белорусско-литовско-украинское в 11,5 тысячи. Для Великого княжества, однако, расчеты основывались на списках войска Великого княжества от 1529 года, по которым конное войско составляло 24,5 тысячи всадников. В силу уменьшения территории Великого княжества XV — начала XVI века втрое эту цифру можно отнести к 1410 году. Но едва ли верно считать, что большая часть войска не ходила в поход. Наоборот, Витовту требовалась победа над Орденом. В этом случае он возвращал Жмудь, получал Судава, а Ягайла возвращал ему ту часть плодородных подольских земель, которыми пользовалась Польша. Поражение Ордена и мирные границы с Золотой Ордой в случае прихода туда Джелаледдина превращали Великое княжество в сильнейшую державу; реальные возможности самостоятельного развития Великого княжества, разумеется, хорошо видел Витовту, и он был обязан для достижения заветных целей приложить все силы. Это означало, что он должен был вести на битву предельное число своих полков. Поэтому силы Великого княжества в битве под Грюнвальдом можно оценить в 20 тысяч конницы, несколько тысяч пехоты, 3—5 тысяч татар и 3—4 тысячи челяди, обозников, коноводов.

Такие же примерно по количеству силы привел на битву Ягайла. Более 30 тысяч воинов вывел на поле боя великий магистр Ордена. Так что под Грюнвальдом сошлись сражаться около 80—90 тысяч человек. Другого такого крупного сражения история средних веков не знает.

Орден позволил противнику перейти границы, что оказалось губительным для многих замков и селений — их разграбили и сожгли. Не просто понять, почему орденский капитул решил дать бой Витовту и Ягайле на своей территории. Удар Ордена по войскам Польши и Великого княжества во время их соединения под Червеньском на Висле мог бы скорее и с меньшими потерями решить исход летней кампании в пользу крестоносцев. Но не все, что стало известно исследователям этой битвы, было известно великому магистру, когда он принимал решения. В частности, он никак не мог знать, ударят ли на него Ягайла и Витовт объединенными силами или разрозненно, по двум направлениям. Когда ситуация прояснилась и стало известно, что польские и белорусско-литовско-украинские войска совместно движутся к бродам на Дрвенце, переход через которые открывал прямой путь в глубь орденских земель, Ульрик фон Юнгинген встретил их на этих бродах и здесь был готов дать решительное сражение.

Броды были укреплены частоколами и палисадами, за ними стояла наготове артиллерия и отряды арбалетчиков, а в глубине — тяжелая и легкая конница. Штурм бродов обернулся бы для союзников поражением, и потому Витовт и Ягайла решили обойти Дрвенцу у истоков. Этот маневр был неожиданным для крестоносцев, но они быстро сориентировались в стратегии противника и довольно точно определили маршрут его движения. Путь, которым продвигались войска Ягайлы и Витовта, неминуемо проходил через деревни Грюнвальд, Людвиково и Танненберг, и здесь великий магистр решил остановить врага и навязать ему бой. Немцы пришли сюда на день раньше. Обоз крестоносцев расположился возле Грюнвальда, а их хоругви заняли боевые позиции между деревнями Танненберг и Людвиково. Местность там холмистая, примерно как у нас под Новогрудком; крыльям войска и даже отдельным полкам следить за действиями друг друга практически невозможно. Именно здесь утром 15 июля и началась знаменитая битва. Проследим основные ее моменты в описании Длугоша.

«Лишь только зазвучали трубы, все королевское войско громким голосом запело

отчую песнь «Богородицу», а затем, потрясая копьями, ринулось в бой. Войско же литовское, по приказу князя Александра, не терпевшего никакого промедления, еще ранее начало сражение». Иначе говоря, белорусско-литовско-украинские полки вступили в бой с крестоносцами первыми, и это произошло на достаточное время прежде, чем начали биться поляки.

Затем следует главка под названием «Литовцы, показав тыл, бегут до самой Литвы».

«Сойдясь друг с другом, оба войска сражались почти в течение часа с неопределенным успехом; и так как ни то, ни другое войско не поддавалось назад, с сильнейшим упорством добиваясь победы, то нельзя было ясно распознать, на чью сторону клонится счастье или кто одержит верх в сражении. Крестоносцы, заметив, что на левом крыле против польского войска завязалась тяжелая и опасная схватка (так как их передние ряды уже были истреблены), обратили силы на правое крыло, где построилось литовское войско. Войско литовцев имело более редкие ряды, худших коней и вооружение; и его, как более слабое, казалось, легко было одолеть. Отбросив литовцев, крестоносцы могли бы сильнее ударить по польскому войску.

Однако их расчет не вполне оправдал надежды. Когда среди литовцев, русских и татар закипела битва, литовское войско, не имея сил выдержать вражеский натиск, оказалось в худшем положении и даже отошло на расстояние одного югера (около 60 метров.— К. Т.); когда же крестоносцы стали теснить сильнее, оно было вынуждено снова и снова отступать и, наконец, обратилось в бегство.

Великий князь литовский Александр тщетно старался остановить бегство побоями и громкими криками. В бегстве литовцы увлекли с собой даже большое число поляков, которые были приданы им в помощь. Враги рубили и забирали в плен бегущих, преследуя их на расстояние многих миль, и считали себя уже вполне победителями. Бегущих же охватил такой страх, что большинство их прекратило бегство только достигнув Литвы; там они сообщили, что король Владислав убит, убит также и Александр, великий князь литовский, и что, сверх того, их войска совершенно истреблены...

Александр же Витовт, великий князь литовский, весьма огорчаясь бегством своего войска и опасаясь, что из-за несчастной для них битвы будет сломлен и дух поляков, посылал одного за другим гонцов к королю, чтобы тот спешил без всякого промедления в бой; после напрасных просьб князь спешно прискакал сам, без всяких спутников, и всячески упрашивал короля выступить в бой, чтобы своим присутствием придать сражающимся больше одушевления и отваги».

Этот рассказ Длугоша создает впечатление, что бежало все войско Великого княжества Литовского, за исключением 3 смоленских полков, которые — 3 из 40 — проявили стойкость.

Версия Длугоша о разгроме и бегстве с поля боя войск Великого княжества Литовского была взята на веру многими историками и вошла в оборот; даже Генрик Сенкевич — автор знаменитых «Крестоносцев» — некритически последовал за рассказом Длугоша и сделал разгром белорусско-литовских хоругвей фактом художественной литературы, то есть фактом широкого читательского сознания.

Между тем эти и разгром и бегство весьма сложно вообразить, поскольку они находятся в противоречии с реальными условиями. Поле боя по фронту занимало два с половиной километра; учитывая примерное равенство сил союзников, можно принять, что войска Витовта противостояли немцам на 1 — 1,25 километра. На таком участке могли сражаться с крестоносцами не более 10—11 хоругвей — если положить 100 метров на хоругвь, то есть по 50 человек в ряд, и 8—10 рядов в глубину. Позади первого

ряда стояли, готовясь к бою, 11—22-я хоругви, а за ними — 23 — 34-я хоругви, еще оставался резерв. Естественно, что полки, первыми принявшие удар, потерпели больший урон, чем полки второй и третьей очереди; некоторые полки могли быть высечены наголову, остатки других могли быть принуждены к бегству. Даже при рассечении фронта, глубоком прорыве, окружении некоторых полков Витовт имел немалый запас сил, чтобы осуществить необходимые контрмеры. Для отступающих полков лучшим местом защиты был обоз — несколько тысяч телег, несколько тысяч крестьян, вооруженных в топоры, рогатины, цепи. Против 40 белорусско-литовско-украинских полков и татар немцы могли выставить максимум 17—22 хоругви; 17, если следовать за исчислением Длугошем прусского войска в 51 хоругвь; тогда, отняв от этого количества 16 хоругвей резерва, которые повел в бой великий магистр в критический момент битвы, получим 35 хоругвей, разделенных поровну на два крыла. На самом деле в орденском войске хоругвей было больше, не менее 60, поскольку какая-то часть рыцарских знамен была взята Витовтом и вывешена в Виленском кафедральном соборе св. Станислава, и еще четыре знамени разбитых под Грюнвальдом хоругвей вывесил в часовне под Танненбергом следующий магистр Ордена Генрих фон Плауэн. 22 хоругви составляли треть рыцарского войска — примерно 10—12 тысяч воинов; им противостояла половина союзных войск — не менее 20 тысяч.

Мнение о худшем перед поляками и крестоносцами вооружении войск Витовта не имеет веского обоснования; во всяком случае эта разница не была решающей. Подтверждением служит парад белорусско-литовских хоругвей, специально организованный Витовтом и королем для венгерских посредников, которые заодно с мирными инициативами выполняли и разведывательные функции в пользу Ордена.

Вряд ли бы Витовт и Ягайла стали демонстрировать орденским соглядатаям свои недостатки; значит, сами они полагали войско Витовта не худшим рыцарского.

Другим свидетельством равного противнику вооружения белорусско-литовских полков является ошибочное суждение польских рыцарей, не отличивших сразу немецкие хоругви от Витовтовых: «Большая часть королевских рыцарей, увидев войско под шестнадцатью знаменами, сочла его за вражеское (как это и было), прочие же, склонные по слабости человеческой надеяться на лучшее, приняли его за литовское войско из-за легких копий, иначе сулиц, которые в нем имелись в большом количестве...»

Так что ни одного реального условия, необходимого для разгрома войск Великого княжества, и тем более для преследования его на много миль (миля — 4 километра), не видно.

О том, что разгрома и бегства не было, свидетельствует и сам Длугош несколькими страницами далее, когда описывает осаду войсками союзников орденской столицы Мариенбурга: «Польское войско король разместил у верхней части замка к востоку и югу, литовское же поставил в нижней части; кроме того, в особом месте, к югу от замка, он расположил воинов земель своего королевства — Подолни и Руси... Поставлены были и другие бомбарды среди литовского войска: одни вдоль городских стен, другие у начала моста, сожженного с другой стороны

Вислы; из всех них весьма сильно били по замку с четырех сторон».

Но вернемся к тому описанию битвы Длугошем, которое касается боевых действий польского войска. «В это же время (то есть во время так называемого бегства войск Витовта.— К.Т.) обратилась в бегство и хоругвь св. Георгия на королевском крыле, в которой служили только чешские и моравские наемники, которую дали вести чеху Яну Сарновскому. Со всеми чешскими и моравскими воинами хоругвь ушла в рощу, где Владислав, король Польшу, жаловал верных воинов рыцарской перевязью, и стояла в

этой роще, не думая возвращаться в бой». (Под градом упреков подканцлера королевства она все-таки вернулась на поле битвы).

«После того, как литовское войско обратилось в бегство и страшная пыль, застилавшая поле сражения и бойцов, была прибита выпавшим приятным небольшим дождем, в разных местах снова начинается жестокий бой между польскими и прусскими войсками. Между тем, как крестоносцы стали напрягать все силы к победе, большое знамя польского короля Владислава с белым орлом... под вражеским натиском рушится на землю. Однако благодаря весьма опытным и заслуженным рыцарям, которые состояли при нем и тут же задержали его падение, знамя подняли и водрузили на место» ... «...польские ряды, отбросив одолевавшее их сомнение, под многими знаменами обрушиваются на стоявших под шестнадцатью знаменами врагов (к ним сбежались и другие уцелевшие из хоругвей, разбитых под другими знаменами) и сходятся с ними в смертельном бою. И хотя враги еще некоторое время оказывали сопротивление, однако, наконец, окруженные отовсюду, были повержены и раздавлены множеством королевских войск; почти все воины, сражавшиеся под шестнадцатью знаменами, были перебиты или взяты в плен».

Вот, пожалуй, и все, что приводит Длугош конкретного и существенного о действиях хоругвей польского войска. Обратимся теперь к другим источникам — белорусско-литовским; они представляют несколько иной взгляд на течение битвы. «Хроника Литовская и Жмойтская» сообщает о битве так:

«...Потым вдарено в котлы, в сурмы и зараз литва з татарами з великою прудкостю скочили на немци и сточили з ними битву, же конь об коня боком отирался. Витолт и сам бегаючи, своих напоминает и шики поправует, поляци тож з кролем своим, припавши, взяли немцев на палаши... а потым видят немцы, же юж их много трупов лежит по полю, почали утекати, а поляки и литва з татарами гонили их, биючи, стреляючи, рубаючи, колючи, на килка миль, а зацнейших офицеров имали и вязали, самого мистра пруского Улрика простой драб ощепом пробив. В той войне не все наши билися, другий и шабли не добывал, бо было поле тесное. А Витолт татар з литвою охочею пустил, бурячи Прусы огнем и мечем и незносный починили шкоды».

Запись эта неконкретна, единственно существенное сведение, которое она содержит, касается, без сомнения, большого, вошедшего в память, числа татар и начала битвы войсками Витовта. Более интересны данные, сохраненные «Хроникой Быховца»:

«Король Ягайла со всеми моцами коруны Польское, а князь велики Витолт со всеми силами литовскими и русскими, и с многими татары ордынскими; а мистр пруски также з моцами своими и со всею Режою Немецкою... И коли вжо вси войска з obu сторон были поготове, тогды король Ягайла и князь велики Витолт тягнули ку битве все лесными а злыми дорогами, а поля ровного а широкого не могли мети, где бы ся ку битве застановити, нижли только были поля ровный а великие под местом немецким Дубровным. И бачили то немцы, иж ляхове и литва з так великим войски не могли нигде инде вытягнути, только на тыя поля, и для того копали ямы и прикрывали землею, иж бы в них кони и люди падали; и коли вжо король Ягайла и князь велики Витолт з войски своими перетягнули оные леса и пришли на тые Дубровенские поля, тогды гетман был найвышшы во войску Ягайловым пан Сокол Чех, а дворцы гетман был пан Спыткок Спыткович, а в Витолтови войску старшы гетман был князь Иван Жедевид, брат Ягайлов и Витолтов, а дворны гетман пан Ян Гаштольд. И как почали оные вышнейписаные гетманове люды шикона ты, а о тых ямах ничего не ведали, што на них немцы покопали, а так, шикуючы войско найвышшы гетманове, князь Иван Жедевид а пан Сокол в ямы повпадали и ноги себе поломали, и вельми образилисе, с чого ж и померли; и не только

одни гетманове, але и многим людем от тых ям шкода великая ся стала... и почалася битва з поранья межы немцы и войски литовским, и многое множество з obu сторон войска литовского и немецкого пало. Потом, видячы князь велики Витолт, што войска его много сильно побито, а ляхове им жадное помочы вчинити не хотят, и князь велики Витолт прыбег до брата своего короля Ягайлы, а он мшу слухает. А он рек так: «Ты мшу слухаешь, а князи и панове, братья мои, мало не вен побиты лежат, а твои люди жадное помочы им вчинити не хотят». И он ему поведал: «Милы брате, жадным обычаем иначе вчинити не могу, только мушу дослухати мшу», и казал гуфу своему коморному на ратунок потягнути, которы же гуф войску литовскому помоч присягнувши, и пошел з войски литовскими и немец наголову поразил, и самого мистра и всех куиторов его до смерти побили, и безчисленное множество немцев поймали и побили, а иные войска лаяцкие ничего им не помогали, только на то смотрели».

Не прав автор «Хроники Быховца», ограничивая по чувству литовско-русского патриотизма участие польского войска в Грюнвальдском сражении; не прав и Длугош, отведя, из чувства польского патриотизма, роль беглецов войскам Витовта, наемным чехам и морavam. Как происходило на поле битвы в действительности, никто не знает, и едва ли обнаружится документ, проливающий яркий свет ясности на многие загадки этой ожесточенной сечи многих народов. Поэтому все выдвинутые историками версии течения битвы, ее развития носят гипотетический характер. Но совокупность работ многих исследователей и прошлого и нашего времени позволяет представить действия белорусско-литовско-украинских хоругвей и татар на Грюнвальдских холмах с некоторой определенностью. На рассвете 15 июля войска Ягайлы и Витовта двумя колоннами подошли к озеру Любень, и тут стало известно, что недалеко, за дорогой, соединяющей деревни Танненберг и Людвиково, стоят немецкие хоругви. Поляки пошли с левой стороны озера, войска Витовта — с правой и прямо с марша стали перестраиваться в боевые порядки. Выбрались на опушку и застыли: в полуверсте, на затуманенных холмах, далеко вправо и влево виднелись закованные в железо, отблескивающие доспехами широкие клинья немецких хоругвей.

Можно вообразить, как на опушке леса, у дороги, ведшей к деревне Танненберг, сыпал приказы князьям и панам Витовт; одни отъезжали, подлетали галопом другие; хоругви спешно двигались на указанные места. Направо от дороги ставились гуфы виленцев и трочан, Прошла лугами и примкнула к виленскому гуфу половина татарской конницы под началом хана Багардина. Заметные халаты татар привели в возбуждение крайний клан немцев, имевший на знамени красный крест на белом поле. Вышло из леса и зарысило встык с поляками крыло Семена Ольгердовича — смоленский, Мстиславский, полоцкий, витебский, слущкий, оршанский, лидский полки и полк великоновгородцев. Киевской хоругвью князя Гольшанского и новогрудской хоругвью Сигизмунда Кейстutowича Витовт замкнул дорогу. Рядом с новогрудцами стал волынский гуф, а между оршанцами и волынцами — сильнее всех рвавшаяся в бой хоругвь волковысцев. (Волковысцы стремились отомстить за нападение немцев на город в вербное воскресенье — 16 марта 1410 г. По обычаю средневековья, в дни праздников, связанных с Христом и Богородицей, военные действия не велись. Поэтому нападение крестоносцев на город в понимании людей того времени было святотатством, а гибель множества безоружных требовала сурового наказания виновных).

Выдвигались вперед подольские полки князя Ивана Жедевида. Летели гонцы к Ягайле узнать действия поляков. Позади первой выстраивалась вторая линия полков, и поодаль Петр Гаштольд порядковая хоругви запаса.

Немцы, к общему удивлению, в бой не трогались, упуская удобнейшую, как всем

казалось, возможность посечь выбиравшиеся из мелкоколосья в поле и в эти минуты разрозненные полки белорусов и литовцев. Великий князь поскакал вдоль первой линии войск — на полутора верстах стояли с небольшими разрывами четырнадцать хоругвей. Шла последняя суeta построения: выезжали вперед предхоругвенные; занимали первые ряды бояре с равным немецкому оружию, стоймя держали шестиметровые, толщиной в руку копья; хорунжие разворачивали и поднимали стяги. Князь скакал вдоль полков, поглядывая на клинья немцев, жалел, что так неожиданно завязывается сражение и кет времени пустить в дело остающиеся в обозе бомбарды. К великому князю съехались Иван Жедевид, Семен Ольгердович, Гаштольд, Монивид: «Готовы!» Вместе прошли на рысях по улице между первым и вторым гуфами хоругвей. Во втором ряду их было 12— Мстиславская, великоновгородцев, слуцкая, полоцкая, брестская, гродненская, киевская, минская, молдаван, медницкая, вторая трокская и третья виленская. Здесь ратники держались шумнее, чем в передних хоругвях, которым предстояло принять первый удар, сшибиться с лавиной крыжаков.

Ягайла никаких вестей не подавал, и великий князь помчал к шатру короля. С правой руки ему открывались боевые порядки крыжаков — клинья имели по 30—40 рыцарей в ряд и рядов 20 в глубину; виднелись в разрывах бомбарды, арбалетчики в широкополых шлемах, а за ними поодаль стояла вторая полоса немецких хоругвей — все под развернутыми ветром знаменами. Считал знамена, многие узнавал: черный крест на белом поле — хоругвь Валленрода; вон с широкой белой полосой на красном поле хоругвь великого комтура Лихтенштейна; та, с белым ключом, хоругвь орденского казначея; красный волк — это хоругвь комтурства Бальги; белый лев с желтой короной, а под ним черный крест — кенигсбергские рыцари, а под двумя красными рыбами, конечно, стоят шонзейцы; красный орел на черном поле — бранденбургская хоругвь.

Юнгинген, Валленрод, Куно фон Лихтенштейн, комтуры стояли толпой на вершине холма. Смотрели на торопливое, напряженное построение с правой руки польских, с левой — русских и литовских хоругвей. Тревожные опасения утра, что король и Витовт не пожелают принять бой на этих холмах, вновь оторвутся, как произошло на бродах, и опять двинутся вперед, сжигая на пути замки и города, развеялись. Клинья противника уже стояли напротив орденских, сражение было неминуемо; считанное время отделяло войска от столкновения, а от победы — те несколько часов, которые требуются, чтобы рассыпать и посечь зарвавшихся поляков, русь и литву. С приятным чувством превосходства магистр думал, что не они — он навязывает бой, что Ягайла и Витовт вынуждены подчиниться его замыслу битвы, что они не ожидали его здесь подготовленным к бою и если не подавлены, то, по меньшей мере, смятены этой искусно исполненной встречей в лоб.

Враги построились, ветер полощет их стяги, полоса непрямой зелени шириной с полет арбалетной стрелы отделяет их от лучших немецких мечей. Пусть рванутся, пусть, разгоняя коней, перейдут бурую ленту дороги из Людвикова в Танненберг, за которой их поджидают прикрытые дерном глубокие волчьи ямы, утыканые острыми кольями. Весь вчерашний вечер тысяча кнехтов готовила эти западни, вывозила за деревни желтый песок. Сделано добротнo; никто не различит, словно не люди, а бог в день сотворения мира нарочно создал здесь пустоты. Когда их предхоругвенные с криками ужаса посыплются на колья, а сверху на них повалится второй ряд, а третий перекатится по их головам и утопчет, и сломится удар, и четвертые, пятые ряды начнут осаживать лошадей, тогда на них ударят стальные колонны Валленрода и Лихтенштейна — 44 отборные, крупные хоругви, выставленные комтурствами, епископами и городами. А сотня бомбард усилит торжество минуты ядерным градом, заставив врага шараться, метаться,

сталкиваться и, обгоняя друг друга, бежать. А тогда к тем клещам, в которые возьмут литву и поляков Валленрод и Лихтенштейн, подключатся 16 хоругвей запаса.

Ягайла в это время заканчивал опоясывать рыцарской перевязью молодых воинов. Потом стал исповедоваться подканцлеру Миколаю Тромбе, который, как краковский каноник, имел право на отпущение грехов.

Витовт, находившийся в это время среди своих хоругвей, удивился неожиданному и непонятному поступку немцев — клинья их вдруг повернули и шагом удалились на холмы, обнажая бомбарды и прикрывающие их отряды лучников. Пушечная прислуга поднесла к запалам факелы — тишину разорвал грохот, над полем полетели ядра и редко упали в полки. «Жедевид! — крикнул Витовт. — В мечи их!» — и поскакал к татарам. — «Багардин! — крикнул хану. — Вперед! Секи пешек!» Вся легкая конница середины и тысяча татар сорвались в галоп и, подняв мечи, выпуская стрелы, свистя, крича, воя, помчали на крыжаков.

Князь следил, как разворачиваются в лаву легкие сотни. Видел вставшего на стременах, взметнувшего меч Ивана Жедевида. Внезапно он стигнул, и еще несколько десятков людей — там, там, там — вместе с лошадьми каким-то волшебством ушли в землю. «А-а, — догадался князь, — вырыли западни!» Глянул — сколько, как часто? Видя, что налет не сорвался, что нападавшие хоругви поредели едва и рвутся к пешим, повеселел. В воздухе столкнулись две тучи стрел, ударили в немцев, ударили по русинам и в татар. Повалились с коней первые жертвы битвы. Но уже началась рубка прислуги и лучников, донесся гулкий стук мечей о прусские шлемы.

Ягайла еще в бой не вступил. Было слышно, как за холмом польские хоругви начали петь «Богородицу».

Из ям карабкались уцелевшие бояре и татары, помогали выбираться товарищам. Принесли Ивана Жедевида с переломанной ногой. Князь навзрыд плакал о нелепом ранении. Его посадили на ремни меж спаренных коней и отправили в обоз.

Лучников и пушкарей татары, волынцы, подольцы поголовно высекли. В ответ тяжелая рыцарская конница наставила копья, тронулась и, набирая ход, грузно поскакала на хоругви Витовта. Великий князь взмахнул мечом, и тогда Семен Мстиславский, Монивид и заменивший Жедевида Петр Гаштольд повели гуфы в сражение. Пройдя меж ям, где кричали побитые кольями кони и стонали люди, хоругви стали разливаться вправо и влево, и точно так же раздавались вширь клинья крыжаков. Немецкие и Витовтовы гуфы сошлись, с обеих сторон вынеслись жикающие стаи стрел, повисли тяжелой тучей и осыпались жалить; трехсаженные копья ударили во враждебные ряды. Разлетались щиты, рвались доспехи и латы, раздирались жалами копий груди, прошитые древками рыцари обеих сторон выпадали из седел. Но кто выдержал этот страшный первый удар, поднимал молот, топор, меч и кидался плющить броню, рубить наплечники, сечь руки. Стрелы роились, гудели меж закрытых панцирями людей, долбили, стучали, клевали доспехи, нащупывали голое тело, вонзались в шеи и бока лошадей. Рыцари второго ряда становились на место убитых, а их заменяли рыцари третьего. Тяжелые молоты продавливали кованые шлемы; секиры, прорубая миланскую сталь, крушили кости; двуручные мечи, упав на плечо, добивались до сердца. Раненые падали с коней — русин на немца, немец на литовца, татарин на наемного швейцарца, и стоны, и предсмертные крики, и предсмертное ржание коней гасло в неистовом звоне железа, в адском грохоте рубки. Робкому некуда было бежать, храбрый не мог уйти вперед — рыцари и бояре стояли, как две стены, поднимаясь над землей на вал из павших своих товарищей. Задние напирали на передних, а передние ряды иступленно сокрушались одни о другой.

Иначе началась битва на крыле татар. Татарские панцири из каленой кожи буйволов и их обтянутые такой же каленой кожей щиты не могли бы выдержать удара копий, и татары хана Багардина, сшибаясь с хоругвями наемников, которых вели Кристоф фон Герсдорф, Фридрих фон Бланкенштейн, Ганс фон Вальдов, Отто фон Ноститц, пустили в ход неожиданное для немцев оружие. Когда 20—30 шагов отделяло ликующее рыцарство от татар, вдруг взвились в воздух арканы и почти весь первый ряд покрытых броней предхоругвенных был позорно свален, словно сдут ветром, под копыта своих же толстоногих, мощных коней. Пользуясь смятением крыжаков, татарские сотни рванулись вперед и ударили в мечи и сабли. Шедшие следом лучники выпустили навстречу рыцарям завесу стрел и, в мгновение ока скинувшись с седел, перерезали оглушенных падением наемников. Казавшееся забавой истребление татар обернулось с первой же минуты потерями и нелегким боем. Мощь мечей, разрубавших незатейливые доспехи, уравновешивалась змеиными объятиями арканов, метко падавших на голову и снимавших с коня десятки грозных немцев.

Рядом с татарами стояли против крыжаков виленские хоругви Войцеха Монивида и Минигала, а плечом к плечу с ними — трокская хоругвь Явниса, и кременецкая хоругвь, и хоругвь новгородцев Сигизмунда Кейстutowича, и ратненцы Сангушки Федоровича, и луцкая хоругвь Федора Острожского, и волковысцы, и витебляне, и оршанская хоругвь князей Друцких.

Время битвы текло; ни немцы русь и литву, ни литва и русины немцев не могли потеснить, стронуть с начальных мест. Бойцы гибли, их заменяли новые; хоругви таяли, Витовт подкреплял их хоругвями второго ряда — уже пошла на подмогу новгородцам киевская хоругвь князя Гольшанского, а кременецкую хоругвь усилили молдаване; к оршанцам прибавилась и вступила в бой слущкая хоругвь князя Александра Владимировича.

Великий князь носился вдоль тыла своих бьющихся полков, следил, где рдеют ряды, сам вел хоругви в бой, сам рубился с крыжаками, выходил из сечи, скакал на польскую половину сражения, скакал назад, окруженный только гонцами, которые с полуслова хватали приказ и мчались исполнять. Бой князю нравился; князь был в упоении, видел, что немцы теряют людей не меньше, чем он, а у него помимо хоругвей третьей линии еще три тысячи татар Джелаледдина, скрыто стоящих в лесу до того часа, как начнется окружение крыжаков, погоня, рубка в спину, поголовное иссечение. На глазах вершилась заветная мечта, исполнялись дедовские наказания.

Шла битва, какой не знала земля; Орден ставился на колени; острия копий и мечи отбивали охоту тиснуться на восток. Десятки тысяч людей пылали взаимной ненавистью, дырявили один другого, калечили, рубили, толкли, секли, губили чужие и клали свои жизни. Посылая в бой новые хоругви, Витовт призывал князей и бояр: «Бей! Руби!» и те подхватывали клич и мчали на немцев. «Бей! Руби!» — гремело над полем. Кричал: «Немир! Прикрой Острожского!» — и полоцкая хоругвь скакала укрепить луцкую, где немцы напряглись и прошли вперед на пятьдесят шагов; кричал: «Нос! Гольшанский! Подсобите Сигизмунду!» — и пинская с киевской хоругви присоединялись к новгородцам. Вступил в бой обок с витеблянами полк Великого Новгорода, гродненская хоругвь усилила ряды крепко потраченных владимирцев, Корейка привел свою медницкую хоругвь на подмогу Явнису. Уже рубились с крыжаками мстиславцы и вторая трокская хоругвь Гинвила. Шел второй час сражения. Густая горячая пыль поднималась к небу, солнце раскаляло доспехи, словно хотело заживо испечь забывших милосердие людей. Потом, будто утомившись зрелищем неутрахающей сечи, оно стало затягиваться пологом облаков, и пролился короткий дождь, прибил пыль, освежил воздух, охладил



шлемы, латы, мечи.

Валленрод, взбешенный непредвиденным отпором, приказал нажать на татар. И татары не выдержали. Да и как было выдержать, если за каждого рыцаря они платили несколькими жизнями. Сабли тупились о крыжачьи доспехи, выбивали искры, ломались, и пока шею рыцаря находил кривой нож или аркан стаскивал его наземь, он успевал обагрить меч татарской кровью три, пять раз. Багардин, слыша от сотников об огромных потерях, решил оторваться, покружить, перестроиться и ударить в тыл. Он дал знак: ударили бубны, взревели сурны, качнулись бунчуки, и в тот же миг все татарские ряды, подчиняясь приказу, повернули коней, уже на скаку закрылись от рыцарей пеленой стрел, и перед наемными хоругвями Ордена татар не стало — длинной змеей они быстро удалялись по лугам. За ними и гнаться было бесполезно: легкие татары имели двойной, тройной перевес в скорости хода.

Но отступление татарских полков оказалось роковым для крыла Монивида. Освободившиеся рыцарские отряды повернули на виленцев и трочан. Не готовые к боковому наскоку хоругви были вынуждены отходить. И тотчас мощный клин крыжаков навалился на новгородцев, киевлян, пинчан. Великий князь, заметив опасность прорыва, прибавил Монивиду лидскую, ковенскую, стародубскую и Новгород-северскую хоругви, но и крыжаки пополнились новыми клиньями. Первый успех, мелькнувшая тень победы окрылила тевтонцев. Они напозлази на ряды бояр, сминали отпор, а по дороге к Любенскому озеру, не щадя себя, двигались вперед. Около пятнадцати хоругвей — трокские, жмудские, виленские, подольские, ковенские, молдавская, пинская, киевская, стародубская, новгородская — обнимались немцами в «клещи», и тут шла отчаянная рубка. Стали пятиться срединные хоругви Петра Гаштольда. Вся линия боя напряглась, как натянутая тетива; казалось, еще одно усилие, еще один удар мечей — и напор немцев сломится, все их наступавшие клинья обессилят, отвалятся назад, но Валленрод слал новые хоругви, и они тяжело накаливались на полки Гаштольда, и ратненцы, Владимиры, гродненцы, полочане, луцкое боярство начали тесниться и шаг за шагом уступать поле немцам.

Крыло Монивида, которое немцы старательно окружали, окружить себя не давало. Лучшие рыцари из всех присланных Витовтом хоругвей спешили в передние ряды. Но когда они полегли, положив возле себя столько же крыжаков, и немцам остались противостоять бояре, одетые в нагрудные панцири, кольчуги и колонтари, ряды попятились скорее. Монивид, не желая сильной траты людей, решил отступать к обозу. Лавина, смешанная из полутора десятка хоругвей, повернула и помчала к таборам, лишь несколько полков, отсеченных немцами, пошли лугами по татарскому следу, и за ними устремился отряд крестоносцев, вырубая задних.

На дороге, прикрывая отступавшие полки от погони, остались полоцкая и первая виленская хоругви. Не по силам было долго сдерживать лаву крыжаков, но каждая минута отпора сберегала порядок отходивших войск, спасала все крыло от жестокого разгрома. Бой был смертельный; все понимали, какая судьба ждет прикрытие: остановить колонны немцев две хоругви не могли, дать им дорогу — не имели права. Жребий обрек каждого держаться против пяти, шести крыжаков.

Полки Семена Ольгердовича и Гаштольда, не втянутые в отступление, разворачивались дугой и бились с суровой решимостью удержаться. И тут крыжаки допустили ошибку: вместо того чтобы всеми освобожденными клиньями рубить дугу, ломать оставшиеся на поле боя полки Витовта, часть хоругвей Валленрода, смолочан и виленцев, пошла в погоню за полками, отходившими к обозу. Легкость рубки в спину захватила рыцарей, и они сминали отступавших, спешенных, задних, слабо

вооруженных. В пылу погони немцы вошли в лес и домчали до табора на берегу Любенского озера. Добыча, которую сулили тысячи подвод, заохотила их на приступ обоза.

Валленрод торжествовал: боевое счастье улыбнулось ему, язычники и схизматики рассеивались, убегали в лес; оставалось взять в клещи тех, кто сопротивлялся, в раздавить. Закрепляя успех, он вернул хоругви, высекавшие уходящую лугами литву, и направил их обжимать левое крыло Витовта. Семен Мстиславский, поняв угрозу окружения, бросил против крыжаков смоленскую, мстиславскую, витебскую хоругви и минскую Юрия Михайловича. На всем поле битвы от Танненберга до Людвикова не было более свирепой сечи, чем завязалась здесь; нигде не рубились с таким ожесточением, нигде не гибло столько бояр и прусских рыцарей. Немцы и русь сталкивались, как вихри, людей сплетало, закруживало и разметывало уже неживыми. Князь Семен смерчем ходил среди крыжаков, и как смерч в житном поле выдергивает из земли и кидает в воздух колосья, так и меч князя вырывал и выбрасывал к небу души. Вторая смоленская хоругвь и половина первой хоругви Василия Борейковича полегли в этой рубке. Но и немецкие клинья выдохлись, разбились на осколки, как разбивается о наковальню треснувший молот.

Самоотвержение полков на крыле Мстиславского спасло от бокового удара правое крыло поляков, которым в этот час тоже приходилось нелегко. Крыжаки крепко теснили краковскую хоругвь, обрушили наземь королевское знамя с белым орлом и, посчитав это знаком близкого крушения врага, запели победный гимн: «Христос воскрес! Возрадуемся, братья, о Боге, что сломал рог язычникам!» Эту песню подхватили все крестоносцы — и те, которые бились против поляков, и те, которые сражались с литвой и русью, и те, что рвались громить обоз. Победа казалась несомненной; казалось, начался разгром, добивание, истребление поляков и литвы, недоверков и язычников. И рыцари, приступавшие к обозу, ринулись за добычей. Но тут перед ними встали на подводах тысячи пеших ратников, с цепями, кистенями, рогатинами, звездышами, с тяжелыми оглоблями. Крестоносцев встретил удар, какого они не ожидали, и бой, какого они никогда не видели. Все это мозжащее оружие обвалилось на первый их ряд и прибило его к земле. Люди, которые встали против них, в плен не брали и не знали жалости. Кто из рыцарей врывался в табор, к тому бросались толпой и валили рогатинами коней, а упавшего рыцаря кололи длинными ножами, как колют свиней, или резали горло, как привыкли резать телят. Рыцарей били, как волков,— с ненавистью и без разбора, лишь бы убить. Шипы звездышей пробивали латы, железные шары кистеней с одного удара убивали лошадь, а со второго ложили возле нее крыжака. Прикрытые кожей, а то и вовсе в одних только колтришах, ратники гибли сотнями, но каждая отбитая подвода, каждый взятый боярский скарб оплачивался жизнями крестоносцев.

Великий князь весь бой находился среди полков. Уже за полдень давно перевалило, уже земля, напитанная кровью, зазыбилась, уже от неустанного труда секирами и мечами обсыхал на боярах десятый пот, уже многие, утомившись держать меч одной рукой, бросали щиты и рубились двуручно — князь не уставал. Только голос надорвался, но хриплые рыки князя действовали на хоругви подобно сигналу трубы, поднимали тотчас — и немедленно следовало дело. Вокруг князя гремела рубка — крики, стоны, хрипы, мольбы, визг, вой — и смерть, смерть металась, метила свои жертвы, направляла копья, стрелы, мечи, звездыши на тех, кого желала взять сегодня к себе.

Время шло, самое страшное было пережито, напор крыжаков слабел, сила их истощалась, хоть и стоило это больших жертв. Витовт направил на помощь потерпевшей хоругви краковской земли три хоругви — сандомирскую, велюньскую и русскую

хоругвь Галицкой земли. Выслал гонцов к Джелаледдину, чтобы вел своих татар; выслал гонцов к Багардину; слал гонцов в обоз к Чупурне и к Монивиду, чтобы вернули полки в битву; присоединил к споловиненным смоленцам три подольских и львовскую хоругви. Послал за Семеном Мстиславским и Гаштольд. Те прискакали, оба в помятых мечами доспехах. «Валленрода в котел! — сказал Витовт.— Кончайте! Скоро татары врежутся со спины!» Потом с десятком рассыльных дояр взлетел на высоту, залюбовался начавшимся окружением крыжаков. Видя спешное, уверенное движение хоругвией Семена Ольгердовича, радостно засмеялся: если Ульрик и пригонит свои припрятанные полки — не отворотит судьбу. Если ударит в бок полякам, то Гаштольд, Семен, Монивид порубят Валленрода и придут помогать; если ударит в тыл Мстиславскому, поляки высекут Лихтенштейна и подсобят. И татары уже несутся.

Ульрик фон Юнгинген, обозревая поле битвы, видел на Ягайловой и Витовтовой половинах приметный перевес поляков и литвы. Было ясно: король и великий князь ввели в бой все свои полки, всех людей. Вот этого момента он так долго и дожидался. Пусть радуются, наблюдая содрогание орденских рядов. Вот стоят не тронутые боем, не вынимавшие еще меч и жаждущие его обнажить шестнадцать лучших хоругвей. Через несколько минут они упадут на поляков и литву, сокрушат, раздавят, разгонят по лесам и болотам, под коряги, в камыш и топи. «Во славу божью! — крикнул магистр.— Вперед!» — и сам повел хоругви брать predetermined победу. Перестраиваясь в боевой строй, немцы тяжелой рысью припустили на польские ряды.

Но чутье изменило фон Юнгингену, притупилось, запаздывало; еще не вступив своими свежими хоругвями в бой, но уже развернув их, утратив над ними силу команды, он сообразил, что повел их неверно, что надо было зайти в тыл, а здесь его задержат, остановят, вынудят к рубке, и он потратит без большого успеха столь ценное сейчас время. И верно, навстречу его клиньям рванулась хоругвь дворцовых чинов, и лес, казавшийся пустым, вдруг выродил несколько польских хоругвей. И в довершение неприятности великий магистр заметил вдали серую, стремительно несущуюся вперед колонну и понял — татары, скоро прыгнут на спину. Подумалось с предательской слабостью в груди, что лучше не идти в битву, остаться на холмах, но усилием воли магистр смял, расплющил эту низкую мысль. Нет, вперед, в бой, к братьям, которые гибнут за великое дело Немецкого ордена. И вознеся меч, и крича «С нами бог!», магистр вместе с рыцарями врубился в ряды встретившей его польской преграды. А в тыл его шестнадцати хоругвям ударило полукольцо татар хана Багардина, и стали приходиться крупные и мелкие отряды руси и литовцев.

В то же самое время полки Семена Ольгердовича и Гаштольда и татары Джелаледдина обтекали поредевшее крыло Валленрода. Великий маршал срочно выслал гонцов за хоругвями, добывавшими обоз, и скоро заморенные боем с пехотой немцы, бросая богатую добычу, поспешили на выручку своим. Яростно вступали они в битву, но не было им суждено что-либо изменить. Из леса, преследуя их, пришли перестроенные Монивидом хоругви виленцев, трочан, жмуди, волынцев и плотно, как палисад, закрыли все выходы, все слабые места окружения. На Грюнвальдских холмах крыжаки загонялись в два огромных «котла», и стены этих котлов толстели, обрастали татарами, польской, русской и литовской пехотой, конными отрядами шляхты и бояр — и стали непробиваемы. Войско Ордена тонуло в этих котлах в собственной крови, и уже никакая сила не могла его спасти.

В какую сторону ни кидал Фридрих фон Валленрод свои хоругви прорубить круг, везде немцев отбивали мечи и сулицы русинов и литвы, арканы и сабли татар. Кольцо затягивалось, как петля удавки. Одна надежда успокаивала великого маршала: был

уверен, что брат Ульрик пришлет запасные хоругви и они с тыла проломают стену мерзких язычников, расшвыряют схизматиков и литву. В нетерпении ждал прихода хоругвей, поглядывал на косогор, где должны были возникнуть ведомые братьями стальные колонны, но ни один всадник не появился на холмах. Время убегало, и с каждым мгновением уменьшалось число немецких рыцарей. Кони поскальзывались в крови, спотыкались о павших; рыцари исходили кровью, один за другим ложились обок мертвецы. Немцев теснили, сжимали, сгоняли в гурт, сбивали в кучу и секли. От всех орденских земель, от всех земель, которыми они жаждали владеть, остался им в этот час пятачок напитанной кровью земли, и на нем всюду трудилась смерть.

Таяли орденские хоругви и во втором котле. Ульрик фон Юнгинген умом опытного воина понимал, что битва проиграна, но сердце отказывалось верить, принять, согласиться, подчинить себя ужасу очевидного крушения Ордена. Это было невозможно, такого избиения крестоносцев не было никогда, ни пятьдесят, ни сто лет назад. Никто не мог, не имел силы, не осмеливался. Всегда, всегда, веками побеждал Орден. Побеждать — было долгом, призванием, обязанностью, тевтонцев, так предначертал бог, но здесь, на холмах, творилось обратное... Вокруг него стояли отборные рыцари, они отчаянно рубились, может, никогда раньше они так не рубились, как в эти часы, но вот опадали, никли, гибли, бессильные разорвать удушающее кольцо. Мельтешили мечи, вились арканы, жикали стрелы; уничтожалось тевтонское рыцарство. И возле самого великого магистра оказывались ненавистные поляки или литовцы или русины и в придачу к ним татарва; и он старался крошить их, вкладывая в удар весь мучительный стыд за позор поражения, всю обиду на самого себя, так просто загнанного в западную, в кровавую топь. Неожиданно увидал перед собой смуглое лицо под позолоченным шлемом, раскосые глаза глядели на него с холодным интересом палача, решающего, куда лучше ударить. И этот приговорный взгляд ожег Ульрика фон Юнгингена. Он вскинул навстречу боевому топору хана Багардина свой меч, но дрогнуло сердце, ослушалась рука, и он запоздал — блестящая стальная пластина быстро приблизилась к глазам и оказалась адски холодной; он почувствовал это заледенившее кровь прикосновение; все, что держала память с детства, стало рушиться, рассыпаться, дробиться и исчезать.

Орденские рыцари и наемники, которым посчастливилось вырваться из адского варева котлов, мчались в свои таборы, стоявшие у деревни Грюнвальд. Тут, загородившись повозками, несколько тысяч кнехтов и крестоносцы пытались оборониться, но вал за валом, как потоп, обрушивались на них польская конница, крестьянское ополчение, татары, белорусы, литва и сокрушали, выламывали, топили в крови. Сила нападавших удваивалась желанием заполучить обоз, вознаградить себя; злое отчаяние немцев лишь усиливало напор, ускоряло удары мечей, кистеней, цепов. Сдержат этот натиск могло только чудо, только вмешательство небес, но небеса оставались глухими к молитвам рыцарей, и каток смерти катился по толпам крыжаков, подминал их, вдавливал в землю, не отличая храбрецов от трусов, знатного рыцаря от обычного кнехта. Крестоносцы и прусская пехота рассыпались и побежали. Напрасно рыцари сбрасывали латы, напрасно срывали с коней тяжелую броню, напрасно кнехты искали ямы и норы, лезли в топи, прятались под корчаги — погоня настигала их, стрелы гвоздили кнехтов в кустах, норах, топях, сбивали рыцарей на согретую солнцем землю; об одном просили бога немцы — чтобы быстрее садилось солнце и ночная мгла укрыла их от глаз и оружия врагов. Но долго длились сумерки, и пока угасал вечерний свет, на дорогах, полях, в лесах продолжалось истребление остатков рыцарского войска.

Утомившись пролитием крови, шляхта и бояре уже высекали тевтонцев не подряд: не рубили тех, кто сдавался, и тех, за кого надеялись получить выкуп. Пленных рыцарей

сотнями погнали к польской и белорусско-литовской стоянкам.

Боевая суeta утишилась, собирались хоругви, сходились вместе земляки считать, кто жив, кого нет, шли к местам боя искать родных, друзей, товарищей, надеясь увидеть их ранеными. Солнце быстро садилось, набежавшие тучи закрыли его прежде, чем оно опустилось за край земли. Глухой сумрак остановил поиски до утра. В придачу хлынул холодный сильный дождь, оmyвая поля и воздух, пропитавшийся за день запахом крови. Голодные, измотанные бояре и пешие ратники сошлись в таборы, валились на телеги, прямо на землю, засыпали мертвым сном, не чувствуя холода и дождя. Всю ночь возвращались ходившие в преследование полки. На рассвете хоругви построились, сосчитались и прониклись горем — каждого третьего, а то и второго не стало в рядах. Стало известно, что в битве погибли великий магистр, и великий маршал, и великий комтур, и великий одежничий граф Альбрехт Эбергардт, и казначей Томаш фон Мергейм, и десятки комтуров, войтов, почти все орденские братья, и тысячи прусских рыцарей, гостей, наемников.

Ягайла, Витовт и королевский совет решали, что делать дальше: или идти тотчас же брать Мальборк, или, исполняя древний рыцарский обычай, стоять у Грюнвальда три дня в знак того, что войско готово встретить здесь нового врага. Витовт настаивал немедля послать наименее уставшие хоругви к орденской столице и, пользуясь отсутствием в ней защитников, взять. Предлагал выправить татар Желаледдина, которые стoverстовый поход совершат скорее других. Но посылке татарской конницы Ягайла воспротивился: направлять на орденскую столицу язычников не подобало. И стоять здесь три дня было лишним. Поэтому захоронили убитых, отправили на родину раненых, передохнули и тронулись к Мальборку. Двигались крайне медленно — сто километров шли больше недели, и эта неспешность подкосила необыкновенную удачу сражения. После такой победы, после гибели почти всего орденского войска, гибели капитула Ордена союзники могли легко подчинить себе всю Пруссию, надо было лишь захватить столицу, но промедление Ягайлы позволило крестоносцам наладить защиту Мариенбурга, втянуть войска Ягайлы и Витовта в длительную и бесплодную осаду, и таким образом Орден выиграл время, собрал некоторые силы, организовал против Польши и Великого княжества коалицию имперских немцев, венгерского и чешского королей. Полтора месяца осады ни к чему не привели, и 8 сентября войска Витовта первыми снялись и пошли на родину. Вскоре сняли осаду и поляки, а в октябре война разгорелась вновь.

Однако Орден хоть и сохранился, но крепко ослаб, и уже не был в состоянии вести агрессивную политику против соседей с прежней настойчивостью и силой. Могущество его подорвалось на Грюнвальдских холмах в битве с объединенными силами поляков, белорусов, литовцев, татар, русских, молдаван, чехов.

Именно веский вклад белорусов и литовцев в победу над крестоносцами вернул Великому княжеству Жмудь, Судава; поляки были вынуждены вернуть ему Подолье, что едва бы случилось, будь полки Витовта опозорены полным разгромом и бегством, как о том записал Длугош.

Именно всеми признанное успешное участие Великого княжества в разгроме Ордена дало Витовту возможность в 1413 году записать в Городло новые условия унии (между Польшей и Великим княжеством), которые обеспечивали полную самостоятельность княжества как державы и самостоятельность его политики.

Грюнвальдская победа позволила разорвать позорную унию 1401 года, так называемую Виленскую, которую Польша навязала Витовту после разгрома войск Великого княжества татарами на реке Ворскле. (По Виленской унии великокняжеская власть отдавалась Витовту пожизненно, а после смерти его все Великое княжество

Литовское отходило к Польше и переставало существовать как государство; относительная независимость обещалась лишь землям, выделенным в личное владение жене Витовта Анне и брату Сигизмунду Кейстутовичу.)

Независимость Витовта от Польши, вновь обретенная им после Грюнвальда, позволила предпринять попытки полного обособления Великого княжества. Это выразилось в действиях по осуществлению унии церквей: Витовту было очень невыгодно иметь в государстве две противостоящие веры — православную и католическую, поскольку последняя была проводником польского влияния, а первая позволяла недовольному боярству оглядываться на русские княжества. В ноябре 1415 года Витовт собрал в Новогрудке Синод православных священников, который отстранил от митрополитства противника унии церквей Фотия и поставил митрополитом на землях Великого княжества Григория Цамблака. Цамблак вместе с группой священников отправился для оформления унии на Констанцкий собор 1418 года.

Значение Великого княжества Литовского, возросшее после Грюнвальдской победы, выразилось и в том, что во время гуситских войн чехи предлагали Витовту чешскую корону, наместником же Витовта в Чехии выступал Сигизмунд-Корибут, возглавлявший в Грюнвальдской битве одну из хоругвей белорусско-литовского войска.

Грюнвальдская победа катализиовала рост самосознания в широких слоях бояр и шляхты Великого княжества; привилегии для католиков, записанные в Городельской унии, подняли к активной борьбе за свои права и белорусское боярство (шляхта), положившее немало жизней для укрощения Ордена. Под конец жизни Витовта, когда он принял решение венчаться королевской короной, начался явный разрыв унии Великого княжества с Польшей. Коронация Витовта поставила бы Великое королевство Литовское в ряд европейских стран. Ягайла был вынужден уступить настояниям императора Сигизмунда и дал согласие на коронацию, но вскоре под давлением коронных панов взял свое согласие обратно, объяснив это опасениями, что по смерти Витовта литовцы и белорусы могут избрать себе государя, не считаясь с интересами Польши, что может стать причиной государственных раздоров. Витовт решил короноваться против желания Ягайлы и коронных панов. К назначенному дню коронации в Троки съехалось множество литовских, белорусских и украинских князей и бояр. Но поляки закрыли границы с Великим княжеством и не пропустили послов, которые везли Витовту освященную в Риме корону и грамоту с правами на королевский титул. Белорусская летопись «Хроника Быховца» так сообщает об этом: «И ляхове, не жичечы (не желая) короны Литве, и корону в них (у послов) эту отняли и рассекли ее на половины и приложили ко короне бискупа королевского, которая и теперь при замку Краковском у костеле святого Станислава есть». Престарелый Витовт — ему было восемьдесят лет — этой неудачей огорчился и не перенес ее.

По смерти Витовта взять великокняжеский престол на Литве хотел Ягайла, но боярство и князья избрали великим князем его брата — Свидригайлу, который, хоть и был католиком, пользовался популярностью у православного населения Великого княжества. Вокняжившись, Свидригайла немедленно стал разрушать Городельскую унию, особенно те ее положения, которые препятствовали православным занимать государственные должности, входить в раду и пользоваться теми привилегиями, которые даны были католикам. Кроме того, Свидригайла отказался отдать полякам западнорусские земли, отошедшие после Грюнвальдской битвы в пожизненное владение Витовту. После смерти последнего поляки изгнали наместников из подольских замков и заняли их. Свидригайла, будучи человеком крутого нрава, задержал своего брата, короля Владислава-Ягайлу, в Виленском замке, объявив ему, что выпустит на

волю лишь после того, как польские гарнизоны покинут Подолье. Ягайла был вынужден послать на Подолье такой приказ.

Самостоятельная политика Свидригайлы привела к тому, что Польша организовала недовольных им литовских бояр и князей и те предложили поставить великим князем брата Витовта Сигизмунда Кейстутовича. В конце августа 1432 года Сигизмунд напал на Свидригайлу в Ошмянах и едва не пленил; Свидригайла бежал в Полоцк, а победитель сразу же был коронован. Так в Великом княжестве стало два великих князя; у католиков — Сигизмунд Кейстутович, у православных — Свидригайла. Стремясь добыть себе побольше сторонников, Сигизмунд Кейстутович издал привилеи, уравнивающие в правах православное боярство Черной Руси с католическим. Но Белую Русь — витебскую, полоцкую, смоленскую, могилевскую земли — и Киевскую Русь, стоявших за Свидригайлу, привилеи не касались.

Началась гражданская война — запылали Крево, Троки, Лида, Заславль, Минск, Борисов, Молодечно. Ни один из соперников не желал уступить власть; спор их могла решить только смертельная битва, к ней все и вело.

По смерти Ягайлы в 1434 году, когда в Польше было бескорольевье, Свидригайла задумал довольно реальный ход для возвращения себе короны великого князя. Замысел состоял в том, чтобы осуществить намеченную Витовтом унию церквей. Как исполнитель этого дела он мог рассчитывать на поддержку римского папы, а как противник Городельской унии — на помощь со стороны императора Сигизмунда и Тевтонского ордена. Но для возведения церковной унии необходимо было согласие митрополита Литовской Руси Герасима, бывшего смоленского владыки. Свидригайла начал договариваться с ним и одновременно разослал на западные дворы письма о готовящемся объединении церквей. Сигизмунд Люксембургский сразу же пообещал короновать его королевской короной. Орден направил заступническое письмо в Рим. Из Рима незамедлительно пришли письма Сигизмунду Кейстутовичу, чтобы выпустил из темницы жену Свидригайлы — тверскую княжну Софью, и Каменецкому епископу, чтобы помирил противоборствующих великих князей. Но польские ратные паны, разумеется, не могли согласиться на коронацию Свидригайлы, ибо это означало отделение Великого княжества Литовского от Польши, а Сигизмунд Кейстутович не желал впускать соперника в Вильно. В белорусских городах, где Свидригайла считался защитником православия, принять корону из рук императора-католика, да к тому же немца, и возвестить унию никак было нельзя. Чувствуя, что старания о союзе с католической церковью лишат его доверия среди православного духовенства, Герасим, верно, отказался помогать Свидригайле. Замысел князя разрушился, и он в мстительном гневе отправил непослушного митрополита на костер.

Эта варварская акция оказалась для Свидригайлы роковой. Сожжение Герасима случилось накануне решительной битвы, которая произошла первого сентября 1435 года на реке Святой (приток Вилии). Сигизмунду Кейстутовичу поляки прислали в помощь восемь тысяч воинов. Войско Свидригайлы состояло из пяти православных хоругвей — полоцкой, витебской, смоленской, Мстиславской, киевской, чешских отрядов князя Сигизмунда-Корибута, нескольких ливонских хоругвей и хоругви шведов. Мученическая смерть Герасима породила в православных полках недоверие к Свидригайле, и это сказалось на их боевом настроении. Битву выиграл Сигизмунд Кейстутович и стал полновластным великим князем. Свидригайла бежал на Волынь, где и прожил до глубокой старости.

Сигизмунд Кейстутович в своей внешней и внутренней политике подчинялся польскому влиянию, а против недовольных этим феодалов развязал жестокий террор.

Мнение последних о Сигизмунде в «Хронике Быховца» записано так: «...он же окаянник князь великий Жигимонт не насытился злости своей и мыслил в серцу своем по дьявола научению, кабо бы весь род шляхетский погубити и кровь их розлити, а поднести род хлопский, псю кровь». Не стоит заблуждаться, думая, что Сигизмунд Кейстутович и впрямь выражал интересы «хлопского» рода.

Князья и паны решили свергнуть своего притеснителя с престола. Единственным способом для этого было убийство. Исполнить заговор взялся князь Александр Чарторыйский. В Троки, где замкнуто, в предельной осторожности жил Сигизмунд, был направлен санный обоз в триста подвод; на каждой было спрятано пять воинов. Князь Александр и помогавший ему киевский шляхтич Скобейка нашли Сигизмунда в замковой часовне. Князь слушал мшу (обедню), дверь была закрыта. На стук Сигизмунд мог не отворить. В этот миг Чарторыйский увидел, что по двору бродит любимый Сигизмундов медведь, и зацарапал о дверь ногтями. Сигизмунд обманулся и приказал открыть дверь. Чарторыйский и Скобейка вошли в молельню, и Скобейка, схватив стоявшую у камина кочергу, нанес Сигизмунду смертельный удар. По другой версии, Чарторыйский пришел к часовне один. Сигизмунду поверилось, что скребется любимец, он пошел открывать, и, когда двери отворились, князь Александр вонзил ему в грудь нож.

Это случилось в 1440 году и создало очень сложную ситуацию: желания литовского, белорусского и украинского боярства весьма различались — одна часть желала брать великим князем племянника Витовта Михаила Сигизмундовича, другая стояла за приглашение в великие князья сына Ягайлы Владислава, третья желала, чтобы на великокняжеский престол вновь сел Свидригайла. Кончилось это тем, что великим князем был выбран тринадцатилетний младший сын Ягайлы от брака с белорусской княжной Софьей Гольшанской — Казимир.

Трудно гадать, как сложились бы в дальнейшем судьбы Великого княжества и Польши, руководимых братьями, но в 1444 году польский король Владислав — старший брат Казимира — погиб под Варной в бою с турками, и Казимир занял польский престол. Так Великое княжество и Польша вновь соединились под властью одного монарха. Казимиру выпало довершить окончательное разрушение Ордена, так удачно начатое 15 июля 1410 года. В 1454 году началась новая война с Орденом, которую крестоносцы окончательно проиграли и по Торуньскому миру признали себя вассалами польского короля и великого князя Литовского; их натиск на славян застопорился на века.

Пятьсот лет не переступали тевтонцы наши западные границы. А войны, начатые в 1914 и 1941 годах, всем известны своим финалом, который оказался в одном ряду с Грюнвальдом. Много своих жизней положили ради этого белорусские люди из всех наших городов, местечек и деревень, чем и заслужили себе вечную память.

## Герои сказок и мифов

Духовную жизнь наших предков из IX или XII столетий вообразить несравнимо сложнее, чем их жизнь событийную. При всей неполноте сведений о смешении и связях племен, образовавших белорусский народ, об «административном» делении древней Белоруссии, о внешних и внутренних войнах, которые она вела, о ремеслах, отношениях князя с дружиной и с горожанами, о строительстве городов, о торговых путях, о денежной системе и тому подобное — возможно все-таки составить если не во всем



ясную, то достаточно понятную картину прошлой жизни. О духовной же стороне бытия наших пращуров, о их мировосприятии и мирознании известно урывками, так что воссоздать это удастся в весьма неблизком приближении. Система мышления наших предков остается для нас за семью печатями не столько в силу малости сведений, сколько в силу исторической недоступности проникнуться той давней системой ценностей, зажить тем сломанным, канувшим в лету ощущением мира и бытия в нем.

Для далекого нашего предка молния достоверно означала, что гневается Перун; набухли сережки на вербе — богиня весны и плодородия взялась за дело; человек потерялся в лесу — леший его заблудил и т. д. Вообще, чего ни касались взгляд, чувство, мысль, все каким-то образом объяснялось, символы имели реальное содержание. Камни под сохой посеял черт, в доме хозяйничал домовый, звезды означали души людские. Вокруг человека действовали силы, с которыми можно было жить в согласии, но которым следовало внимать, ради их милости соблюдать множество табу, с обязательностью производить обрядовые действия, чтобы драгоценное согласие с внешним миром не разрушалось.

Наш разговор пойдет о мировосприятии дохристианской поры, так называемого язычества на белорусских землях. Языческие представления нашего региона некоторыми частностями отличались от общеславянских. Язычество восточных славян отражало все то общее, что было присуще многочисленным племенам, составившим впоследствии Древнюю Русь,— полянам, древлянам, дреговичам, кривичам, полочанам, словенам, радимичам, вятичам, северянам, дулебам и т. д. Но одновременно в восточнославянском язычестве отразились и закрепились различия племенных воззрений. Разные этнические контакты, в которых участвовали названные племена, невольно приводили и к разнице в почитании божеств, в обрядности, в белой и черной магии. Поэтому возможно говорить отдельно о язычестве на белорусских землях, язычестве древних белорусов.

С утверждением христианства умственное, духовное, религиозное состояние общества претерпело существенные перемены. Их нельзя назвать коренными, кардинальными, но исторической вехой в развитии нашей культуры они все же стали. Христианство было враждебно язычеству (равно как и язычество христианству), как вообще враждебны религиозные системы, когда одни боги и мифы должны уступить место другим. Что-то при этом общество обретает, кое-какие ценности утрачивает.

В отличие от Римской империи, где христианство развивалось и побеждало изнутри, на Древнюю Русь оно пришло в готовом виде, с отточенными за девять столетий своего существования формулами, со Старым и Новым Заветом, с литературой отцов церкви, с культами Христа, Богородицы, святых, наконец, с чужим языком, с чужим, хоть и не в той мере, как был чужд, например, латинский язык католической церкви чехам или полякам, однако и не близким, поскольку старославянский язык православной церкви, принесенный ее первыми миссионерами на Русь, для народа уже был языком забытым. При всей сложности становления раннего христианства в Римской империи оно все-таки развивалось в направлении от масс к верхам, правительству, элите; в славянском обществе христианство насаждалось сверху — от элиты к народу, и эта противоположность религиозных чаяний оказалась существенной.

Христианство Восточной Римской империи (равно и Западной) до своего утверждения в роли государственной религии вело долгую борьбу с язычеством, победило его и закрепило свою нелегкую победу среди прочего в том, что занесло всех языческих богов в бесовские списки. Языческое для христианства было синонимом варварского, невежественного, милого бесам, поощряемого Сатаной. По этой причине, как только в 988 году киевский князь Владимир принял от Византии «греческую веру»,

немедленно православные миссионеры, соединенные с воинскими отрядами, повели крестовое наступление на язычество во всех древнерусских землях. Вослед Киеву насильственно было подвергнуто крещению население двух других важных центров — Полоцка и Новгорода. А через какой-то срок — вовсе немалый — «вера греческая» стала «верой русской», своей, как бы прирожденной, извечной. Но что значит — стала? Ведь не сама собой, не волшебством, не чудом, а при помощи кнута и пряника. Такая ломка сознания, которая требует отказа от верований отцов и дедов, то есть от их духовных ценностей, и не просто отказа, а сокрушения их, сама по себе происходить не может. Замена прежних мифов новыми сопровождалась уничтожением думающих носителей старого знания и традиций, уничтожением рядовых защитников прежних верований, готовых отстаивать свои убеждения оружием. Это уничтожение приняло форму государственной политики, было одной из полицейских функций великокняжеской власти. Запрещалась старая и вводилась новая обрядность; подлежали забвению имена старых божеств; места языческих молений разрушались и т. д. И это делалось не однажды, а на протяжении столетий. Столь долго — потому что быстро «обработать умы» не могли. Но все же обработали.

Здесь и кроется основная причина того, что белорусское язычество трудно поддается реконструкции, а языческие представления русских, украинцев, поляков, чехов сохранились в еще меньшей мере. К тому времени, когда составилась научный интерес к пантеону языческих богов, из их множества наиболее, ярко остался в народной памяти, пожалуй, один Перун. Имена и функции прочих были почти забыты, и главными источниками знания о них явились летописные сообщения, обрядовая поэзия, сказки и некоторые легенды. Наиболее полно языческие предания, обрядность, суеверия сохранились в той среде и сфере, контролировать которую христианству было сложно: такой средой была крестьянская семья, а сферой — крестьянский образ жизни. Крестьянство, как наиболее удаленная от церкви, замкнутая в цикле сельскохозяйственных работ часть населения, сохранило многое из системы языческого мировоззрения.

И в язычестве и в христианстве миром управляет высшая сила, она находится где-то на небе. Помимо нее существует множество сил меньшего ранга, ведающих огнем, молнией, дождем, урожаем и т. д.

И в язычестве и в христианстве есть духи добра и духи зла. Помимо реального мира есть мир потусторонний, где живут души. Силы добра и зла можно расположить к себе путем просьб, заклинаний, молитв, особенно же путем жертв, приглашения на трапезу. Считалось, что и в язычестве и в христианстве божество умирает и возрождается.

Так угодно было судьбе, чтобы принятие христианства в 988 году осуществил князь, который немногим прежде прославил себя попыткой возродить мощь язычества, сделать его государственной религией, иерархически обновить, поставив верховным божеством Перуна. Князь этот был Владимир Святославович, названный церковью в следующих поколениях Святым. В 980 или 983 году по приказу Владимира неподалеку от княжеского двора в Киеве поставили на капище идолов общеславянских языческих богов. Лаврентьевская летопись перечисляет их в таком порядке: Перун, Хоре, Дажьбог, Стрибог, Симарьгл, Мокошь. В Густинской летописи список древних кумиров шире, к названным причисляются еще Лада, Купала, Коляда, Переплут.

Исследование других документов старины, различных поучений церкви против языческих пережитков, поверий и обрядов позволило выявить и другие божества.

В целом языческая система богов выглядит так. Высшее божество: Див (Дий), Род, Сварог, Стрибог, Святovit. Этот ряд имен означает развитие образа бога от общего всем

индоевропейским народам истока к разнице славянских племенных представлений о нем. Затем следуют божества, порожденные старшим божеством: Дажьбог, Коляда, Ярила, Сура, Белес — это все Солнце, под разными названиями; Перун — бог грома и молнии; Купала — бог изобилия и урожая; Верба — богиня весны, пробуждения природы; Тур — божество диких зверей (по имени самого сильного из них); Лада — богиня любви; Тетя (у белорусов) — богиня осеннего урожая; Рожаницы — женское начало жизни; Жыжель — бог огня; Переплут — бог веселья. Возможно, что был бог войны Кава (от глагола «бить» — по-белорусски каваць, отсюда: каваль — кузнец).

В приближении к реальной жизни человека действовали еще духи добра и зла: Жыцень — житный дух; Овсень — дух овец (но считают также, что так назывался колядный козел), а еще домовые, лешие, водяные, русалки, упыри и прочие, о которых будет сказано ниже. Затем шли божества смерти и загробного существования: Баба-Яга — богиня смерти; Знич — у белорусов бог погребального огня; Велемос (Белес), — возможно, выполнял функцию бога загробного мира. Вероятно, что загробное божество называлось прежде Пекло; слово затем обрело многозначность; трактовка пекла как места для грешников, как ада — явно христианская накладка на языческую основу. Души представлялись маленькими копиями людей и назывались дзядами или людками.

Главным божеством восточных славян во времена крещения считался Перун — бог грома и молнии, бог войны. По белорусским представлениям он выглядел седовласым богатырем, у которого в одной руке лук (радуга), в другой стрелы (молнии). Перун властвует над землей, здесь все подвластно его неограниченной силе; тот, кого он намечает карать, не может укрыться от него, поражает же он мгновенно и страшно. Да и как было не бояться той мощи, которая раскалывала чрево грозового неба, раздирала его плоть огненным разрывом, а грохот разрушения разносился над землей на много верст. Перуна страшились и старались его ублажить, подольститься к нему, оградиться от его смертоносного действия. Для этого был выработан специальный символ — громовой знак — круг с обозначением шести радиусов. В Белоруссии его ставили на дверных причелинах для предохранения хаты от удара молнии. Перуну посвящались кровавые жертвоприношения. Жертвенным животным служил бык, который символизировал материальную мощь.

В основе такого отношения к быку лежало халдейское сказание о сотворении жира из крови быка. Кровь сопричастного небесным божествам быка обладала, по древним поверьям, очистительной силой, ею обмывались (крестились). В Риме существовал обряд, называвшийся тавроболии — кровавая баня, когда человек становился под помост, на котором совершалось заклание быка, и орошался с головы до пят жертвенной кровью. Именно на этом месте была возведена впоследствии Ватиканская базилика.

Владея убийственными стрелами, Перун воевал с другими богами; в частности, по белорусскому поверью, он стремился уничтожить Жижеля — подземного бога огня, который высушивает землю, поджигает леса и болота. Перун был страшным богом огромной власти. Но время его действия было ограничено — с первых до последних гроз (с мая до середины августа), а затем он засыпал до следующей весны. Перун имел свой праздник, который отмечался 20 июля. (Позже на этот языческий праздник христианство наложило свое празднество — Ильи-пророка, на которого и перешли многие черты языческого предшественника). Обращение к Перуну связано было с тем, что в конце июля начиналась жатва — нужны были погожие дни; грозы, ливни губили урожай, и зависевшим от погоды крестьянам хотелось умиловить властелина, отчего возникла и соответствующая обрядность с жертвоприношением.

Перун — не хлебный бог; хлеб, стада — не его забота; он грозный, карающий бог

огня и меча. В языческом Олимпе, возведенном Владимиром, Перун, безусловно, главенствовал, поскольку он единственный был украшен золотом и серебром (серебряная голова, золотые усы). Владимир выделил Перуна, так как Перун был княжеским богом — покровителем княжеской дружины, военных успехов. До Владимира Перун значением главного божества не обладал, он был богом второй степени. Ему даже не ставили идолов; изваяния Перуна, его культ — дело князя Владимира и его дяди Добрыни, который привел к поклонению Перуну города Новгород и Владимир. Все известные идолы, и в том числе знаменитый Збручский идол, — посвящены богу Роду. Выдвижение Перуна на вершину Олимпа было вызвано политикой Киева, направленной на территориальное расширение Киевской Руси, на подчинение соседних племен. В кровавой борьбе были присоединены дреговичи и полочане; о том же говорят войны между Новгородом и Киевом, походы киевских князей на ятвягов и литву.

Но Перун и иже с ним «идолы окаянные», как называли их христианские писатели, покрасовались на новом капище недолго.

За десять лет до крещения князь Владимир воевал с Новгородом и победил его, а затем разгромил Полоцк. С этим разгромом связано предание о Рогнеде и отце ее — полоцком князе Рогволоде. В 980 году Владимир посватался к Рогнеде, чтобы через брак закрепить отношения Киева с Полоцком, но Рогнеда отказала ему. Тогда Владимир, собрав большое войско, напал на Полоцк, убил Рогволода и его сыновей, а Рогнеду взял в жены силой. Помимо Рогнеды у него, по существовавшему тогда обычаю многоженства, были еще жены — вдова его брата Ярополка, некая скандинавка, и царица Анна — двоюродная сестра византийских императоров Василия и Константина. Кроме жен князь держал наложниц, число которых летописец определяет в восемь сотен. И вот человек с такою силой плотского начала принимает крещение, христианскую мораль и отказывается от своей языческой реформы, от богов, которых хотел утвердить повсеместно, начинает, говоря современным языком, новую жизнь. Дело удивительное.

Чем так сильно пленило христианстве пылкую языческую душу князя Владимира, понять непросто, но для нас любопытно то, что между реформой и крещением прошло не более пяти-восьми лет. Приняв крещение, Владимир стал крестить киевский народ и первым делом уничтожил самим же недавно установленных кумиров. Дажьбога, Стрибога, Симарьгла, Мокошу повергли, посекали топорами и сожгли, а Перуна привязали к лошади и волоком потянули к Днепру. Для полноты унижения богов обок шли двенадцать человек (по числу апостолов) и колотили вчерашних идолов дубинами. И ничего не случилось. Гром не грянул, молнии « Киев не ударили, князь Владимир вопреки ожиданиям волхвов остался жив и здравствовал многие лета. Однако чтобы народ безмолвствовал, князь перед крещением города объявил: кто не придет к Днепру — враг ему, Владимиру. Враждовать с князем посмели немногие, а непосмевшие пришли утром на днепровский берег и по знаку прибывшего с Владимиром митрополита Михаила и под угрозой плетей княжеской дружины вошли в воду по шею. Вышли из воды, получили крестик — и стали христианами.

В Киеве крестить народ было не очень сложно. Киев давно находился в тесных связях с Константинополем, и христианство с его храмами и церемониями для многих киевлян диковинкой не представлялось. Тут уже был опыт христианства: крещение от греков принимала бабка Владимира — легендарная Ольга; при ней же появилась в Киеве первая церковь.

После свержения Перуна с киевского капища предстояло победить язычество в других землях. И по водному пути отправились из Киева с миссией христианизации греческие и болгарские священники, а при них дядя князя Владимира — Добрыня с

войском. Маршрут их лежал через Полоцкое княжество к Новгороду, в первом на их пути был город Туров, где миссионерам оказали отчаянное сопротивление. О кровавом крещении туровлян свидетельствует легенда о красных камнях, которые приплыли якобы по реке в город, в чем несомненно слышится память о резне, обрушенной на местных язычников Добрыней.

К северу от Киева, на белорусских и новгородских землях, язычество держалось тверже, и потребовались столетия, чтобы новая вера укрепилась здесь хотя бы внешне. Военная победа христианства создала прецедент физического уничтожения носителей предыдущей, нежелательной уже культуры, повторение которого постепенно стало восприниматься как единственно верное дело для духовных перемен, как дело необходимое, мудрое и самое надежное по своим результатам. К сожалению, утрата Полоцкой и других белорусских летописей лишила нас сведений о конкретных проявлениях языческого отпора наступавшему христианству, но есть косвенные свидетельства, есть аналогии с соседними землями. Ростовские епископы Федор и Илларион под угрозой язычников были вынуждены бежать, епископ Леонтий был убит ими. Волхвы ходили смело, как в старину, и будоражили народ к сопротивлению. Методы борьбы христианства с язычеством наглядно предстают в столкновении новгородского князя Глеба Святославовича с волхвом, который пришел в город и стал ругать новую веру. Народ, охотно веривший волхву, побуди лея убить епископа и священников. Глеб и его дружина стали на защиту пастырей, новгородцы примкнули к волхву — вызревал бой. Тогда Глеб спрятал под ферязь топор, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли, что будет завтра утром или вечером?» «Все знаю!» — был гордый ответ. «А знаешь ли, — спросил князь, — что будет нынче?» «Нынче, — простодушно ответил волхв, — я сделаю большие чудеса». Однако он ошибся, ибо князь Глеб достал топор и зарубил волхва.

Волхвов не только рубили, но и драли медведями, жгли на кострах. Так, в Новгороде в 1227 году, то есть почти через двести пятьдесят лет по крещении Руси, сожгли за раз четырех волхвов. Можно полагать, что не лучше обстояли дела в Полоцке и в других белорусских городах. Отвергнутое старое подлежало полному разрушению; следы его пытались затереть, замести, память о нем выветрить и развеять. Идолов свергали, рубили, жгли, на месте капищ и требищ строили церкви, но изменить сознание, мышление не удавалось, хотя применялись все меры принуждения и физического насилия. О связанном с христианизацией насилии лучше всего говорит сложившаяся в народе примета, что встреча с попом, монахом грозит бедой. Поп, черноризец воспринимались не просто как религиозные чужаки, но как враги, появление которых влечет бедствия и с которыми, чтобы избежать несчастья (штрафа, порки, избиения, разграбления двора), лучше не связываться. Выработалась раздвоенность поведения: крестились, ходили в церковь, но думали о своих родных, старых богах. Показательно, что память о Перуне, имя его и страх перед ним сохранялись до недавнего времени. Другим божествам повезло меньше, поскольку они олицетворяли иные силы, не столь яркого и грозного проявления, как молния и гром.

Верховным божеством славян был Род (а еще прежде — Дий, Див) — бог неба, прародитель всего — и мира, и богов, и людей. Главенствующее его значение просматривается и в славянской лексике: родники, природа, народ, родить, урожай, уродиться, урод, порода, родина, родной, родство, рожданица (судьба).

В том же значении, что и Род, выступал Сварог. Его производными (детьми — Сварожичами) были солнце и огонь. Бог солнца — Дажьбог — выступал и под другими названиями, в которых отразились или его территориальное, племенное происхождение

(например, явно степное, скифское — конный бог Хоре), или особенности культового понимания (например, Ярила — бог плодородия). На Ярилину ночь припадали оргиастические ритуалы (как обличали христианские авторы: «отрокам осквернение, девам растление»). О солярном смысле Ярилы говорит то, что выведено это имя из праязыкового обозначения года — полного оборота солнца. Ярила представлялся молодцом в белой одежде на белом коне; в одной его руке человеческий череп, в другой — пук колосьев. Ярила на своем коне ездит по нивам, растит рожь; он бог плодородия, оплодотворяет землю, от него ярится земля, он дает жизнь хлебу, урожаю. Еще одна из его забот — приносить новорожденных. Но Ярила — и бог чувственности, бог жара плоти, он разжигает похоть, плотскую страсть. У белорусов в это празднество самую красивую девушку одевали Ярилою, садили на коня, вокруг нее плясали и пели, ее водили по деревне.

Божеством солнца у славян, у белорусов в частности, выступала также Коляда. Праздник этот, называемый иначе Божик, Божич, припадал на зимний солнцеворот. Трудно сказать, какое название более позднее — Коляда или Божич.

Первым славянским словом, обозначающим бога, было Див, Дий, восходившее к индоевропейской языковой общности. Около I тысячелетия до новой эры вошло в славянский язык из иранского — бог. Слово господь было заимствовано у готов уже в новую эру — в III—IV столетии. Белорусская обрядность, связанная с колядами, сохранялась до самого последнего времени. К месту сказать, зимнее празднование возрождения солнца отмечали все европейские народы. Вообще все солярные празднования одинаковы и по времени и по существу обрядности по всей Европе.

В Белоруссии еще в прошлом веке сохранялись магические обряды, призванные обеспечить урожай следующего года, именно в колядную пору. На Коляды по дворам ходили колядовщики — ряженые, водили с собой «козла» или «козу» — парня в козлиной личине, а также «бусла» или «медведя». Одевались ряженые и в волчьи шкуры, что обозначало волкодлаков — оборотней. Образ волкодлака очень древний, он сложился, верно, в палеолит — 30—35 тысяч лет назад. Волкодлак присутствует в народных поверьях и сказках. Стать оборотнем нетрудно: достаточно было воткнуть в пень лезвием вверх нож и перекувыркнуться через него. Обратный кувырок возвращал волкодлаку человеческий облик. Хождение волкодлака с дружиной колядовщиков едва ли было ритуальным, роль его была проста — попугать зрителей.

Колядование имело разработанную церемонию, и не зря, верно, считают, что колядование есть иная форма слова колдование. Колядовщиками встарь были волхвы и чародеи; это подтверждается и присутствием в обряде «козла». Согласно обряду козел, коза умирали и воскресали, что в языческом понимании соответствовало смерти божества и его возрождению (смерти божества солнца и его возрождению, вообще обновлению живородной силы). Козел, Коза в этом ритуале выступали духом урожая, духом ржи, воскресение его обещало урожай в новом солнечном году. В белорусских колядках так и поется:

Дзе казёл ходзіць, Там жыта родзіць. Дзе казёл хвастом. Там жыта кустом. Дзе казёл нагою. Там жыта капою. Дзе казёл рагамі, Там жыта стагамі.

Или про козу:

Дзе каза рогам, Там жыта стогам. Дзе каза не ходзіць. Там жыта не родзіць.

Козел присутствует и в обрядности дожинок, когда из последних колосьев «завивали бороду» духу жыта — Жытению — козлообразному существу: несколько колосьев перевязывали красной лентой, рядом клали хлеб-соль, водили хороводы, пели жнивные песни.

Призывание добрых духов составляло суть большинства языческих празднеств; особенное значение между ними занимал великдень — весенний праздник, посвященный солнцу, возрождению природы после умирания — зимнего сна. Христианство перекрыло это языческое празднество пасхой, но в Белоруссии в отличие от других славянских народов сохранились его древние обряды, называемые волочечными, иначе — волшебными. Волочечники (волшебники) одевались «под богов», ходили по дворам, исполняя праздничные, то есть ритуальные, песни. Дары, которыми хозяева отплачивали в старину волочечной дружине, в пору реального восприятия праздничных гимнов были, верно, жертвою, которую вручали волочечникам — волхвам, чародеям, осуществлявшим связь с богами. Каким или какому божеству поклонялись в великдень — неизвестно. Хоть это и был праздник солнца, но солнце представало под разными именами, отражавшими его разные функции или возможности в разные поры года: зимой — Коляда; в начале лета — Ярила; в летний солнцеворот — Купала. Культ солнца — самый древний, он — принадлежность всех религий, даже самых примитивных. Символическим изображением солнца были круг, крест, круг с точкой, круг с крестом, круг с шестью спицами (так называемое «колесо Юпитера»), колесо. Не случайно в белорусских деревнях, приглашая на жительство в усадьбу аиста — святую птицу, на дерево, предназначенное для гнезда, устанавливали колесо. Оно и как знак солнца, и как громовой знак сулило дому удачу и защиту от Перуна.

Многое затерялось под христианскими напластованиями, имена Сварога, Дажьбога, Хорса выветрились из народной памяти и мышления, а Коляда, Купала и некоторые другие остались. Это можно объяснить тем, что сохранялись в памяти, в предании, в упрощенном обряде те боги и духи, которые были прочнее связаны с практическими заботами населения, живущего от земли. Боги же высшей ступени, необходимые прежде для объяснения мироздания, вытеснялись под воздействием воинствующего христианства и забылись.

Для сохранения и бытования высших божеств требовалось специальное сословие, религиозная элита, призываемая проникать в тайну устройства мира, в его происхождение и взаимосвязи его сил, в его генезис. С уничтожением этого сословия ушло и сохраняемое им знание. Осталось лишь то, что было достоянием каждого, что было связано с непосредственной стороной жизни. В Белоруссии, как и у других восточнославянских народов, за исполнением большинства обрядов следил старший в семье, он был, так сказать, жрецом, и специальный храм или капище для обращения к богам или жертвоприношения не требовались. Таким храмом был свой дом, свое поле, родник, который давал питьевую воду, ближайший лес, излучина реки. Смесь языческой старины и христианских новинок вполне удовлетворяла скромным сакральным потребностям сельской семьи.

Христианство давало сквозную и ясную картину сотворения мира, которую легко было понять и принять посредством, нетребовательному, простодушному язычнику. Но кое-что, противоречащее его здравому смыслу, его опыту общественных отношений, народ в большинстве своем не принял. Так, не утвердилась в народном сознании идея о том, что жизнь каждого отдельного человека даруется богом, что бог следит за каждым своим созданием, что дарование жизни, бытия на этом свете требует горячей благодарности. Жизнь человека понималась самостоятельной и отделенной от замысла божества. Богов надо было задабривать, чтобы не вредили, и благодарить, если не навредили или помогли, но — только в строго определенные дни. В иные дни эти боги как бы не существовали, утренние и вечерние молитвы в их адрес были попросту бессмысленны. Отношение к жизни "Как будет — так будет" из народного характера не

вытравилось. Однако новая картина миротворения победила необходимость в языческих богах-прародителях.

Неизвестная язычеству идея загробного воздаяния, грядущего воскрешения затмила языческих богов загробного мира и богов смерти. Языческий образ тризны, поминок остался, но осуществители смерти, преемники душ, хозяева потустороннего мира вытеснились из предания или изменились в символике. Немалую роль здесь сыграл христианский обряд захоронения — в гробу, в землю.

До крещения у славян существовала в основном кремация; предание мертвых земле было скифского происхождения и чем дальше к Северу, тем реже встречалось. Утверждаемый силой новый обряд похорон вынужденно сохранил из старого голошение и поминки, то есть то, с чем разлучить народ оказалось невозможно. Зато языческие боги забылись. Так, у той группы населения Белоруссии, которая практиковала кремацию, был забыт Зняч — бог погребального огня. Некоторыми исследователями высказывалось мнение, что бога по имени Знич . не было, что это поэтическая выдумка. Существование Знича подтверждается в белорусском языке лексически: есть глагол — знікаць (исчезать, пропадать); зничами называются поминальные свечи на могилах, то есть — могильный огонь; падающая звезда называется значка. У нашего народа сберегается поверье, что звезды на небе — это знаки живых душ: рождается человек, и бог (Род? Сварог?) зажигает звезду; человек умирает, и бог его звезду гасит, она сгорает. Зничка несется во тьму — чья-то душа отошла, жизнь истекла. Знич погасил огонь жизни.

Стародавний обычай зажигать на могилах огни не оставляет места сомнениям в существовании языческого божества, главенствующего именно над огнем погребальным. Возможно, он отделился от главного бога огня, которому прежде приносились жертвы. Приношение жертвы через костер, через сожжение имело древнюю родословную и прочно вошло \_ в систему мышления. Связь огня и жертвы с небесами, радостное приятие небесами, высшими богами жертвенного костра присутствовали в сознании еще в XVIII веке. Например, сожжение ведьм в средние века находилось в явной связи с древними воззрениями на богоугодность такой жертвы, когда ради милости бога предается огню его враг. Сожжение не было просто казнью, здесь присутствовал религиозный момент: человеческой жертвой стремились расположить к себе верховное божество, доказать ему свое рвение, заручиться милостью и покровительством. Жертва через костер практиковалась во всей Европе. Разбойникам рубили головы, их топили, вешали, клали на колесо; сожжению предавались только еретики, инаковерующие, богоотступники. В огне погиб протопоп Аввакум. Похоронный костер, разумеется, носил иной характер, чем жертвенный, и тут исполнял свое дело бог специализированного действия — в нашем регионе им был Знич.

Похороны у белорусов назывались халтуры а имели сложную обрядность, отражавшую взгляды на жизнь души. Наши предки были убеждены, что по смерти тела душа остается жить, она улетает в рай — у вырай, в «тридевятое царство, тридесятое государство». Но прежде душа пристально следит, как с ней прощаются — горюют ли; отсюда развились ритуальные голошения и плачи, не столько выражавшие искренность чувств, сколько якобы убеждавшие, что горе безмерно, что сказано добрых слов достаточно, чтобы душа смогла предстать перед богами в ореоле добродетелей. В случае равнодушного, тихого, бесчувственного провожания душа озлится и будет мстить. Обязательной частью похоронного обряда были поминки, на которых душа также присутствовала и следила, что и как о ней говорится.

Вообще культ предков у белорусов был весьма развит, празднования в их честь совершались несколько раз в год. Наиболее значительными из них были осенние дзяды.



Это были дни, когда совершались обряды и назывались души предков, независимо от возраста, в котором человек покидал этот свет; столетний дед и подросток — равно были для живых дзядами. Дзяды — отличительно белорусское празднование. Двадцать шестого октября по старому стилю дзяды приходили в дом к своим родственникам, где их уже ожидали,— двери или окна были открыты, праздничный стол, что называется, ломился от лучшей в доме еды, на столе стояла для них чарка и закуска. О появлении их подсказывали разные приметы — занавес шевельнулся, влетела осенняя мушка, услышался в тишине скрип,— значит, дзяды пришли, ждут воспоминаний о себе, рассказов, угощения. Вечером же шли на кладбище и зажигали на могилах костры. Где пребывали души в обычное время, какое божество их опекало — непояснено.

Бели Знич принимал души и был их попечителем, то он как бог погребального огня посылал их на небо, откуда происходил сам.

Но нить человеческой жизни обрывал не Знич, этим занималось божество смерти — Яга, или в более привычном нам сказочном названии — Баба-Яга. Показательно, что однокоренное Яге слово «ягло» означает мертвечину. Баба-Яга выступала в облике отвратительно страшной старухи, которая носится в деревянной ступе и помелом замечает свои следы. У Бабы-Яги безобразно торчат наружу кости, нос — крюком, волосы висят лохмами; кто увидит ее — онемев, до кого она дотронется — умрет. Поезд чертей, который возит Бабу-Ягу над землей,— это, скорее, из поэтики позднего времени, хотя вполне возможно, что по древним представлениям Яге подчинялись и все духи зла. Сказочные сюжеты, где в контакты с Бабой-Ягой входит богатырь (прибывает прямо в ее обиталище) и обманывает ее или даже пользуется ее поддержкой, выражают извечное желание человека преодолеть страх смерти, победить неумолимую уничтожительницу живого. У восточных славян существовали капища Яги; обрядность, посвященная ей, включала сожжение чучела смерти, приношение жертв, назначенных ублажить Костлявую, насытить ее жертвенным мясом, отослать в другую местность.

Смысл и роль некоторых языческих божеств во многом остаются неясными. Например, полтора ста лет оставался дразнящей загадкой бог, названный в Лаврентьевской летописи Симарьглом. В ряде поучений против язычества его имя даже писалось отдельно: «Сим и Рьгл» или «Сим и Ерьгл». Сколько усилий было потрачено, чтобы проникнуть в тайну этих покрытых мраком полнейшей неизвестности имен, сколько изощренных гипотез об их назначения было придумано! И все — ошибочные. Только в тридцатые годы нашего столетия появилась работа, снявшая с Симарьгла покров жгучей тайны. Оказалось, что Симарьгл — это славянская калька с иранского названия Сэнмурв (Симургл). Представлялся ? тот бог в виде крылатого пса или барса, и функция его состояла в сторожении священного прадрева, от которого пошли все растения, в охране Добра и Жизни, позже он стал и охранителем кладов.

Загадочной представала я названная в летописях вслед за Симарьглом богиня Мокошь. Почему Владимир ввел ее в Пантеон, какие племена поклонялись Мокоши, что она олицетворяла — не вполне ясно. На русском Севере просматривается связь Мокоши с прядением, с льноводством. Мокошь по здешнему поверью — невидимка, голос ее можно услышать в жужжании веретена. Считается, что Мокошь с распространением христианства уступила свое место и функции Параскеве — Пятнице, которой посвящался первый сноп льна, вытканые полотенца.

У чехов Мокошь считалась божеством дождя, воды, грозы. В таком широком значении Мокошь ближе к древнему своему пониманию как божества, символизирующего плодоносящее женское начало. Тесная связь Мокоши с водой видна и в языке по целому кусту однокорневых слов.

Скудность сведений о некоторых божествах нашей языческой старины, переход их в поэтические образы народной песенной поэзии не дают серьезным исследователям оснований говорить об их «реальном» существовании с твердой уверенностью. Например, Ладу (известную больше по песенному припеву «Ой, Лада! Лада») некоторые исследователи считали придумкой тех, кто видел за этим именем богиню любви и согласия и допускал, что она же породила божественную пару — Лель и Поле ль, покровительствовавших влюбленным. Но есть мнение, что Лада и Ладо — имена небесной четы — Солнца и Луны. Если учесть, что прежде луна называлась месяцем, ибо с ней связывалось божество мужского рода, то мысль о супругах-небожителях вполне правдоподобна. У белорусов общеславянскому божеству Ладе соответствовал или дополнял его с ограниченной функцией предсвадебного божка любви и веселья Люб мел или Любич, Любчик.

Такое же недоверие, и более того, отрицание вызывал бог Переплут. Он со своим во все времена «современным» именем казался прямо-таки мистификацией: тут, пожалуйста, и плут, и еще приставка пере-, которая указывает на избыток склонностей и желаний к делу, на множественность этих дел, на общее становление плутами. Оказалось, однако, что был такой бог, именно Переплут — бог пиршества, хмельного веселья, игр, песен, проказ и проделок.

В сферу поэтической образности перешли не очень давно и так называемые демоны — антропоморфные духи леса, воды, болота, поля, дома, болезней, беды, несчастий и т. п. В отличие от божеств духи живо сохранялись в устном (семейном) предании. Два начала мира, дуализм его, осознаваемый в парах, — Свет и Тьма, Юг и Север, Жизнь и Смерть, Добро и Зло — отразились и в разделении духов на добрых и злых, на расположенных к человеку и неприязненных к нему.

Добрым духам — русалкам, связанным со стихией воды и с растительностью, посвящались веселые празднества, вообще весь июнь проходил, можно сказать, под их знаком. Добрыми духами были рожаницы, олицетворявшие женское плодоносящее начало и опекавшие роды. К добрым относился и Жытень (иначе — Богач, Спарыш, Рай) — дух урожайности, воздававший за заботу о поле. Не злыми представлялись духи дома, леса, лугов. Домовик генетически происходил от старого родового бога Рода, Щура (Пращура). Он воображался в виде маленького деда, который охранял дом и имущество, следил за благополучием семьи, все о всех знал; он обязательный участник всех домашних событий и праздников, на которые, по обряду, приглашался. Хозяин леса — лесовик — представлялся существом огромного роста и силы. Бурелом в лесу — его работа. Он шутник и проказник — пугает людей хохотом, заставляет блуждать. Лесовика задаривали подношениями еды, которую оставляли на лесном распутье.

На переходе к злым духам стоял водяник — хозяин в подводном мире. Это был старец с зеленой, как тина, бородой. Разливы рек, разрушение запруд и мельничных плотин, гибель людей в воде, туманы над реками, водные круговороты — это все его проявления.

Злые духи — нежить — имели свою иерархию; среди них были создания особой силы и универсальных способностей козлу — упыри, олицетворявшие самое древнее понимание злого начала, черт, ведьмы, злыдни, но существовали и злые духи ограниченного действия: Трасца (Хунда) навела лихорадку, Ночницы мучали детей болезнями, Мара изводила человека страшными снами. По нашим старым поверьям, разгул ведьм, оборотней, колдунов припадал на Купальскую ночь, тогда же предавалась проказливому своему веселью и вся нежить — водяные, лешие, домовые, полевики. В Западной Европе верили, что ведьмы проводят свои шабаши на Вальпургиеву ночь (ночь

на 1 мая). Это время считалось наилучшим для изгнания колдуний и вообще всех чародейских сил. Другой период ведовского разгула приходился на колядные недели — с 25 декабря по 7 января. Это время полагалось и самым удобным для гаданий о судьбе.

Христианство выросло на языческих религиях, вобрало в себя разработанные ими идеи, трансформировало их обрядности. Магия, особенно астрологический ее раздел, была глубоко освоена халдеями. Наблюдения за ночным небосводом, культ светил, взаимосвязь человеческих судеб и поступков с системами звездного мира от халдеев перешли к сирийцам, а затем к грекам, римлянам и арабам и в упрощенном виде — к славянам. Магия изначально делилась на две, соответственно двум началам — светлому и темному. В древнеперсидском мирозерцании эти два начала были персонифицированы: были дух света — Ормузда и дух тьмы — Аримана. Отсюда и пошла белая (обращена к добрым духам) и черная (обращена к злым силам) магии. Христианство выработало не просто отрицательное, а злое отношение к черным магам, чернокнижникам, а отсюда — к книжникам. Это отношение старательно прививалось народу, и когда церкви требовалось, она натравливала толпу на негодных ей людей, большею частью это были ученые, то есть книжники. В чернокнижии, например, обвинялись Иван Федоров и Петр Мстиславец, основавшие типографию в Москве; типография была разгромлена и сожжена невежественной толпой, разумевающей печатную книгу «сатанинской» выдумкой. Существовала в восточнославянском язычестве и мистика чисел, правда, довольно ограниченная. Сакральное значение имело число 4, обозначающее четыре стороны света, его смысловые омонимные пары: Восток—Запад, Север—Юг, или иначе: Восход—Закат, Царство холода и смерти — Рай (Вырай). Число 4 обозначало и стороны поля, и четыре движения, необходимые для его обработки: прямое и обратное движение плугом, поперечные ходы бороной. Число 7 определяло четверть лунного месяца, каждую фазу луны, а также количество звезд в самом большом созвездии — Возке (Большой Медведице). Сакральным смыслом было наделено и число 9 — число месяцев чревной жизни человека. Глубокие разработки в математической мистике сделали пифагорейцы, но это опять-таки эпоха язычества: от Пифагора до Христа пятьсот лет.

Язычеством было освоено слово, созданы стойкие формулы речевого ритуала. Сакральное слово не было уделом избранных, оно принадлежало народу. Каждый глава семьи владел этими формулами; практически он был самостоятелен в церемониальном действии и вносил личностный момент в трактовку религиозного поверья. Другими словами, у наших предков слагались субъективные отношения с божествами, что создало определенное мистическое содержание в духовной жизни и народном характере вообще. Духовного рационализма наши пращуры не знали.

На слове (языке, речи) стоит остановиться. Слово принадлежало к тому малому кругу явлений, которые изначально, с первых лет существования человека, были признаны особенными, непонятными, недоступными разумению, обладающими «неземной» силой, вызывающими удивление — дивными. Не зря ведь Див, Дий был главным божеством в славянском языческом сообществе богов. Слово в представлении наших предков обладало огромной силой, ничуть не меньшей, если не большей, чем другие «дивные» явления: вода (кровь), огонь, земля, дерево, камень, тотемные звери — змея, тур. Слово действовало и на расстоянии, и жило во времени. Заговор как выражение силы духа снимал или наводил болезнь; слово волхва, колдуна, кудесника открывало будущее, могло принести беду, избавить от нее. Слово было обязательным условием связи с божеством, той таинственной силой, без участия которой не действует ни один обряд. Именно поэтому так крепко обязывала клятва, а клятвопреступление

расценивалось как один из тяжелейших проступков. Человек, обещая что-то сделать или чего-то не делать, прибавлял «Клянусь!» и старался исполнить обещанное, каких бы издержек это ему не стоило.

Понятие чести, которое в нынешнем обществе прилагают к верности слову, есть проекция богобоязни наших пращуров, произносивших клятвенные формулы.

Клятва обычно сопровождалась дополнительными действиями, гарантирующими ее исполнение, чаще скреплялась кровью.

Например, в 1351 году князь Кейстут, соправитель великого княжества Литовского, в войне с венграми попал в окружение и был вынужден вступить с противником в переговоры. Король Людвиг Венгерский предложил ему короноваться королевской короной и помощь против крестоносцев, взамен же от Кейстута потребовали замирииться с Венгрией и Польшей, не воевать захваченные ими земли. Кейстут, подчиняясь тяжелым обстоятельствам, согласился. Он был язычником, и для утверждения данного слова от него потребовали исполнить соответствующий, обряд. Вот как об этом свидетельствуют очевидцы: на виду всего венгерского войска перед шатром Людвигу вкопали два столба, к которым, привязали красного вола. Кейстут подошел к нему и ударил ножом в шею. Хлынула кровь; князь и его приближенные мазали этой кровью руки и лицо. Затем вола отрубили голову; Кейстут и люди его отряда трижды прошли по луже крови между головой и туловищем, что означало: пусть вы будете так в нашей крови ходить, если мы нарушим данную клятву. Успокоенные венгры ослабили бдительность, и, пользуясь этим, полки Кейстута в ту же ночь смялись и ушли, забыв о присяге.

Можно думать, что необходимость отступления от клятвы потребовала выработки каких-то прощающих смыслов. Так, слово, данное чужаку, ходившему под другим богом, не имело той силы, как слово одноверцу. Не затрагивая нравственную сторону вопроса, отметим только его разработанность, его согласованность с непростыми условиями бытия. Слово и божество, которому слово посвящалось, связаны не примитивно; связь гибкая, формулы емкие, ими можно оперировать, они с внутренним секретом, который позволяет избежать высшего возмездия.

Обожествляемым началом жизни с древнейших времен считалась вода. Магия и символика, связанные с водой, имеют незапамятное происхождение. В прямой зависимости с мифологическими представлениями о воде Фалес — один из основоположников греческой философии — считал воду первоэлементом, из которого произошло все сущее. Вода существовала изначально. Из воды возник ил, из ила родился двуполый змей Хронос, а затем — эфир, хаос, мрак. Хронос отложил в них яйцо, которое, расколовшись, образовало небо и землю.

Влага (вода) жизненной силы человека — головной и костный мозг. Влага деревьев (березовый сок, например) считалась их жизненной силой; особенной же силой обладало вино («вынутая», «вытянутая» душа хлеба, меда и т. д.). Поэтому употребление вина имело магический характер, во всяком случае в первые времена по его открытии. Такое отношение к вину сохранилось и в христианской церкви (церковное вино, переходящее в кровь господню при евхаристии).

У восточных славян, в частности на белорусских землях, родники и колодцы назывались «прощи», поскольку у них просили прощения за возможные грехи, надеялись на помощь живших в них духов. Магия воды включала обрядовые купания, омовения в росе, бросание в реку чучел, пускание венков в купальскую ночь, обмывание новорожденных, гадания по чаре с водой (чаро-действие); добрым духам воды — русалкам — посвящалось многодневное празднество, называемое русальем. В жертву воде приносились птицы. «Убогая курята, яже на жертву идолам режутся, инии в водах

потопляеми суть», — рассказывает древнее свидетельство. У воды по обычаю «умыкали» невесту; вообще многое из свадебного ритуала связано с водой: «...водят невесту на воду, даюче замуж, и чашу пиять бесом, и кольца мечють в воду и поясы».

С почитанием воды сопрягалось почитание ужа — безвредной змеи, оберегающей воду. Существовали осенние и весенние ужиные праздники, приуроченные к уходу ужей в спячку и к пробуждению их с началом таяния снегов. Ужей держали в доме, кормили молоком; уж считался для семьи чем-то вроде домового, обида его влекла за собой немилость. В связи с ужиным культом находилось почитание папоротника, который для змей был как бы любимым местом приюта. Ядовитые змеи считались охранительницами кладов.

Образ воды сливался с образом крови, а кровь по древнейшим понятиям воспринималась как духовная сущность живого, кровь — символ духа. Поэтому кровь жертвенных животных — козла, петуха, быка — посвящали божествам, этой кровью причащались к божеству. Такое же значение в христианской символике придается и «крови Иисуса».

Каменные и деревянные орудия почитались как предметы обороны и смертоубийства. Жезл военачальника, трансформированный из дубины, посох жреца, чародея, старейшины, затем — патриарха, трансформированный из короткого копья, стали символом соответствующей власти. Магический смысл смертного орудия имела клюка Бабы-Яги.

Еще в XVII столетии свои успехи в выжигании языческих пережитков церковь считала неудовлетворительными. О распространенности этих пережитков дают представление царские указы Алексея Михайловича: «...а иные люди тех чародеев и волхвов и богомерзких баб в дом к себе призывают и к малым детям, и те волхвы над больными и над младенцы чинят всякое бесовское волхование и от правоверия православных крестьян отлучают; да в городах же и уездах от прелестников и от малоумных людей делается бесовское сонмище, сходятся многие люди мужского и женского полу по зорям и в ночи чародействуют, с солнечного схода первого дни луны смотрят и о громное громление на реках и в озерах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются, и медведи водят и с собачками пляшут, и зерню и карты и шахматы и лодыгами играют и чинят безчинное скакание и плясание, и поют бесовские песни, и на святой недели жонки и девки на досках скачут, а о Рождестве Христове и до Богоявленьева дня сходятся мужского и женского полу многие люди в бесовское сонмище, по дьявольской прелести, во многое бесовское действо, играют во всякие бесовские игры; а в навечерие Рождества Христова, и Васильева дня, и Богоявления Господня клички бесовские кличут, Коледу и Таусень и Плуту; и многие челоуцы, неразумьем, веруют в сон, и во встречу, и в полаз, и в птичий грай, и загадки загадывают, и сказки сказывают небылые, и празднословием и смехотворением и кощунанием души свои губят такими помраченными и беззаконными делами, и накладывают на себя личины и платье скоморожское, меж себя нярядя бесовскую кобылку водят; и в таких позорищах своих многие люди в блуд впадают и внезапною смертью погибают, и с качели многие убиваются до смерти... и уклоняются православные христиане к бесовским прелестям и ко пьянству, а отцов духовных, и по приходам попов, и учителных людей наказанья не слушают...»

Так было на Руси; но еще тверже и шире «бесовские сонмища» и «бесовские песни» и магические обряды держались в Белоруссии уже в силу того, как это ни парадоксально звучит, что здесь были две церкви — православная и католическая, а затем к ним прибавились протестантская и униатская. Наряду со всеми этими разветвлениями

христианской религии не засыхала в народе и ветвь религии языческой, чему способствовало и то, что по праву Великого княжества Литовского каждый пан или шляхтич сам был определителем веры на своих землях. Хотелось ему быть православным, он был им, но мог перейти в униатство, или в католичество, или в протестантство; по его воле приходил в деревенскую церковь соответствующий священник.

Религиозная борьба, начатая в XVI веке, носила в Белоруссии более социальный и национальный, чем религиозный характер. Языческое состояние народа, безусловно, раздражало клир; даже большие деятели культуры, воспитанные на христианстве,— Будный и Филипович, ополчились против языческой обрядности. Но кардинально изменить дело никому не было под силу. Язычество оставалось бытовой религией крестьянства. Городское общежитие более способствовало пониманию христианских положений, прониканию его смыслами и символикой. Крестьянское натуральное хозяйство, полная зависимость крестьянина от природы, могучая сила тысячелетней традиции не располагали к вхождению в христианство. Главное затруднение состояло в чуждости символики. Иерусалим, Голгофа, Рим, Пилат, пустыни и Красное море, пальмовые ветви и ослы, река Иордан, фарисеи и золотой телец — все это не поддавалось разумному пониманию; едва ли серьезно воспринимался символ непорочного зачатия, противоречащий эмпирическому опыту поколений и утвердившемуся взгляду на необходимость оплодотворяющего мужского начала. Был создан специальный символ — ромб с точкой посередине, который наносился на керамические фигурки рожаниц; ромб, разделенный крестом на четыре клетки с четырьмя точками, входит необходимым элементом в белорусский национальный орнамент, этот знак обязательно вышивался на свадебных рубахах; он же имел магическую функцию у белорусов при постройке нового дома (основание под фундамент расчерчивалось крестообразно на четыре части и в каждую ставился камень — все с разных полей). По отношению к полю эта магическая идеограмма означала — «земля, оплодотворенная семенем жита». Абстракция же непорочного зачатия была чужда языческой мифологии.

Казнь на кресте, практиковавшаяся в Риме, не практиковалась у славян и вряд ли могла восприниматься большими страданиями, чем колесо, кол, костер. Христианский миф относил расплату за грехи, воздаяние злом за зло к загробной жизни; долготерпение, смирение перед обидой никогда не входили в круг идеалов язычества. Но беззащитность перед «сильными мира сего» заставляла принимать из христианства не возвышенный, а страдательный его момент: «Христос терпел и нам велел». Христианство невольно сохраняло многое из языческой символики. Волшебная сила оберегов (амулетов), носимых на груди, перешла на нагрудный крест, причем чем выше был ранг священника, тем большим и дорогим крестом он украшался. Почитание огня сохранилось в огоньке лампы, зажигаемой пред ликом святых. Сегодня кольца, кулоны, браслеты, бусы — не что иное, как языческие пережитки; пращуры пользовались ими для охранения себя от вражьих сил. Наше время оставило за ними эстетическую функцию.

## **"Жребий брошен..."**

Слепое или озлобленное, а то и жестокое отношение современников к личностям,

выступавшим с новыми, разрушительными для прежних представлений идеями, нередко было одной из горьких примет созидания духовной культуры. Но следующим поколениям — по прошествии меньшего или большего времени — люди, чьи имена вошли в мировую историю познания, кажутся удачливыми избранниками судьбы, поскольку посмертная слава золотит светом успеха их жизнь. Однако внимательный взгляд на их судьбы открывает изнуряющее напряжение борьбы за свои идеалы, противостояние непониманию, неприятию, насилию...

К числу борцов, героев, подвижников принадлежал и белорусский философ XVI века Сымон Будный.

Он был личностью многогранной и энергичной. Мыслитель, писатель, переводчик и полемист, теолог и издатель, выдающийся филолог, один из самых просвещенных и сильных умов своего века, Будный внес существенный вклад в развитие белорусской культуры. Будный продолжил дело Франциска Скорины — содействовал открытию типографий в Несвиже, Заславле, Лоске — и был автором первых напечатанных там книг. Издания Скорины и Будного заложили основы белорусского литературного языка. Идеи Будного формировали духовную жизнь определенных кругов Великого княжества Литовского. Будный первым в европейской науке подверг критическому анализу Новый завет. Это был несомненный научный подвиг, требовавший обширных знаний, смелости мышления, духовной отваги. Ведь никто прежде на такое дело неосмеливался. Предшествующие Будному комментаторы Библии не ставили под сомнение ее авторитетность и авторитетность основанных на ней главных догматов христианской веры. Великие деятели Реформации — Лютер, Цвингли, Кальвин — со всей яростью обрушились на разложившуюся католическую церковь, во взамен создали новые, столь же нетерпимые к идейным противникам и инаковерующим.

Будный не остановился на реформации христианства, он стал его разрушителем, избрал себе роль анатома незыблемых ранее документов христианской религиозности. Аналогичную работу провел Спиноза, но спустя целый век. За сто лет, разделявших труды обоих мыслителей, копилось знание, вызревали новые идеи и потребности, складывалась новая формация. «Богословско-политический трактат» Спинозы, близкий по смыслу и содержанию комментариям Будного к Новому завету, вызвал ненависть католических и протестантских кругов и в 1674 году был запрещен. Работа Будного уничтожалась на кострах столетием прежде. Следует заметить, что книга Спинозы была написана по-латыни, то есть предназначалась для узкого круга читателей; критический же труд Будного был опубликован на польском языке, то есть был ориентирован на широкие слои читателей Польши и Великого княжества Литовского.

Жизнь Будного сложилась трудно. Он изведал гонения, гибель своих трудов, отвержение былыми друзьями и умер в нищете и одиночестве под радостные возгласы врагов.

Таков был порядок жизни. Человек, посягнувший на уст<sup>и</sup>-господствующей идеологии, объявлялся еретиком и подлежал всем видам духовного насилия, отлучению от общества, физической изоляции или уничтожению.

Сымон Будный был еретиком. Не только по натуре, по духу, по смыслу деятельности. Он был объявлен еретиком официально, снискал гнев всех церквей христианского толка, действовавших в Белоруссии, Литве и Польше, к даже в партии антиринитариев взгляды его были названы еретическими.

Первые документальные сведения о Будном относятся к 1558 году, когда он прибыл в Вильню — тогдашнюю столицу Великого княжества Литовского, Русского, Жемонтского — по приглашению канцлера Миколая Радзивилла и стал катехизистом при

Виленской кальвинистской общине. Разумеется, Миколай Радзивилл приглашал Будного в Вильню вовсе не как еретика. Едва ли, встретившись с Будным, он мог заподозрить в молодом человеке носителя экстремальных взглядов. Он увидел в земляке умеренного протестанта, человека, одаренного умом, обаянием, способностями убедительно рассуждать и проповедовать, словом, он нашел в Будном личность, полезную для своего дела — дела утверждения в Белоруссии и Литве кальвинизма. Да и кто мог бы предсказать, что человек, нанятый для исполнения рядовых функций в общине, начнет сомневаться в «несомненном» — в божественном происхождении Христа, в существовании ада, о котором скажет, что это не более чем муки нечистой совести в земной жизни, что человек этот проявит недюжинные политические способности и возглавит движение литовских братьев.

Вся жизнь Будного — это напряженный поиск истинного знания и проповедь этого знания. Эволюция представлений Будного сложна: от католичества к кальвинизму, от кальвинизма к крайностям антитринитаризма, а закончил он свои дни атеистом. Путь непростой, и по условиям того века он потребовал исключительной духовной работы. Сымон Будный вышел из среды мелкой шляхты, то есть из среды малообразованной, можно сказать, невежественной, вольнолюбивой, но не вольнодумной. Другими словами, он, как и большинство известных личностей той эпохи, был самородок. «Искра божья» горела в его душе, увлекающая учиться, идти в свет, искать свое счастье в науке.

Место рождения Будного не установлено. Семейное имя Буды, давшее ему фамилию, с равной вероятностью могло находиться и на Гродненщине, и на Подляшье, и на мазовецких землях в Польше — никто этого не знает и, скорее всего, уже не узнает никогда.

Во многом начальный путь Будного схож с путем Франциска Скорины. Как и его предшественник, Будный четырнадцати лет от роду взял котомку, получил от отца пару золотых, от матери — благословение и отправился попутными подводами в Краков — в Ягеллонский университет, где по традиции учились выходцы из Белоруссии и Литвы. Возможно, он и жил в тех же покоях, где жил Скорина, и слушал лекции в тех же аудиториях, сквозь те же ворота входил в квадратный двор Коллегиум Майюс. Получив звание бакалавра философии, Будный, подобно Скорине, отправился в Италию. Дорога шла через Чехию; белорусский первопечатник в эти годы еще был здоров и служил королевским ботаником в Праге. Легко дать волю воображению и представить, как недавний студент Будный навещает великого соотечественника в его пражском доме.

В отличие от Скорины Будный продолжил учение не в Италии, а в Швейцарии, полагают, что в Базельском университете. К тому времени в Швейцарии утвердилось реформационное учение Цвингли и Кальвина. Кальвин обосновался в Женеве, а в Базеле был реформационно-гуманистский центр, во главе которого стоял Себастьян Каstellлио. Всего лишь двумя десятилетиями прежде базельских гуманистов возглавлял Эразм Роттердамский. Так что Будный сформировался на философских идеях Эразма, развитых его последователями. Одним из них был Себастьян Каstellлио, крупнейший мыслитель первой половины XVI столетия, который впервые теоретически обосновал необходимость веротерпимости и свободы мысли. Будный мог быть знаком с Каstellлио и, приняв его учение, уже не мог разделять нетерпимость Кальвина. Вообще авторитарный, догматический тип мышления был чужд Будному. Когда же в 1553 году Кальвин санкционировал сожжение испанского ученого, врача, открывателя кровообращения Мигеля Сорвета, а затем в Цюрихе ученик и последователь Кальвина Беза послал на казнь итальянского антитринитария Валентина Гентилиса, Будный воспринял вождей кальвинизма такими же душителями свободомыслия, как и римскую апостольскую



церковь.

Свободу самовыражения Будный считал основным условием здорового развития общества. «...Разве может быть признана власть,— писал Будный,— которая всем хочет закрыть рот, а одному или троем позволяет распустить вожжи, чтобы писали, что пожелается? Я признаю власть и осуждаю беспорядок, но я называю властью не то, что ты (имеется в виду адресат обращения — К. Т.); у тебя властью является то, что однажды принято и требуется троем, защищается всеми силами (несмотря на то, хорошо это или плохо); для меня это не власть, а тирания и рабство, очень подобные на папские. Власть была бы, если бы не гасили дух, все испытывали и принимали то, что оказалось бы лучшим... Дай нам бог такую власть, при которой мы не думали бы о себе, не унижали других, позволяли говорить правду друг другу, не считали бы себя непогрешимыми...» Или: «Надо, чтобы у нас была свобода говорить о божеских делах не только ученым, но и простым людям... не только богатым, но и бедным. Это чудесная и особенная свобода...»

Не было на свете правителей, тем более в государстве с религиозной идеологией, которым нравились бы такие мысли и такие речи. К духовному, по крайней мере, послушанию они не зовут.

Желание пользоваться «чудесной и особенной свободой» всегда есть вызов. В известном смысле вызовом была и неудовлетворенность Будного теми прагматическими целями Реформации, какие ставил Миколай Радзивилл. Тут впору задаться вопросом, какая вообще нужда была канцлеру Великого княжества Литовского в смене религий, в переходе в кальвинизм, если все его предки с 1386 года, с момента крещения языческой Литвы, показали себя если не ревностными, то вполне лояльными католиками. Какие цели он преследовал, поощряя в государстве религиозную смуту, втягивая в смену вероисповедания широкие круги своей родни, белорусской и литовской магнатории? Чем пленились магнаты и шляхта в кальвинистском учении, которое было направлено на развитие индивидуальной религиозности, субъективного религиозного сознания, отказывалось от культа Богородицы и святых, поклонения реликвиям, обета безбрачия для духовенства, требовало роспуска монашеских орденов, умаляло роль духовных лиц в церкви, которое отличалось крайним этическим ригоризмом. Кальвинисты более серьезно, чем любое другое направление в христианстве, восприняли слова апостола Петра: «Кто не работает, тот не ест!» Кальвинизм был религией зарождавшейся буржуазии, которая вела счет каждой копейке и очень высоко ставила личный труд в любом деле. Есть много причин, обусловивших развитие реформационное движение на белорусских землях. Люди, принимавшие решения о распространении и материальной поддержке кальвинизма, занимали самые высокие должности в Великом княжестве. Миколай Радзивилл Черный, как известно, был канцлер, то есть занимал высший пост. По его смерти канцлером стал Миколай Радзивилл Рудый. Единомышленниками их выступали: князь Стефан Збаражский — воевода Троцкий, Василий Тышкевич — воевода смоленский, Павел Сапега — воевода новогрудский, Стась Пац — воевода витебский, Юрий Тышкевич — воевода брестский, Юрий Остик — воевода Мстиславский, Гавриил Горностай — воевода минский, Ян Хадкевич — староста жмудский и земский маршалок, Остафий Волович — каштелян Троцкий и подканцлер, Миколай Тальвош — каштелян минский, Юрий Зенович — каштелян полоцкий и др.

Двигали сильными мира сего иные соображения. Во-первых, корыстные: секуляризация церковных имуществ открывала панам доступ к обширным земельным владениям католических монастырей и костелов. Даже мелкая шляхта отыскала здесь выигрыш, принуждая крестьян работать и в праздничные дни. Сочувствовало

Реформации нижнее духовенство, которое стремилось к независимости от верхушки клира. Освобождения от вмешательства церкви в светские дела желали магнаты. Такие возможности предлагал ей женеvский образец протестантской общины, где две трети руководящих мест занимали миряне.

Вторая причина, а, возможно, она являлась главной, состояла в том, что Радзивиллами владела идея отделения Великого княжества от Польши и провозглашения самостоятельной державы. Это было бы мало реально при сохранении в Белоруссии, Литве и на Украине двух противоборствующих исповеданий — католического и православного, каждое из которых искало соответствующую опору и помощь в больше и Москве. Реальную идеологическую основу отделения могла дать реформаторская церковь — чуждая и польской и московской.

Какие же шансы имел Миколай Радзивилл Черный: стать самому или поставить фамилию во главе самостоятельного государства? В XVI веке Радзивиллы были самым могущественным родом Великого княжества. Например, в конное войско они выставляли 621 всадника, родственные им Остиковичи — 337 — итого почти тысячу, в то время как князья Гольшанские — 154, Сапеги — 153, Гоштольды — 466, Кишки — 224, князья Слуцкие — 433, князья Лукомльские — 65. И так далее. Вместе с родственниками и сторонниками они держали под контролем половину вооруженных сил страны. О честолюбивых планах Радзивиллов допускает думать и необыкновенная удача их семьи: двоюродная сестра Миколая Черного Варвара была женой короля Сигизмунда-Августа — королевой Польши.

Едва ли Сымон Будный хоть однажды видел в глаза Сигизмунда, а тем более Варвару, но история отношений этих людей оказала влияние и на его жизнь. Равно он никогда не видел Ивана Грозного, Малюту Скуратова, крымского хана Дивлет-Гирея, однако их действия сказались на его взглядах и публицистической деятельности. Уж так устроена жизнь, что крупные личности или люди высокого положения своими поступками обуславливают поступки, удачи и неудачи других. Какая бы, казалось, взаимосвязь между судьбой кальвинизма в Белоруссии и Литве и успешными походами Грозного на мусульманские Казань и Астрахань? Увы, самая прямая. Победа над Ногайской Ордой позволила Московской Руси в 1558 году качать войну за Прибалтийские земли, а она — Ливонская война — привела к неожиданным результатам, отразившимся и на жизни Будного, о чем будет сказано ниже.

Подобно этому любовь Варвары и Сигизмунда, которую панегиристы Радзивиллов в следующем веке сравнивали с трагической любовью Ромео и Джульетты, не прошла бесследно для государственной жизни и для людей, связанных с Радзивиллами. Начиная роман против правил (по правилам его не должно было быть). Ведь оба — никоим образом не пара: он — наследник трона, она — молодая вдова Троцкого воеводы. Стать одной из любовниц королевича Варваре не позволяет принадлежность к сильнейшей фамилии Литвы, для королевской невесты ей не хватает знатности. Но виленские дворцы влюбленных стояли рядом, и Сигизмунд приходил на свидания с Варварой тайно. Братья Радзивиллы не замедлили указать королевичу, что его посещения бросают тень на честь семьи и что ему не следует входить во дворец в их отсутствие. Однажды, когда, по слухам, оба брата случились в отлучке, Сигизмунд нарушил слово. В полночь дверь спального покоя отворилась и вошли братья Черный и Рудый, держа руки на эфесах сабель. Следом шел ксендз... Брак был тайным; для своей семьи и польского государства Сигизмунд оставался холостяком. Но когда умер отец и решением сейма Сигизмунд-Август принял корону, то оказалось, что Польша должна принять королеву — литовку из свежее испеченного княжеского рода, воеводскую вдову.

Неожиданное появление нежеланной невестки ошарашивает любую семью; нетрудно вообразить чувства верхушки государства, для которой брак монарха всегда связан с расчетами самой высокой политики. Женитьба Сигизмунда ничего не принесла Польше, получилось, что Польша вошла в союз не с другим государством, не с королевской фамилией, а просто породнилась с Радзивиллами; гордость поляков была ущемлена очевидным неравенством, бессмысленностью этого брака с точки зрения государственных интересов. Но матерью Сигизмунда была королева Бона — итальянка из семейства Медичи; она разрешила ситуацию по обычаю своего рода — в ход пошел яд, и вскоре ненавистная ей невестка скончалась.

Хоть и коротко, но (по женской линии, «по кудели», как тогда говорилось) Радзивиллы побыли на королевском троне. Они вполне могли пытаться продолжить этот опыт «по мечу» — по мужской линии. Варвара была отравлена в 1551 году, двумя годами позже Радзивилл открыл первый кальвинистский збор (храм) в Вильне, в 1557 году собрался учредительный синод белорусско-литовских кальвинистов, а в 1563 году на Виленском сейме кальвинисты вытребовали у Сигизмунда привилей, уравнивающий в правах с католиками шляхту и бояр как «русской, так и всякой христианской веры», то есть и всех протестантов. Как светская и дешевая церковь протестантизм отвечал желаниям городского населения, проповедники его встречали понимание и поддержку ремесленников и купечества. И чтобы понять, почему она была дешева, приведем сохранившееся описание виленского збора: «вся зала, предназначенная для служб, затянута была черной тканью с белым крестом посередине и вторым, висящим на стене. На столе стояли два подсвечника». И все. Ни золота, серебра, скульптуры, росписей, иконостаса — словом, ничего ценного, дорогого, роскошного, что было обязательным атрибутом костела и что протестанты насмешливо называли «дубовыми богами», «липовыми иисусами», «болванами».

Но без богатых покровителей, без людей, согласных финансировать строительство зборов (храмов), содержать проповедников и учителей, открывать типографии, утверждать новую, пусть и более дешевую церковь было бы невозможным. Для такой церкви требовались священники, теологи, поэты — не любые, а образованные, энергичные, а такие люди не бывают послушными функционерами. В реальной жизни все накрепко переплетается — личные побуждения могут обретать силу государственных интересов, привлекать энтузиастов, мыслящих иначе, чем зачинатели и кураторы движения, и без страха нарушающих установленные им пределы ради утверждения своих идей. Отношение к протестантству, вообще цели и смысл жизни Будного и его меценатов в Белоруссии — Радзивилла, Воловича, Дорогостайского, Кишки — были различны. На какой-то срок их интересы соприкасались, но остаться ограниченным исполнителем Будный не мог: натура творческая, он обладал потребностью в самовыражении и верность истине считал за высшее достоинство.

Но одно дело испытывать душевное несогласие с тем, что есть, дивиться легковесности или неразумности многих догматов веры и другое — выразить свои чувства и мысли в позитивной системе. Первое легко переходит в скептическое равнодушие, второе требует кропотливого труда. Будный прослужил катехизистом два года и не потратил их впустую. Правда, и условия его службы были не худшими: занятия он проводил в воскресенье, вторник, пятницу по шесть часов после обеда, за что получал десять золотых в месяц и стол у министра (проповедника). Итак, он был беден, но владел достаточным временем для чтения, размышлений и споров. Здесь, в Вильне, он и открыл для себя уязвимые места христианского вероучения, по которым ударил в главных своих работах.

В 1560 году Будный назначается министром в Клецк, в город, принадлежавший Миколаю Радзивилу Черному, и с того времени его жизнь проходила в маленьких белорусских городах и местечках — Клецке, Несвиже, Заславле, Холхлове, Лоске, Ивы;. До нашего времени сохранились здания типографии в Несвиже, где он трудился. Много, к сожалению, исчезло. Лишь груда камней обозначает место Лоскского замка, где была друкарня, выпустившая лучшие книги белорусской Реформация.

Имеется единственное изображение Будного в книге иезуитского автора, шаржированный портрет в профиль — Будный в аду, в волнах кипящей серы. Но, видимо, какое-то подобие этот портрет сохранил. В нынешнем изобразительном искусстве есть несколько графических работ, посвященных мыслителю, а также скульптура (автор С. Горбунова) в Несвиже вблизи бывшей типографии Будного.

Назначение министром в Клецк было несомненным повышением. Будный получил право на проповедь, «взрослую» аудиторию; изменилось его материальное положение: ему был дан во владение двор с крестьянами, он получил собственный дом, прислугу, достаток. В двадцати верстах от Клецка был Несвиж, который при Миколае Черном обрел права второй столицы Великого княжества Литовского, поскольку Радзивилл добился королевского привилея держать в своем замке государственный архив. Большую часть времени Будный проводил именно в тех местах, где жили его просвещенные единомышленники — министр местного збора Крышковский и братья Кавечинские — управители города и замка. Это были люди деловые, и вместе с Будным они решили издавать книги. Миколай Черный выделил средства, и скоро в Несвиже возникла друкарня — вторая в Великом княжестве после скорининской и первая на собственно белорусских землях. Здесь в 1562 году выходят в свет «Катехизис, то есть наука стародавняя христианская от светого письма для простых людей языка русского, в пытаниях и отказах собрана» и «Оправдание грешного человека перед богом» — обе книги на белорусском языке. Двумя годами позже — «Беседа святого Юстина философа и мученика с Трифоном-иудеем» — на польском. Основным автором этих работ был Будный. В основу «Катехизиса» легли конспекты уроков, которые Будный давал в столичной кальвинистской школе (виленская община была белорусской по своему составу).

В несвижской типографии напечатаны и другие работы философа: «Апокриф», «О зачатии сына божьего», предисловие к так называемой брестской Библии. Затем типография переместилась в Заславль и Лоск, где вышли основные труды Будного: перевод Нового завета с комментариями, «О главнейших положениях христианской веры», «О светской власти». Будному принадлежат работы и на латинском языке. Помимо писем и стихотворных посвящений исследователи творчества Будного считают за ним более двадцати печатных произведений. В основном, это работы религиозного характера, но таков был дух XVI века — идеология еще носила теологическую форму.

Мировоззрение Будного принадлежало эпохе Возрождения; сам рациональный стиль мышления Будного противоречил ортодоксальному теологическому мышлению.

Издательское дело, начатое в Белоруссии и Литве Скориной и продолженное Будным, имело и политическое значение — владение книгой перестало быть привилегией духовной и светской элиты. Хотя бы в силу стоимости: цена печатной книги стала вчетверо-впятеро дешевле, что делало ее относительно общедоступной и идеологически действенной. К сожалению, многие произведения Сымона Будного не сохранились. Так, упомянутое «Оправдание грешного человека» не дошло до нас ни в одном экземпляре — весь тираж был предан огню в разгар Контрреформации. Считанные экземпляры сохранились от других изданий Будного.

...Первый книжный костер в Белоруссии и Литве, организованный виленскими

иезуитами, запылал в 1581 году. Стихийно такие дорогостоящие акции не осуществляются: надо утвердить список подлежащих сожжению книг, провести их скупку или выкуп с немалой, естественно, переплатой, собрать верующих, возбудить их гневные чувства, дать направление действию их предрассудков и тому подобное. В костер бросали книги всех инаковерующих авторов, но прежде всего — арианскую литературу. Труды Будного летели в огонь первыми, поскольку автор черным по белому отрицал божественное происхождение Христа, считая его простым смертным, талантливым истолкователем Библии, героем и мучеником своей проповеди, а саму Библию трактовал как литературный памятник древности. Непризнание предвечности Христа автоматически вело к отрицанию бога, так как в христианстве Христос — неотъемлемая часть Троицы. Нет сына божьего — нет Троицы, первого и второго сошествий, конца света и т. д. Кому и какими словами молиться? Как позитивно представить бога, если убирается его антропоморфная ипостась? Как дерзкое кощунство воспринималось и отрицание бессмертия души, загробного мира, ада и рая. «Душа есть не что иное, как человеческая жизнь,— писал Будный,— мнение, что якобы существует какая-то душа, которая после испытаний смерти испытывает муки или веселится на небе, является басней».

Будный не был одинок в таких взглядах; того же мнения придерживался, например, современник Будного, великий французский мыслитель, автор знаменитых «Опытов» Мишель Монтень. Правда, не они выступили здесь открывателями: сама идея конечности души зародилась тысячелетием прежде — в среде истолкователей Аристотеля. Не были новыми и идеи Реформации; выступления Лютера, а затем Цвингли и Кальвина вовсе не явились откровенными. К этому времени идеи необходимости религиозных и церковных преобразований имели за собой почти двухвековую историю, своих широко известных выразителей, среду и традицию.

Основания реформационного учения заложили философы Дуне Скот (1266—1308), который заключил, что между миром и богом нет никаких отношений необходимости и что бессмертие души — одна из недоказуемых истин веры, а также Роджер Бэкон (1214—1294) и Вильгельм Оккам (1300—1349), которые отделили науку от теологии, разум от веры, считая, что нельзя доказать логикой сотворение мира богом и бытие бога.

Немецкие мистики XIV века Экгардт и Таулер перенесли акцент богопонимания в область внутреннего религиозного опыта, что сделало мистическое содержание бога доступным каждому, а не только клиру. Мистическое учение ставило личность человека рядом с богом, позволяло их непосредственное — без пособия священника — единение. Широкая увлеченность этими идеями философов и мистиков вызвала потребность в личном знакомстве верующих с Библией — и возникли переводы Нового завета на народные языки, а также так называемые пленарии, то есть объяснения евангелий и посланий апостолов, тоже на народном языке. Печатный станок Гутенберга позволил сделать эти переводы общедоступными. Но одним из главных основоположателей Реформации был монах Марсилиус Падуанский, который в 1324 году выступил с программой необходимых изменений. Марсилиус оспаривал власть духовенства отпускать грехи, утверждал, что оправдание идет через веру, а не через дела, которые могут и не выражать веры, требовал уравнивать власть папы римского со всеми священниками, отказаться от религиозного принуждения и тем более от уголовного наказания церковью за еретизм. Он отнимал у церкви всю область светских интересов, уравнивал мирян с духовенством.

Реформация XVI столетия развила идеи Марсилиуса в духе отношений индивидуума и церкви, а не только отношений государства к церкви и общины к государству. Но суть,

разумеется, не столько в новизне или древности идей, суть — в их интерпретации; в XVI веке рациональные объяснения мира приводили к утверждению качественно других науки и морали. Выбрасывая из морали идею загробного воздаяния, Будный тем самым менял основу нравственности. Все должно объясняться естественными причинами. Разум не подчиняется вере ни в чем. На веру принимается лишь то, что подвластно рациональному толкованию.

Внимание к Будному, к его философскому наследию — заслуга нашего века. Сейчас история Реформации и Контрреформации, история культуры XVI столетия, история научного освоения Библии немыслимы без обращения к трудам этого смелого мыслителя. Анализ творчества Будного посвящены многие работы белорусских ученых.

Будный родился и действовал в интересную, драматическую эпоху, ею был воспитан и ответил на ее высшие духовные потребности. Дело его и имя исчезли из культурного обихода следующих поколений не потому, что он жил раньше, чем должен был жить, и что он жил в «медвежьем углу» Европы. Отважившись на научную критику священного писания, Будный не нашел бы признания и успеха ни в одной стране Европы. Более того, в любой другой европейской стране его жизнь и судьба были бы в большей опасности. Как раз в Белоруссии и Литве в силу исторически сложившегося сосуществования двух, а затем трех церквей — православия, католичества, протестантства — выработались нормы веротерпимости, по крайней мере, религиозного равнодушия. Здесь религиозная борьба никогда не принимала таких жестоких форм, как в Западной Европе, и религиозные гонения никогда не были так суровы, как в Московской Руси, где господствовала идеология одной церкви. Здесь не рубили голов, не бросали в подвалы, не посылали на костер инаковерующих. Чтобы ощутить это различие, достаточно припомнить Варфоломеевскую ночь в Париже, когда католики вырезали двадцать тысяч протестантов и развязали религиозную войну, длившуюся два десятилетия; или тридцатилетнюю войну в Германии; или драматическую борьбу английских сословий со Стюартами; или беспрецедентный поступок испанского короля Филиппа II, который объявил еретиками все население Нидерландов.

Религиозное вольномыслие не прощало Иваном Грозным. О существовании в Москве двух церквей или хотя бы разных течений православия не допускалось и мысли. Уличенный в протестантских воззрениях дворянин Федор Башкин был публично сожжен, его брат Матвей попал в монастырскую тюрьму; из Москвы на Витебщину бежал реформатор православия Федосий Косой, где взгляды его получили распространение в среде городского населения; известный вождь нестяжателей старец Артемий оказался на Соловках, откуда, правда, ему удалось бежать в Белоруссию. Он жил в Слуцке, поблизости Клецка и Несвижа, и Будный вел с ним оживленную переписку, посылал ему свои книги; возможно, они и встречались. Любопытно отметить, что Артемий, сам будучи еретиком, обвинял Будного в желании «разрушить Христову веру злодейскими методами дьявольского замысла и подлога».

В Речи Посполитой, а точнее, на землях Великого княжества, до Контрреформации не было даже книжных костров; они зажглись, когда стала развиваться католическая экспансия.

Начало Контрреформации в Белоруссии и Литве датируется 1564 годом, когда в Вильню явилась первая партия иезуитов. По странной случайности их оказалось тринадцать человек — чертова дюжина. «Чертово семя», — называл иезуитов Будный. И действительно, они показали необычную энергию. Через двадцать лет иезуиты на землях Великого княжества насчитывали уже 300 человек, причем 250 из них были местного происхождения.

Неправильно представлять деятельность иезуитов только черными красками. Им принадлежит несомненная заслуга в развитии образования: они создали на территории Белоруссии и Литвы широкую сеть коллегий, где практически могли учиться все желающие. Иезуиты смогли организовать и содержать первое в Восточной Европе высшее учебное заведение — Виленский университет. Инициаторами создания университета выступили протестанты, но осуществить свой замысел им не удалось. В постановке школьного дела иезуиты превзошли всех иноверцев; единственно арианская Ивьевская школа не уступала их коллегиям. Ректором школы в Ивье был известный философ и писатель Ян Лициний Намысловский, близкий друг Будного. Как полагают исследователи, Будный был редактором «Поучительных сентенций» — учебника, написанного Намысловским специально для своей школы.

В пропаганде своих идей Будный использовал любую возможность и проявил настоящее подвижничество. Он посылает свои работы и письма в Швейцарию деятелю Реформации Генриху Буллингеру, в Англию историку Дж. Фоксу, полемизирует с цюрихским профессором теологии Иосиасом Симлером. Будный не ограничивается только писанным словом. Он — проповедник, он любит живое общение, встречи с людьми и противниками; спор, устное слово, победа в диалоге перед слушателями дают то удовлетворение реально ощутимой стычки идей и мыслей, рождения аргументов, которые не может дать замкнутая писательская работа. То он едет под Лепель к Василию Тяпинскому, то в Брест, то в Вильню на встречу с Петром Мстиславцем, то на синод в Венгров, то на диспут в Новогрудок. Вместе с единомышленником Фабианом Домановским Будный приезжает для диспута с иезуитами в Полоцк, где с 1584 года действовала коллегия. Диспуты привлекали шляхту, горожан, а Полоцк (занятый в 1561 году войсками Грозного и вновь отобранный Баторием в 1579 году) представлял для антагонистов необжитую территорию, где каждый надеялся взрастить семена своих представлений. Не много преуспели в этом иезуиты, но еще меньше ариане: в Полоцке был открыт один протестантский — кальвинистский — збор, да и то захудалый, арианские же воззрения там сторонников не завоевали.

Вообще во всем полоцком воеводстве действовало пять зборов, в витебском — семь, в брестском — восемь, в минском — одиннадцать, в мстиславском — два. Главными оплотами ариан являлись новогрудские земли и обширные владения каштеляна Ивана Кишки, которому принадлежало более 70 городов и местечек и почти 400 деревень, в том числе Лоск и Ивье — эти значительные центры просвещения в Белоруссии. По смерти Кишки в 1592 году наследники его вопреки оставленному каштеляном завещанию стали передавать арианские зборы кальвинистам. Прекратила работу Ивьевская школа — детище многолетних стараний Будного и его друзей, утратили полемическую остроту издания лоскской типографии, славу которой создали издания Будного. Этот чувствительный удар по арианам ослабил общие позиции реформационного движения в Великом княжестве Литовском перед натиском иезуитов.

Победа Контрреформации в Белоруссии и Литве была обеспечена не только усилиями иезуитов или католической церкви в целом. Необходимые условия для поражения Реформации создала здесь Люблинская уния 1569 года, объединившая Польшу и Великое княжество Литовское (то есть Белорус-^сию, Литву и Украину) в единое федеративное государство. Потеря государственной автономии, утрата огромных и лучших территорий (поляки во время переговоров силой заняли Волынь и Подляшье) не могли не представляться белорусско-литовской магнатерии и шляхте поражением дела, которое еще недавно казалось им выигрышным. Уния была давним стремлением Польши; на бумаге первая уния зафиксирована в 1385 году в Крево. Однако устремления

панства, шляхты, народа Великого княжества не давали осуществиться унии реально и полностью. Польша продиктовала тяжелые условия Люблинской унии, когда Великое княжество обескровилось в Ливонской войне, в стычках на восточных и южных границах, во время военных действий в Прибалтике. Осознание новой политической реальности, перемены сил выразилось в переходе в католицизм многих иноверцев. Разумеется, не все переходили, не повально; православных вообще в католичество ушло мало, большая их часть оказалась в униатстве, но это — дело следующего века. Не перешли или не вернулись поначалу и самые сильные магнаты. Более того, даже пытались сопротивляться. Например, в 1579 году, когда король Стефан Баторий дал иезуитам диплом, превращавший виленскую коллегия в академию (университет), то канцлер Миколай Радзивилл Рудый, хранивший большую печать Княжества, и подканцлер Остафий Волович — владелец малой государственной печати, оба — протестанты, отказались приложить печати к этому документу, без чего он не мог войти в силу.

К месту сказать, что Волович был протектором Будного, дружил с ним и, верно, испытал его духовное воздействие. Показательно завещание Воловича, которое объявляло свободу холопам. Другим влиятельным меценатом Будного был виленский каштелян Иван Кишка, владелец Лоска и Ивья, фундатор лоскской типографии. Покровительство этих белорусских магнатов позволило Будному опубликовать такие произведения, против публикации которых выступало руководство польского крыла ариан.

По иронии судьбы одним из первых вернулся в католицизм сын Миколая Радзивилла Черного — Миколай Крыштоф Сиротка. Обращение молодого князя в «истинную» веру было заслугой первого ректора виленского университета Петра Скарги — человека очень одаренного, умного, деятельного пропагандиста идей церковной унии, убежденного противника протестантизма. После важной победы Скарги иезуиты прильнули к Радзивиллам несвижской линии и, угождая самолюбию рода, породили ряд панегирических легенд. Одна из них утверждает, что фамилию Радзивилл один из предков получил от Гедимина за то, что радму (советовал) построить замок и город на реке Вилни (Вильню).

При Сиротке все кальвинисты и ариане покинули Несвиж, Клецк, Ишкольд, Койданово. Многолетние труды арианских проповедников — и Будного в том числе — на этих землях оказались напрасными.

Вообще после Люблинской унии развитие протестантизма прервалось, наступление сменилось обороной, постепенной утратой былого значения и влияния. В самом невыгодном положении очутились ариане, выступавшие с максималистской критикой существующего государственного устройства. Идеологи арианства проповедовали социальное равенство, освобождение крестьян, раздачу богатства бедным, отказ от занятия должностей и воинской обязанности. На таких началах была образована Раковская арианская коммуна, куда стеклось немало шляхты и горожан Польши, Белоруссии и Литвы. Но для живого социально-политического движения эта нанвно-утопическая программа была неприемлемой: о каком освобождении крестьянства могла идти речь, если, наоборот, усиливалась его эксплуатация. Полное закрепощение крестьян в Польше утвердил сейм 1573 года, а на землях Великого княжества — III Статут в 1588 году. Состояние крестьян было столь тяжелым, что за облегчение мужицкой доли выступали и католические публицисты. В зверском отношении к крестьянам обвинял шляхту Петр Скарга, первый ректор Виленского университета, а затем — королевский проповедник. Но призывы к гуманности бесполезны, если облегчение ярма грозит уменьшить доходы. Крепостное право только входило в силу, ему было отмерено для



действия почти три века, и обращение к шляхте дать волю крестьянам, уравниваться с ними вызывало лишь злость.

Предательством патриотических интересов воспринималась и пропаганда неучастия в войнах. С 1558 года шла Ливонская война. В 1561 году Великое княжество Литовское победило Ливонский орден и взяло под свою власть орденские владения. Но двумя годами позже войну против Великого княжества начал Грозный, и она с переменным успехом длилась двадцать пять лет. Пацифистская проповедь грозила арианам полной изоляцией.

Будный показал себя политическим реалистом, когда на синоде в Ивье выступил против жесткости социальных установок своей партии. Собственные взгляды по социально-политическим вопросам он изложил в книге «О светской власти», напечатанной в 1583 году. Небезынтересно, что в книге приводится протокол синода двадцатилетней давности, то есть Будный вел дневник или владел обширным архивом, которым дорожил и творчески пользовался. К сожалению, бумаги просветителя не сохранились: либо он сам уничтожил их в последние годы жизни, когда бедствовал и скитался по дворам друзей, либо они были затеряны в следующем поколении.

Публикация работы «О светской власти» была вызовом арианской общине, которая годом раньше исключила Будного из своего состава «за безбожные убеждения и действия». Конкретно Будный был лишен сана министра за самовольную, без цензурного чтения в общине, публикацию сочинений Якова Палеолога, взгляды которого разделял, и за выступления против молитв, обращенных к Христу. Синод 1584 года оставил в силе решение об отлучении Будного и потребовал от покровительствующего ему Кишки порвать с ним отношения. Поддерживать Будного материально Кишка не перестал, но, уступая желанию руководства общины, закрыл для него доступ в типографию. Исключение из общины считалось равносильным объявлению вне закона, лишение сана — лишало и аудитории: для человека деятельного, заинтересованного в слушателях — это большая утрата. Найти нового, смело думающего и действующего мецената в восьмидесятые годы уже было невозможно. Не желая оставаться вне дела, Будный свои наиболее крайние взгляды смягчил и в 1588 году в Бресте примирился с «братьями».

Но и публикация полемических работ, приведших к отлучению, и тактический зигзаг с примирением не были сугубо личным делом Будного. Он выражал мнение своего крыла и, можно думать, совершал эти действия после долгих совещаний с друзьями. Близким другом Будного был белорусский просветитель Василий Тяпинский, в доме которого Будный читал единомышленникам рукопись своей работы «Об основных положениях христианской веры». Верно, и Тяпинский в ответ читал рукопись сделанного им перевода «Евангелия» на белорусский язык.

Дружил Будный и с известным историком и поэтом Мацеєм Стрыйковским. Одним из ближайших товарищей Будного был философ Андрей Волан, живший неподалеку от Воложина. Близкие отношения связывали Будного с поэтом и переводчиком Киприаном Базиликом.

Как заинтересованный книгоиздатель встречался Будный с Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Все это были люди талантливые, большинство — с лучшим европейским образованием, просветители и гуманисты; им было что обсудить и о чем поспорить.

Широкая известность Будного раздражала его противников, и иезуиты пустили в оборот ряд небылиц, призванных умалить личность философа. Например, бытовал рассказ, что возвращавшиеся с войны против Грозного солдаты, проходя деревню, где жил Будный, выволокли его на улицу и хотели зарубить за хулу на Христа, но будто бы

Будный, видя жало сабли над головой, отрекся от своих арианских убеждений. Нападение пьяных, подученных кем-либо солдат и впрямь могло иметь место, но отречение — явная выдумка, та мечта иезуитов, которая никогда не осуществилась. Будный при твердости своих взглядов и нравственной строгости такое унижение не принял бы и ради жизни. Против философа назначено было послужить и пародированное описание иезуитским автором Фрибелиусом последних дней Будного: «...уже за два года до смерти он совсем обезумел, не хотел ничего знать и слышать ни о боге, ни о Христе; даже за три дня до смерти он страшно ревел, наполняя криком двор пана Льва Маклока и его соседей. Но когда управитель этого имения пан Витковский убеждал его, чтобы в последние дни обратился к богу ... он словил его руки... и сказал: «Клянусь моей душой, я не Признаю бога, не знаю ничего о боге, клянусь моей душой, я не признаю Христа и совсем не думаю о нем». По мнению Фрибелиуса, слова и муки Будного свидетельствуют о его сумасшествии и божьей каре за еретичество. Но если запись правдива, то ясно, что Будный сохранял свои убеждения до последнего часа и не отказался от них даже в страданиях смертельной болезни.

Умер Будный в 1593 году. Несколько лет оставалось до Брестской церковной унии; уже под Быхов и Могилев приходили казацкие отряды Голого и Матюши, провозвестив близкое начало народной войны за свою свободу и веру.

Строгое и реальное мышление не позволило Будному обманываться в итогах дела, которому он отдал все силы. Ничто из того, что в молодые годы казалось близким к осуществлению, не осуществилось: на королевском троне вместо просвещенного монарха сидел ограниченный и надменный Сигизмунд Ваза — «иезуитский король», как он себя называл; должностные лица державы — воеводы, каштеляны, старосты, обязанные утверждать справедливость, сплошь были грабители и лихоимцы; вместо уважения к человеческому достоинству наблюдалось бесстыдное насилие сильного над зависимым; народное образование, призванное обогатить духовную жизнь каждого, ограничилось образованием шляхты и сосредоточилось в руках иезуитов; труды Будного сжигались на кострах; недавние «братья» проявляли такую же нетерпимость, как и противники; взамен свободы самовыражения, взамен знания старательно насаждались предрассудки, тупая вера, фанатизм.

Счастливы люди, которые на закате дней могут сказать себе, что труды их приняты последователями и что жизнь их не обманула. Какую же горечь должен испытывать ученый, просветитель, общественный деятель, видя обратное! Какая надежда согревает его? Каким смыслом он живет? Одним — верой в будущее, которое окажется более разумным, проявит более доброты и участия к людям, внимания к истине, стремления к добродетели. «Жребий брошен,— писал Сымон Будный, выступая с критикой Нового завета,— но все же я уверен, что труд мой лучше оценят потомки».

Так и случилось.

## Честь

Брестская церковная уния оказалась тем роковым событием, которое приобрело чрезвычайное значение в политической жизни Речи Посполитой и стало одной из главных причин народного восстания 1648 года, переросшего в многолетнюю войну нескольких государств и народов.

Сама по себе здоровая вроде бы идея объединения «римской» и «русской» церковей в

исполнении церковных политиканов и государственных волонтаристов привела к катастрофическим результатам. Объединение церквей, проходившее насильственно и ложно, не заменило православной церкви на униатскую, а привело к появлению еще одной церкви, что, естественно, лишь усилило религиозную борьбу в Белоруссии и на Украине. Насилие, испытываемое православной церковью от униатов, католической церкви и королевской власти, вызвало соответствующий отпор православного населения, которое выдвинуло из своей среды ряд вождей и героев. Одним из них был писатель и публицист, игумен Симеоновского монастыря в Бресте Афанасий Филипович.

В историю белорусской культуры он вошел как автор «Диариуша» — выдающегося литературного произведения первой половины XVII века. Филипович известен не только как писатель. Волею судьбы он оказался причастен к любопытной и драматической истории одного из самозванцев, претендовавших на московский трон. Но более Филипович известен как непреклонный борец за духовную свободу белорусского народа, как человек незаурядной воли.

Когда возникает общественная потребность в защите вековых ценностей, общество с обязательностью выставляет на поприще борьбы своих подвижников, людей мощного духа, которые способны стать мучениками и собственной кровью освятить народное дело, дать пример самоотверженного ему служения. XVII столетие было временем грозного испытания духовной крепости белорусского и украинского народов, и Филипович стал выразителем их коренных интересов. В силу своего социального положения — духовное лицо, монастырский игумен — он не возглавил группу, отряд, партию, а действовал в одиночку. Но это не означает, что Филипович был одинок, — народная война, в самом начале которой он мученически погиб, — лучшее свидетельство того, что служил он правому делу и знал за собой поддержку тысяч и тысяч единомышленников.

О происхождении Филиповича достоверных сведений нет. Твердо известно лишь одно — он был белорус. Год его рождения — 1597 — высчитан по косвенным данным. Предположение, что он происходил из семьи ремесленника, равно как и предположение его шляхетского происхождения, носит умозрительный характер, но есть больше оснований думать, что Филипович был родом из бедной шляхетской семьи, будь он «плебейских кровей», то едва ли получил бы приглашение в домашние наставники к «царевичу Дмитриевичу» — якобы сыну Лжедмитрия I и Марины Мнишек. В случае выхода «царевича» на арену большой политической игры имя домашнего учителя всплыло бы для общего знания, и обучение самозванца лицом «неблагородного» сословия стало бы большим изъясном его репутации и чести.

Неизвестно также, где учился Филипович. Начальное образование он мог получить в одной из братских школ, но высшее скорее всего получил в Виленской академии, куда иезуиты принимали молодежь любого христианского исповедания. Там, например, обучался известный православный деятель, автор первой белорусской «Грамматики» Мелетий Смотрицкий. Подобно тому, как Смотрицкий был приглашен домашним учителем к белорусскому магнату Соломерецкому, так канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега пригласил Филиповича наставником для «царевича московского». Это случилось в 1620 году, и семь лет Афанасий Филипович обучал «царственного» отрока наукам «церковнорусским» и вообще вел его воспитание.

Настоящее имя воспитанника было Ян Фаустин Луба. Его отец — подляшский шляхтич — участвовал в походе Лжедмитрия на Москву и привел туда сына. После гибели отца ребенка взял на попечение друг отца Белинский. В 1644 году на запросы московских послов в Варшаве Ян Фаустин отвечал, что узнал от Белинского о своем происхождении в зрелые годы. Белинский рассказал юноше, кто настоящий его отец, и о

том, что «царевичем московским» его называли «для всякой причины». Поскольку в Москве сына Марины Мнишек хотели повесить, то он, Белинский, думал сына Марины выкрасть, а на повешенье отдать Яна Лубу. Замена не удалась (сын Марины и Лжедмитрия был повешен), и Белинский, не желая признаваться в своей неудаче, представил Яна Фаустина королю и раде как спасенного «царевича». Кто помимо Белинского знал правду, неизвестно; многие верили в это чудесное спасение, а кто не верил, смущался в своей неверии поистине королевским содержанием Лубы — ему назначили шесть тысяч золотых годового содержания. Верил, безусловно, в истинность этой легенды и Филипович.

За семь лет он накрепко привязался к своему подопечному, полюбил его, заботился о нем, входил даже из-за него в мелкие конфликты с Сапегой, при дворе которого «царевич» жил. Конечно, нельзя сбросить со счетов естественное самолюбие человека, которому доверили нравственное и интеллектуальное воспитание сироты убиенных «царственных» родителей. У «царевича Ивана», сложись по-другому политические обстоятельства, были бы шансы сесть на трон в московском Кремле. По крайней мере, так мог думать Филипович: ведь Михаил Романов в сравнении с «Дмитровичем» имел меньше прав на престол: «Дмитрович» все же, согласно фальсификации, приходился внуком Ивану Грозному, был Рюрикович, прямой наследник древней династии.

Но когда сумму содержания царевича уменьшили с шести тысяч до ста золотых и особенно когда канцлер Сапега обмолвился об истинном происхождении «Дмитровича», Афанасий Филипович, как он записал в своем «Диариуше», понял следующее: «Ляцно познати каждому, гды бы был з Мнишковны, воеводзианки сендомирской, Дмитровичом. Значная есть фамилия их милостей панов Мнишков! Як пан кухмистр коронный, староста Осецкий, и иншие одозвали бы ся в повиновацтво; гды ж то великая реч быти правдивым царским сыном. До того еще з уст небожчика Сапеги, гетмана, слышалам, гды педагогом был. Просилем килима обить ему над лужком, теды голосно з гневом рек: «На що обитя над лужком? Хто его ведает, хто он есть?! Я на то реклем, не вежаючи: «Шляхетские детки при педагогах своих школьные пытаются, в кого бы был в опеце». То он помысливши, заледве казал килимок и колдерку купити».

Судя по дальнейшему, Филипович в тот миг испытал настоящее потрясение. Он был человек искренний, честный, и открытие, что он служил нечестному делу, темной игре королевской политики, что его знания и чувства использовались не для справедливости, доставило ему мучительные переживания. Он счел себя грешным и решил порвать со светской жизнью. В 1627 году Филипович принял монашество в виленском Святодуховском монастыре. Ему было тридцать лет. В монастыре «злые видимые и невидимые духи» его терзали. Филипович был человек эмоциональный, деятельный, для тишины монастырской жизни неприспособленный, не для этого рожденный. Психическая подвижность, отзывчивость на злободневные заботы, потребность живого участия в реальном действии сразу выдвинули его в круг деятелей православной церкви.

Здесь уместно затронуть ту ситуацию, которая сложилась и развивалась в Белоруссии и на Украине после Брестской церковной унии и вообще те основы, на которых уния была построена и провозглашена.

Сама идея объединения католической в православной церковью была старой и в Великом княжестве Литовском. Ее пытался осуществить еще Витовт. Однако на высшем уровне — Рим — Константинополь — договоренность не удавалась никак. Поэтому исполнение унии в одном государстве — в Речи Посполитой — носило не религиозный, а сугубо политический характер. Содержанием унии было религиозное укрепление государственного единства; сложившуюся федерацию Польши, Литвы, Белоруссии и

Украины разрывала разность религий населения, и королевское правительство стояло, разумеется, за вероисповедальную однородность. Католическая церковь видела в унии средство победы над православием и немало потрудились, чтобы этого добиться. Еще в 1577 году Петр Скарга издал сочинение «О единстве церкви божией и о греческом от сего единства отступлении», в котором убеждал, что есть три причины, вследствие которых в русской церкви никогда не будет порядка. Это — женитьба священников, которые, имея семью, пекутся о мирском; старославянский язык церкви, на котором никто в мире не говорит и не пишет; наконец, вмешательство светских людей в церковные дела. Главные условия унии Скарга видел в том, чтобы митрополит киевский принимал благословение не от константинопольского патриарха, а от папы, чтобы каждый православный во всех положениях веры согласился с римской церковью и признавал верховную власть Рима; обряды же церковные могут оставаться прежними.

Но призывы Скарги повисали в воздухе, пока не нашлись в православной церкви люди, увидевшие в унии источник личного благополучия. Такие возможности были связаны с тем, что некоторые епископии были очень богаты и давали большие доходы. Их даже старались передать по наследству как личную собственность. Например, львовский епископ Арсений передал епархию своему сыну Гедеону Балабану, и тот смотрел на нее, как на семейное владение, в связи с чем вел себя самовластно. В 1585 году антиохийский патриарх Иоаким благословил учреждение братства во Львове, что очень не понравилось Гедеону, и он стал незамедлительно противодействовать братчикам. Те пожаловались патриарху, и Гедеону поступило патриаршее предупреждение: «...не смей ничего говорить против Львовского братства, на котором бог почивает и славится, и если услышим, что ты возбраняешь дела благи я, то будешь отлучен, а потом и другому церковному наказанию подвергнешься». Оскорбленный Гедеон принял точку зрения Скарги, что уния освободит его от вмешательства братства, и высказал львовскому католическому епископу желание принять унию.

В 1589 году константинопольский патриарх Иеремия, возвращаясь из Москвы, где был вынужден Годуновым учредить патриаршество, поставил киевским митрополитом минского священника Михаила Рагозу, но одновременно дал экзаршество — старшинство над всеми епископами — луцкому епископу Кириллу Терлецкому. Последний, однако, чувствовал себя недовольным, поскольку, являясь наместником патриарха, был вынужден делить власть с митрополитом. К тому же луцкий староста Александр Семашко, недавно перешедший из православия в католичество, проявляя свою преданность новой вере, занял соборную православную церковь, изгнав из нее Терлецкого, и устроил в церкви танцы, а гайдукам приказал стрелять в купол и православный крест.

Терлецкий подумал и решил принять унию. Единомышленники отыскались быстро. Королю Сигизмунду III была послана грамота:

«Мы, нижеподписавшиеся епископы, желаем признавать пастырем нашим и главою наместника святого Петра святейшего папу римского... но желая быть в повиновении у святейшего отца папы, мы желаем, чтобы оставлены были нам все церемонии службы и порядки, какие издавна церковь наша святая восточная держит, и чтобы его королевская милость вольности нам грамотами обеспечил... а мы обязуемся быть под властью и благословением отца папы и лист этот с подписью наших собственных рук и приложением печатей дали мы брату нашему старшему, отцу Кириллу Терлецкому, экзарху и епископу луцкому и острожскому. Подписали: Кирилл Луцкий, Гедеон Львовский, Леонтий Пинский и Дионисий Холмский». Король радостно отвечал:

«Мы, государь, им самим, епископам, пресвитерам и всему духовенству церкви

восточной и религии греческой обращаемся за себя и за потомков наших, что если бы кто-нибудь из патриархов и митрополитов наложил на них клятву, то эта клятва им и всему духовенству ни в чем не будет вредить... обещаем приумножить к ним ласку нашу, придавая им и каждому, кто склонится к у ни и, свобод и вольностей в той же мере, в какой имеют их и римские духовные...»

К этим вершителям унии присоединился владимирский епископ Ипатий, бывший до того каштеляном брестским, его настоящее имя было Адам Потей. В конце 1595 года Терлецкий и Потей поехали в Рим, и здесь, в Константиновом зале Ватиканского дворца, за два дня до рождества Христова папа объявил о воссоединении восточной церкви с римской. Потей и Терлецкий целовали папе туфлю...

Отъезд Терлецкого и Потей в Рим с предложением унии послужило поводом к восстанию Северина Наливайко и Лободы. Оно непосредственно связано с защитой интересов православного населения Великого княжества. Недаром в войске Наливайко было знамя с надписью «Мир христианству, а на зачинщиков Бог и Крест». В 1595 году казацкие загоны Наливайко вошли в Белоруссию, осадили Слуцк, взяли выкуп с его жителей католиков, овладели Добрушем и Могилевом. Отряды Наливайко пополнялись за счет крестьян и православной шляхты. От Могилева Наливайко направился к Пинску, который взял с помощью населения. Действия восставших столь сильно обеспокоили королевскую власть, что против него было послано регулярное войско под началом гетмана Жолкевского. У Белой Церкви казаки и Жолкевский встретились, битва длилась день и кончилась полной победой Наливайко. Но во второй битве у реки Сула Наливайко и Лобода потерпели поражение, причем сам Северин попал в плен. Его и других полководцев отправили в Варшаву, где они взошли на эшафот; самого Северина заживо зажарили в специально изготовленном медном быке.

Зимой 1596 года проходил в Варшаве большой сейм, и православная шляхта дала своим депутатам наказ просить короля, чтобы епископы, отступившие от православной веры, были лишены сана. Но король не принял просьбы. Тогда депутаты торжественно заявили сейму, сенату и королю, что они и весь народ православной веры не станут признавать Терлецкого и Потей епископами и не станут им подчиняться. В противовес Сигизмунд 111 издал манифест о совершившемся соединении церквей.

В октябре 1596 года в Бресте собрался церковный собор, на котором помимо белорусских и украинских епископов присутствовали Троцкий воевода Миколай Радзивилл, канцлер Лев Сапега, королевский духовник Петр Скарга. Но с первого часа собор разделился на два: православные заседали отдельно, униаты — отдельно, причем митрополит заседал с униатами. Православные епископы несколько раз за ним посылали, но он не являлся; наконец на третье посольство пришел от униатов такой ответ: «Что сделано, то сделано; хорошо ли, дурно ли мы сделали, поддавшись римской вере, только теперь уже переделать этого нельзя». Православные издали декрет: митрополит и владыки полоцкий, владимирский, луцкий, холмский и пинский лишаются сана, потому что самовольно задумали соединение церквей, которое может быть решено не пятью владыками, а только вселенским собором. В ответ митрополит и епископы-униаты издали декрет о лишении сана и проклятии епископов, отвергших унию.

Против унии выступил выдающийся публицист того времени Иван Вишенский:

«Зачем именем христианским называть себя бесстыдно дерзаете, когда силы этого имени не храните?.. Да будут прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили и фольварки себе из мест святых поделали, сами с слугами своими и приятелями в них телесную и скотскую жизнь провождают; на местах святых лежа, гроши собирают с доходов, данных богомольцам христовым, дочерям своим

приданое готовят, сыновей одевают, жен украшают, слуг умножают, кареты делают, лошадей сытых и одношерстных запрягают; а в монастырях иноченского чина нет, вместо бдения, песнопения и молитвы псы воют».

Вишенский писал Рагозе, Потей, Терлецкому:

«Спросил бы я вас, что такое труд очищения? Но вам и не снилось об этом; не только вы этого не знаете, но и ваши папы иисусоругатели, так называемые иезуиты, о том не пекутся и ответа дать не могут... Который из вас прошел первую ступень подвижничества? Не ваша ли милость веру делами злыми наперед еще разорили? Не ваша ли милость воспитали в себе похоть лихоимства и мирского стяжания? Насытиться никак не можете, а все большею алчностью и жаждою мирских вещей болеете... Который из вас, в мирской жизни будучи, шесть заповедей Христовых сам собою исполнил? Не ваша ли милость эти шесть заповедей не только в мирском чину разорили, но и теперь в духовном беспрестанно разоряете? Сами как идолы на одном месте сидите, а если и случится этот труп обидолотворенный на другое место перенести, то на колеснице бескорбно переносите, а бедные поддатные день и ночь на вас трудятся и мучаются. Где вы больным послужили? Не ваша ли милость больных из здоровых делаете, бьете, мучите, убиваете? Постучись в лысую голову, бискуп луцкий! Сколько ты во время своего священства человеческих душ к богу послал? Его милость кашталян Потей, хотя и кашталяном был, но только по четыре слуги за собою волочил, а теперь, когда бискупом стал, то больше десяти начтешь; также и его милость митрополит, когда простою рагозиною был, то не знаю, мог ли держать и двух слуг, а теперь больше десяти держит».

Действительно, духовными побуждениями творцы унии не руководствовались. Уния служила целям католизации и ополячивания, о чем свидетельствует реакция православных магнатов, быстро сориентировавшихся, что выгодно поскорее порвать с православием и невыгодно принимать роль его защитников. Начало XVII века отмечено повальным переходом в католичество знатных и древних Православных фамилий Великого княжества: Острожские, Слуцкие, Заславские, Сангушки, Пронские, Рожинские, Соломерецкие, Головчинские, Вишневецкие, Масальские, Пузыны, Ходкевичи, Глебовичи, Горские, Соколинские, Лукомльские, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Воловичи, Зеновичи, Тыпкевичи, Потей, Скумины, Корсаки, Семашки, Гулевичи, Калиновские, Мелешки, Павловичи и др. За ними последовала не столь знаменитая шляхта, и в целом православная церковь понесла ощутимый урон своей силы и опоры. Не случайно поэтому Мелетий Смотрицкий в 1610 году в Минске написал знаменитую свою книгу «Фрянос или плач вселенской восточной церкви». Это сочинение произвело огромное воздействие как на православных, так и на католиков. Сигизмунд III распорядился сжечь тираж книги, а самого автора найти и судить. Смотрицкого спасло, что книга вышла под псевдонимом Теофил Ортолог. «Каждое слово в «Плаче»,— писал католический священник,— есть жестокая рана, каждая мысль — смертельный яд для унии и папства, а потому не одни схизматики, но и еретики-протестанты с радостью приобретали и перечитывали эту книгу. Иные берегли ее как сокровище и завещали своим детям, как драгоценное наследие; а из православного духовенства некоторые ставили сочинение Смотрицкого наравне с творениями святых отцов и готовы были пролить за него «кровь».

В 1617 году Мелетий постригся в монахи Святодуховского монастыря в Вильно и скоро стал его настоятелем, а спустя четыре года был поставлен в полоцкую епархию епископом. Это ответственное назначение Смотрицкого произошло при необычных обстоятельствах. В 1620 году в Великое княжество приехал патриарх Феофан и здесь по

просьбе православных священников, без согласования с королевской властью, поставил во все епархии православных епископов. Вообще, войдя в нужды и бедствия православного населения, он постарался насколько мог противодействовать делу унии. Например, случком Преображенскому братству, имевшему шпиталь, школу и библиотеку, Феофан дал ставропигию — право подчинения не местным церковным властям, а непосредственно константинопольскому патриарху. Это позволило братству проводить свои действия независимо от киевского митрополита, белорусских епископов и властей в Слуцке и даже вести борьбу против них.

После приезда Феофана сложилась такая ситуация, что во многих епархиях вопреки решению Брестской церковной унии оказались и униатские и православные епископы. Мелетий Смотрицкий, в частности, получил своим противником печально известного Иосафата Кунцевича.

Кунцевич был человек фанатичный, грубый. Еще в чине архимандрита виленского униатского Свято-Троицкого монастыря он поехал в Киев проповедовать унию. Тотчас по приезде Кунцевич отправился в Печерскую лавру и потребовал от монахов вступить с ним в публичный диспут об унии. Проиграв в научном споре, Кунцевич позволил себе нахальные выпады против православия, и оскорбленные монахи всласть избили Иосафата чуть ли не до смерти. После этого в Киев Кунцевич не ездил, но в своей Полоцкой епархии он проявил настойчивость, перешедшую в вызывающее насилие. Испросив у короля привилегию на подчинение его власти всех православных церквей и монастырей в Полоцке, Витебске, Могилеве, Орше, он разослал по ним требования, чтобы священники немедленно со всеми прихожанами приняли унию, в противном случае Кунцевич угрожал попам лишением сана, а прихожанам — закрытием церквей. Когда эти требования никто не исполнил, Кунцевич и впрямь приказал опечатать все церкви, а священников взять в тюрьму. Но не имея достаточно собственных сил для решительного приведения жителей к унии, Кунцевич обратился за помощью к канцлеру Льву Сапеге. Ответ Сапеге зарвавшегося Кунцевичу весьма показателен как выражение здравого понимания обстоятельств. Сапега писал в марте 1622 года:

«Бесспорно, что я сам хлопотал об унии и покинуть ее было бы неразумно; но мне никогда на мысль не приходило, чтобы вы решились приводить к ней такими насильственными средствами... Разве неизвестен вам ропот глупого народа, его речи, что он лучше хочет быть в турецком подданстве, нежели терпеть такое притеснение своей вере? ...Поступки ваши, проистекающие более из тщеславия и частной ненависти, нежели из любви к ближнему, обнаруженные в противность священной воле и даже запрещению республики, произвели те опасные искры, которые угрожают всем нам или очень опасным или даже всеистребительным пожаром. От повиновения казаков больше государству пользы, чем от вашей унии, почему и должны вы соображаться с волею короля и с намерениями государственными... Что касается до опасности жизни вашей, то каждый сам причиной беды своей: надобно пользоваться обстоятельствами, а не предаваться безрассудно своему стремлению. Я обязан, говорите вы, последовать епископам. Вы обязаны подражать святым епископам в терпении, благочестии, в показании добрых примеров. Прочтите жития всех благочестивых епископов: не сыщете в них ни жалоб, ни объявлений, ни исков, ни судебных свидетельств. А у вас суды, магистраты, трибуналы, ратуши, канцелярии наполнены позвами, тяжбами, доносами: но этим не только не утвердится уния, но последний в обществе союз любви расторгнется... Говорите, что вольно вам неуниатов топить, рубить: нет, заповедь господня всем мстителям сделала запрещение, которое и вас касается... Кажется, лучше » полезнее было бы для общества разорвать с этою неугомонной союзницей (унией.— К. Т.), ибо мы



никогда в отечестве своем не имели таких раздоров, какие родила нам эта благовидная уния. Христос не печатал и не запирает церквей, как вы это делаете... Покажите, кого вы приобрели, кого уловили своей суровостью, строгими мерами, печатанием и запираем церквей? Вместо того откроется, что вы потеряли и тех, которые в Полоцке у вас в послушании были. Из овец сделали вы их козлищами, навели опасность государству, а может быть, и гибель всем нам, католикам. Вот плоды вашей хваленой унии, ибо если отечество потрясется, то не знаю, что в то время с вашей унией будет».

Лев Сапега как в воду глядел. Через двадцать пять лет вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого, началась изнурительная война с Россией, случилась шведская интервенция, и в результате Речь Посполитая была подрублена под корень. Разделы Речи Посполитой, последовавшие под конец XVIII века, были во многом определены внутренней религиозной политикой в предыдущем столетии.

Ие ошибся канцлер Сапега и относительно личной судьбы Кунцевича. В ноябре 1623 года он был убит витеблянами, когда прибыл наказывать город за восторженный прием Мелетия Смотрицкого. Витебск подвергся жестокому наказанию. Председателем комиссии, посланной для расследования и суда над «мятежниками», король назначил Льва Сапегу, который годом прежде старался Кунцевича образумить. Комиссия наскоро, в три дня, погожу что боялась подхода казаков, за которыми послали горожане, «отыскала» виновных и отправилась в Варшаву, чтобы там вынесли приговор после совета с королем. Как раз в это время Сигизмунду прислал письмо папа римский. «Кто даст очам нашим источник слез,— писал Урбан VIII,— чтобы могли мы оплакать жестокость схизматиков и смерть полоцкого архиепископа?.. Где столь жестокое злодеяние вопиет о мщении, проклят человек, который удерживает меч свой от крови! Ятак, могущественный король, ты не должен удерживаться от меча и огня. Да почувствует ересь, что за преступлениями следуют наказания. При таких отвратительных преступлениях милосердие есть жестокость. Посему да отложит Ваше Величество всякое промедление и, воспламенившись благочестивым негодованием, да утешится слезами нечестивцев, наказанных за огорчение религии». И король воспламенился. Сто человек было приговорено к смертной казни в Витебске, по несколько — в Полоцке и Орше. Правда, под топор пошло только двадцать, потому что остальные скрылись. У Витебска было отнято магдебургское право и вообще все права, ратуша разрушена, вечевые колокола сняты, соборная Пречистенская церковь развалена, а вместо нее за счет жителей построена униатская.

Смерть Кунцевича и последовавшее в результате этого казни витеблян повлияли на судьбу Мелетия Смотрицкого. Обвиняемый в подстрекательстве к убийству, Смотрицкий, чтобы избежать привлечения к суду, был вынужден отправиться на Восток, в странствие «по святым местам» и к патриархам «для выяснения запутанных и спорных вопросов христианского богословия». Но вернулся Смотрицкий на родину с убеждением, что православная церковь заражена протестантизмом и что уния есть благо. В 1628 году он изложил свои новые взгляды в «Апологии», где убеждал православное население последовать за ним, чистосердечно принять унию и прийти к миру.

Так погиб для православия его лучший и талантливейший публицист и писатель; это случилось через год после того, как Филипович пришел в тот самый Святодуховский монастырь, где семь лет трудился в защиту «русской» веры Смотрицкий. Конечно, вся драматическая история духовной ломки полоцкого епископа была известна Филиповичу и горько им переживалась. Спустя недолгое время ему выпало занять освободившееся место радикального критика унии, и в этом качестве Филипович выступил продолжателем лучших достижений Смотрицкого, продолжателем обличительной

традиции в белорусской литературе того времени.

В том самом 1617 году, когда Смотрицкий начинал духовную жизнь в Святодуховском монастыре, униатский митрополит Вельямин Рутский осуществил образование в Великом княжестве Базилианского ордена. До унии все православные монастыри в Белоруссии, Литве и на Украине были устроены по уставу святого Василия Великого. Каждый монастырь был независим и подчинялся только своему настоятелю и епархиальному владыке. В таком виде они переходили к униатам. Рутский решил создать из них общество по образу и подобию Общества Иисуса, то есть иезуитов. В Новогородовичах, в Минском воеводстве, состоялся съезд всех настоятелей униатских монастырей и после десяти заседаний собрание решило, что униатское монашество соединяется в Орден базилиан, которым управляет генерал (протоархимандрит) и четыре ассистента. Орден подчиняется папе римскому, в руках ордена находится воспитание молодежи.

Провозглашение Ордена было одним из звеньев укрепления унии, однако, несмотря на все видимые успехи и рвение униатского духовенства, униатская церковь и королевской властью и католиками рассматривалась как второстепенная и никогда не смогла добиться уравнивания в правах с католической. Заминка здесь состояла еще и в том, что широкие круги белорусской шляхты не переходили в унию, а принимали католичество, желая сравняться с польской шляхтой. Униатская церковь оставалась в основном церковью горожан и крестьянства. Надо сказать, что униатская церковь с течением времени на территории Белоруссии все-таки стала главенствующей. Как показал в своих исследованиях, посвященных этой проблеме, историк А. П. Грицкевич, в 1790 году, например, в белорусских поветах Великого княжества Литовского (без восточной части, уже присоединенной к России) униатских приходов было 1200 (или 73,8%), католических — 283 (17,4 %), православных — 143 (8,8%). По подсчетам историка Т. Корзона, в 1774 году на всей территории Речи Посполитой проживало 11500 тысяч человек, из них православные составляли всего 5<sup>Р</sup> тысяч, а униаты — 3800 тысяч. Эти цифры красноречиво свидетельствуют, что со своей задачей победить православие униатская церковь справилась если не с полным, то с весьма большим успехом.

Оглядываясь по прошествии трехсот лет на дела начала XVII века и зная историческую удачу униатства, можно задаться вопросом: да стоило ли сопротивляться унии, не мудрее ли было пойти навстречу, принять ее сразу, без жертв и крови сопротивления, содействовать ее скорейшему утверждению и таким образом сохранить мир в обществе и людях? Какая разница в том, кому подчиняется церковь: константинопольскому патриарху или римскому папе? Так ли существенны для духовной жизни людей различия обрядности и церковного чина? Ведь стали же Англия и Швеция из католических протестантскими государствами и тем не менее не утратили своей национальной самостоятельности. Так ли крепко связана национальная самостоятельность с религией, как это казалось защитникам православия в XVII столетии? Но все это — рассуждения и вопросы задним числом. От живых людей нельзя требовать ледяного умозрения, когда в их привычки, быт, мировосприятие врывается чужак, объявляет себя носителем истины и гонит к ней кнутом.

Для Афанасия Филиповича не стояло вопроса: прав он или не прав? Он был прав, за ним стояли шесть веков истории православия на белорусских землях, многие поколения предков, живших в чистоте «греческого» исповедания. Нравственное состояние верхушки униатов внушало ему отвращение; средства, с помощью которых уния шла к победе, казались ему сатанинскими. Внешняя политика католического короля Сигизмунда III вела к постоянным кровопролитиям, для успехов этой политики не гнушались ложью

и насилием над совестью народа; а главное — уния означала не равенство, а подчинение «русской» веры вере «римской»; для гордого сердца подчинение насильнику, признание своей слабости и неценности своих чувств — дело невозможное.

Эту невозможность, нежелание унии проявили широкие слои населения, принимая за свою стойкость страдания и муки. История утверждения унии знает сотни и сотни примеров, когда противников топили, стреляли, избивали, судили, когда у них отнимали храмы, превращая их в униатские, когда противников подвергали издевательствам, каких не применяли даже турки. «А теперь пятьдесят лет тылько тому,— писал Филипович,— як унея проклятая для столка сенаторского и для поваги пышных духовных нещасливе настала и так потурбовала панство тое спокойное, же не тылько в краинах, в князствах, в поветах, в местах, в местечках и в селах селян з селянами, мещан з мещанами, жолнеров з жолнерами (бо и з казаками война внутреня непотребна о том была), панов з поддаными, роднчов з детками, але и духовных з духовными, наостаток, монахов з монахами до гневу непогамовапого приводила, приводит и нещасливе розжаривает».

Секрет любого сопротивления прост: он кроется в страстности веры. Борьба за унию и против унии означала столкновение страстей. Самым худшим следствием унии было то, что она привела к братоненавистиичеству; люди одного народа, потомки одних предков, наследники общей истории начали враждовать не с чужаками, а между собой, и враждовать насмерть. По идеальному замыслу, по религиозному идеалу уния была добрым делом, по реальному воплощению, по интересам ее творцов — она несла вред развитию белорусской культуры, поскольку служила целям католизации и ополячивания, что доказала общественная жизнь Белоруссии в следующем веке.

Такие вот события совершались в те годы, когда Филипович обучал «Дмитровича — царевича московского». Как реагировал он в эти годы на отношения православия с униатством, нигде не засвидетельствовано. Но переживания 1627 года, приход в монастырь резко направили его к активной ; деятельности. По заданию своего начальства Филипович объезжает ряд монастырей с целью договоренности об общих действиях против католического напора. Успех поездки принес ему сан иеромонаха, и в 1633 году он оказался в Дубойском монастыре (неподалеку от Пинска), откуда вскоре перешел в Купятичи. Здесь при монастырской церкви находилась чудотворная Купятинская икона божьей матери, что привлекало в монастырь множество верующих. Близость монастыря к городу (двенадцать верст от Пинска) также служила его славе и действенности.

Событиями жизни в монастыре Филипович и открывает описание своего путешествия в Москву в 1637 году.

Само путешествие стало возможным после смерти короля Сигизмунда 111, когда отношения между Речью Посполитой и Москвой несколько улучшились. Правда, в бескорольеве царь Михаил решил захватить Смоленск; московское войско обложило город осадой, которая длилась восемь месяцев и окончилась бы сдачей осажденных, но тут на выручку смолянам пришел новоизбранный король Владислав. Ситуация изменилась, московское войско было вынуждено само потерпеть осаду, которая тянулась более полугода. Наконец, воевода Шеин сдался. Владислав, двинувшись на Москву, предложил Михаилу Федоровичу мир, и в 1643 году на реке Поляновке он был заключен. По условиям мира русские отказались от притязаний на Смоленск, выплатили Речи Посполитой двадцать тысяч рублей.

Владислав IV же навсегда отказывался от притязаний на московский престол. Притязания эти имели формальную основу: Владислав после свержения Василия Шуйского восставшими москвичами в 1610 году был избран в русские цари и носил титул московского самодержца. Избранный на царствие в 1613 году Михаил Романов

долгое время правительством Речи Посполитой считался «незаконным» царем, и лишь Деу лине кое перемирие 1618 года сняло острогу противоборства. Тем не менее царский титул Владислава продолжал фигурировать в случаях дипломатической нужды.

Поляновский мир привел к некоторому успокоению, которое могло повлиять на улучшение положения православной церкви в Белоруссии и на Украине. Новый король, опасаясь дальнейшего развития религиозной борьбы и войны, сразу принял принципиально важные решения в спорах православных с униатами. Он решил: быть двум митрополитам — униатскому и православному; в полоцкой епархии быть православному и униатскому архиереям; православным уступаются Киево-Печерский монастырь и луцкая, львовская, перемышльская епархии. Иначе говоря, если в 1596 году в Бресте пытались навеки похоронить православную церковь, заменив ее униатской, которую и признало единственно законной правительство Сигизмунда 111, то сейчас официально признавалось существование в Речи Посполитой четырех церквей: католической, православной, униатской и кальвинистской.

Однако королевские указы не означали мирного решения религиозных вопросов и споров на местах. Между соперничающими церквями в городах и селах сохранялось прежнее ожесточение. Оно даже усилилось в связи с казацкими восстаниями Сулиша, Павлюка и Скидона, Трясилы, Острианицы и Гуни.

В 1637 году Афанасий Филипович вместе с иноком отправился по Белоруссии за ялмужиной (милостыней) для обновления ку пяти чекой церкви. Но в белорусских православных поветах собрать требуемую сумму оказалось делом тщетным, и Филипович' принял смелое решение попасть в Москву и просить ялмужину у царя. На этом пути отцу Афанасию и его спутнику пришлось испытать немало трудностей, но все же они сумели достичь желанной цели. Самым сложным было попасть на прием к царю. От прихожих из Белоруссии и Литвы в Москве желали важных сведений, с простыми просителями и разговоры не заводились. Сориентировавшись в обстановке, Филипович решил представить для царя через Посольский указ описание своего путешествия» объяснить побудительные причины и заинтересовать царя раскрытием той ценной тайны, которую он владел, а именно: в пределах Белоруссии проживает лицо, какое ответственными властями Речи Посполитой признавалось «царевичем Дмитриевичем». Несложно вообразить реакцию царского двора, когда оно узнало от Филиповича об очередном претенденте па русские скипетр и державу. Поскольку брестский игумен предал огласке государственную тайну, то московское правительство получило пусть небольшой, но все-таки козырь для своей политики отношений с Речью Посполитой. Филипович заслужил щедрую ялмужину, а по его отъезде к королю был послан царский посол с вопросами о самозванце и требованием выдачи его Москве для казни.

Описание поездки в Москву — первое произведение Филиповнча. В нем многое недоговорено или вообще покрыто молчанием, но честность, искренность, эмоциональность автора просматриваются очень ясно. Конечно, обусловленность психической жизни личности редко предстает в раскрытом виде; тем более непросто отражается она в литературе, где искренность может быть принята за прием, а прием — за искренность, но по «Диариушу» видно, что у Филиповнча было сильно развито образное мышление, а поступки вытекали не из трезвого расчета, а были точным исполнением душевного состояния или сердечного порыва. Едва ли можно считать, например, литературным приемом свидетельство Филиповнча о голосе богородицы, услышанном им после того, как игумен Илларион Денисович поручил ему сбор ялмужины.

«О дивные sprawy бозские! Зараз там в трапезе страх барзо великий пал на мене, и

власне як бы одрентвельый сиделем у столу. До кельи моей вшедши, защепилемся и почалем богу всемогущему офероватися в том послушанстве. По малой хвиле, стоячому мне на молитве, страх мя такой обнял, жем утекати з келии моей поривался н, неякость мощю боаскою задержаний зоставши, долго ревнивее плакалем. В том без жадной особы голос вдячий слышати было таковой: «Цар московский збудует ми церков! Иди до него!» В том мене як варом облито. Знову почалем тяжко плаката, мыслячи, што то будет».

Общение с Панной Небесной потом повторялось неоднократно. В трудную минуту путешествий, в минуту сомнений Филипович вновь «правдиве слыша лем голос таковой: «О Афанасий! Иди до царя Михаила и рци ему: звитьжай неприятели наши, бо юж час пришло. Мей образ пречисто в кресте Купятицки на хоругвях военных для милосердия. А в битви той кожного человека, мянующогося православным, здорово заховай». Другими словами, богородица подсказывала Филиповичу просить царя Михаила о военном вмешательстве в религиозные распри Речи Посполитой, что он и сделал, занеся слышанное в дневник поездки. Но надежды на царскую отзывчивость имели в основе только силу желания отца Афанасия. Реальный политический расчет здесь не присутствовал. Сама подобная просьба, высказываемая провинциальным игуменом, в лучшем случае могла восприниматься как жалоба.

Мышление и чувствования Филиповича были насквозь пронизаны символикой, поэтому работа воображения не воспринималась им отчужденно. Воображаемое, поскольку порождалось сердцем, имело такую же реальность, как явь. «И гды князь Радивил, канцлер литовский, року 1636, именем Полоза утискуючы церков православную — писал Филипович,— одбирал монастыр той Дубойский на иезуиты барзо мудрые, фундуючы их в месте Пинском, в тот час барзо страшнее видоки на неби и на земли (не през сон, але в день и наяве, толко я в захвищеню яко будучи) видилем: на небе — хмуры барзо гневливые з войсками ушикованными, на каране готовыми, и на земли — седм огнюв пекелных, на седм грехов смертелных зготованых. З тых огнюв в пятом — жаристом гневи — трох особ выразне видилем: нунциуша легата в короне папежской Жигмонта кроля и Сапегу гетмана, за преслядоване церкви восточной барзо смутно седячих. Которое видене, гдым другим указовал, видити не могли». Конечно, не могли видеть, потому что имели иную духовную и психическую организацию, не были столь эмоциональны, а были более рассудительны, отчего и не создавали себе таких неприятностей, каких не мог в силу искренности чувств избежать Филипович.

Об эмоциональности природы Филиповича говорит и его особенное отношение к иконе Купятичской божьей матери. При всех ее чудотворных свойствах она никак не могла претендовать на роль святыни общепольского значения и тем более святыни всего населения «греческой веры» Речи Посполитой. Между тем Филипович придавал ей значение самой главной реликвии церкви. Например, в «Пораде побожной Владиславу IV» он настоятельно «рекомендует» снять с колонны возле королевского замка в Варшаве статую Сигизмунда (отца Владислава) и вместо нее вознести «на слуп образ пречистой богородицы чудотворный Купятицкий». Понять Филиповича нетрудно. Веруя в православие, ненавидя унию, он как человек страстный приходил в бешенство, видя статую гонителя православия на небывалой высоте. Сигизмунд III для Филиповича — Нерон, антихрист, истребитель истинной веры. Однако можно понять и недоумение людей, которые призывались думать о Купятичской иконе как об одном из чудес света.

В 1640 году брестские братчики выбрали Филиповича игуменом Симеоновского монастыря, и годом позже отец Афанасий самовольно отправился в Варшаву на вальный сейм, где представил королю документы на официальное утверждение восстановленного

брестского братства. Владислав засвидетельствовал эти бумаги и придал к ним привилей, по которому братству позволялось купить в городе участок для строительства собственной школы. Юридическое оформление документа требовало печатей канцлера Радзивилла и подканцлера Тризны. Но те заявили, что приложат печати лишь при том условии, если Филипович и монахи его монастыря примут унию.

Оказавшись не просто обманут, но и оскорблен, Филипович укрепился в своих враждебных взглядах на унию, с которой для него связывалось бесчестье, насилие, ложь. Не желая уступать, Филипович через два года на очередном вальном сейме, без согласования с кем-либо из православных епископов, раздал королю и сенаторам рукописные экземпляры своей истории поездки в Москву, копии Купятичской иконы и выступил перед депутатами с «Супликой», в которой требовал от короля немедленного уничтожения унии:

«Хотей же, ваша королевская милость, ласкаве в то вейзрити для вроженое ваше доброты и присяги ваше королевское милости, абы вера правдивая грецкая грунтовне была успокоена, а унея проклятая вынищена и вннвеч обернена. Бо если у нею проклятую выкорените, а всходнюю правдивую церков успокоите, то щасливые лета ваши поживете. А если не успокоите веры правдивое грецкое и не знесете унеи проклятой, то дознаете запевне гневу божого... В воли то человекей есть: обирай же себе, што хоч, поки час маеш!»

Присутствовавшие на сейме православные иерархи, испугавшись неслыханной дерзости Филиповича и забоявшись, что ультимативная «Суплика» может быть понята как одобренная ими, поспешно взяли игумена под стражу. Находясь под арестом, Филипович, однако, каким-то образом сумел выскользнуть в город, причем в день католического праздника, и бегал по варшавским улицам в клобуке и одной рубашке крича: «Беда проклятым и неверным!» За эту выходку его лишили сана игумена и отправили в Киев к митрополиту Петру Могиле. Здесь духовный суд счел, что Филипович принял достаточные мучения, долгий срок пробы в колодках и в заключении, вернул ему сан и разрешил вернуться в Симеоновский монастырь.

Однако Филиповичу недолго пришлось жить на свободе. В 1644 году московское правительство наконец вытребовало у короля «царевича» для самостоятельного расследования его «преступлений» и усмотрения его судьбы. Контрмерой короля стал арест Филиповича в качестве заложника за Лубу. Отца Афанасия заковали и посадили в одну из варшавских тюрем. Одновременно в Москву был послан специальный гонец с объявлением, что игумен, выдавший тайну «Дмитровича», взят под стражу и что судьба его находится в прямой зависимости от судьбы Лубы. Но Филипович уже интереса для московских властей не представлял.

Лубе как самозванцу грозила смертная казнь, и тогда автоматически был бы казнен Филипович. Главным документальным свидетельством виновности Лубы — его «воровства» — были письма к Афанасию Филиповичу, которые игумен передал московскому послу Львову. Письма эти, подписанные «Иван Фаустин Дмитрович», содержали указание, что писаны «у царевича на обеде» в его «царевичевой господе». Жизнь Лубы висела на волоске. Ему повезло, что строгий царь Михаил Федорович умер и на престол взошел его сын — «тишайший» Алексей Михайлович. В связи с торжествами воцарения и обещанием короля Владислава не предъявлять никаких прав на Московское государство, а также его желанием «братской дружбы и любви» с царем Луба был отпущен на родину.

Но возвращение Яна Лубы не сразу принесло свободу Филиповичу. Он провел в темнице год; за этот срок отец Афанасий написал целый ряд произведений — «Новины»,

«Фундамент не порядку костела римского», «Суплику третью», «Приготовление на суд», «Параду королю», «О фундаменте церковном». Филипович обвинялся в государственной измене, смерть стояла в непосредственной близости к нему, и многие бы на его месте сочли за лучшее «одуматься» или, по крайней мере, благоразумно забыть об «унеи проклятой». Но помимо воинственной публицистики отец Афанасий сочинил еще и песню против унии, своего рода гимн, пением которого, верно, укреплял свой дух в минуты сомнения:

Звитяжай же зрайцов: первей униатов.

Препозитов также, и их номинатов.

Абы болш не колотили, в покою лет конец жили.

Потлуми всех противников и их рады,

Абы болшей не чинили гневу и здрады

Межи греки и рымляны, гды ж то люд твой есть выбранный!

И так далее, всего сорок восемь строк, причем сам Филипович придумал музыку и записал ее нотами.

После заточения игумена под конвоем вновь отправили в Киев с королевским пожеланием митрополиту Могиле поселить Филиповича так, чтобы он «не мог жадных голосов робити». И отец Афанасий оказался заперт в келье Печерского монастыря без права выхода на воздух.

Здесь Филипович занялся сложением своих публицистических работ в единое произведение, получившее известность под названием «Диариуша албо списка деев правдивых в справе помножения и объяснения веры православное голошенных... для ведомости людей православным, хотячим о том тепер и у потомные часы ведать». Свою работу Филипович поднес Петру Могиле как с целью собственной реабилитации и освобождения, так и в качестве программы действий православной церкви в противоборстве ее униатам и католикам.

Могиле был выдающимся деятелем своего времени. Он многое сделал для развития просвещения, ему принадлежит заслуга в открытии православной Академии в Киеве (получившей впоследствии его имя), издании книг, восстановлении древней киевской Софии. Могиле был одноклассником Филиповича и происходил из семьи молдавского господаря. До двадцати восьми лет он служил в войске, а затем постригся в Киево-Печерской лавре, где выдающиеся способности скоро выдвинули его в настоятели; немногим позже он добился сана митрополита. Филипович духовно не был близок Могиле, который не разделял ни радикальных действий брестского игумена, ни его промосковских настроений. К тому же освобождение Филиповича стало бы очевидным вызовом королю, а идти на конфликт с королем из-за игумена, «запятнанного» обвинением в государственной измене, вольно или невольно поступившего во вред Речи Посполитой, Могиле не желал. Поэтому он «Диариуш» прочел, но автора от заключения не освободил. Лишь в начале 1647 года, уже по смерти митрополита, отцу Афанасию посчастливилось вернуться в брестский монастырь.

В это время на Украине происходили события, отнестись к которым равнодушно Филипович не мог. В апреле 1648 года Хмельницкий поднял знамя казацкого восстания, и уже 5 мая у Желтых вод случилась битва между казаками и регулярными войсками, в которой Хмельницкий одержал полную победу. Через десять дней у Корсуня он наголову разбил войска гетманов Потоцкого и Калиновского, и эта удача перевела восстание в народную войну. Поднялись крестьяне и стали вымещать свои давние и многие обиды шляхте и католическому духовенству. В Речи Посполитой настали смутные времена.

Филипович жадно внимал всем вестям с Украины. Его деятельная натура не давала

ему стоять в стороне, быть посторонним наблюдателем, хладнокровно ожидать благоприятного развития событий. Верно, он считал, что год тюремного и два года монастырского заключения отняли у него много сил для успешной борьбы с унией. Настал час действовать, он призван Купятичской богородицей крепить дух народа, и отец Афанасий посылает «листы и порох до казаков». Такое обвинение выдвинули против Филиповича брестские власти, и первого июля он был арестован. Возможно, что Филипович посылал только рукописные экземпляры своего «Диариуша»; возможно, что ничего не рассылал, а воинствующая ненависть брестских униатов использовала обстоятельства, чтобы окончательно разделаться с непримиримым противником. Как бы там ни было, но Филипович вновь оказался в брестской тюрьме. Здесь, в полной незащитности перед реальной возможностью убийства, он не поступился ничем из своих убеждений, не отступил от своей страстной ненависти к униии, хотя даже видимость отступления могла сохранить ему жизнь. Наоборот, он показал высшие честность и честь, подтверждая в критической и опасной ситуации свои прежние слова о «проклятой униии».

Еще жива была память, как он грозил адом Сигизмунду, как страшил Владислава; ненависть, какую сыскал Филипович среди католических и униатских приверженцев, давно искала удовлетворения; пожелания его смерти шли от королевского двора — хоть Владислав и не посылал игумена на плаху, а сбыл со света в келью монастыря, но само желание гибели Филиповича, безусловно, понималось в среде униатов. Оно не обязательно должно было быть сформулировано в приказ; оно угадывалось, на лету подхватывалось теми, кто без раздумий готов был доставить удовольствие «сильному мира сего» смертью не приятного ему противника. К тому же в августе по решению сейма выступило против казаков 30-тысячное войско под началом гетманов Заславского, Конецпольского и Остророга. Войско и шляхта были уверены, что приходит конец «козаччины», что считанные дни остались буйствовать Хмельницкому, его полковникам, казакам и мужикам. Уверенность в близкой победе «над сволочью» была так сильна, что шляхта хвасталась разогнать восставших без пуль — плетьюми. При таком состоянии душ жалостливость или просто законность не существуют. Злоба требовала выхода в физическом истреблении всех «смутьянов» и религиозных противников.

Нельзя не рассмотреть еще один пласт общественного сознания, побуждавший к жестокости. Хоть каждая из противных сторон вслух заявляла о своей силе и непреложной своей победе, однако исторический опыт, чувствование необычности этого восстания подсказывали, что оно не закончится так просто и не может быть подавлено так быстро, как прежние. Наиболее чуткая часть общества уже жила пониманием катастрофы, грядущей страшной войны, которая, действительно, скоро разгорелась и обернулась небывалыми жертвами — только в Белоруссии она унесла половину жизней и привела к запустению множества городов, местечек и деревень. Эти апокалиптические настроения прямо отражались на решении судеб. Предчувствие массовых убийств с обязательностью проявляет себя в актах единичных казней. Все это вместе взятое сказалось на трагическом исходе жизни Афанасия Филиповича.

Та решительная битва, на которую вели полки Заславский, Конецпольский и Остророг, произошла 20 сентября под Пилявцами. Продлившись два дня, она закончилась паническим бегством польской стороны. В сражении погиб и воспитанник Филиповича Ян Фаустин Луба, служивший писарем в королевской пехоте. Этот человек, с младенчества сделанный игрушкой для политической игры, прожил всю жизнь под надзором. Судьба его была изломана против его воли, и так же несчастливо, как жил, он и сгинул. Жизнь Филиповича оборвалась двумя неделями прежде. После двухмесячного держания в оковах, в ночь на 5 сентября 1648 года, его вывели в лес



неподалеку от деревни Гершановичи (ныне в городской черте Бреста), и здесь разыгралась такая сцена, описанная впоследствии монахами Симеоновского монастыря со слов очевидцев:

«Кгды теды юж так был выданный от старшого, взяли его до себе тые, которые крови его давно прагнули, и увели его до борку, который недалеко был от обозу, од места (Бреста.— К. Т.) в четверть миле, идучи до села Гершоновичи, в левой стороне. Там его сами напрод пекли огнем. А гайдук оден стоял там на тот час оподаль и слышал голос небожчика отца игумена. А он им щось грозно одповедал на муках оных. Потым зась заволали и гайдука того. И казали му мушкет набити двома кулями. Так же пред ним зараз и дол казали наготовати. Доперо ж спытавши его впрод, если бы ревоковал слов своих стороны унеи. А кгды им одповедал: «Што юж рекл, том рекл, и з тым умираю», казали тому гайдукови, абы в лоб ему стрелил з мушкета.

Гайдук зась видячи, же той есть духовный и знаемый ему добре, ещесь з тым не квапил, але первей о прощение и благословение его просил, а потым в лоб до него выстрелил и забил...

То дивная, що поведал тот же гайдук, же небожчик, юж постреленый двома кулями в лоб навывлет, еще, опершися о сосну, стоял час який о своей моци, аж его впхнути в он дол казали. А и там, мовит, ещесь сам лицеи вгору обернул, руки на персях на крест зложил и ноги протяг».

Афанасий Филипович считается религиозным деятелем. Внешне его деятельность так и предстает — у него на первом месте интересы православия, критика унии и католичества. Однако отношения Филиповича с религией достаточно сложны. Взять хотя бы такую сторону натуры и убеждений Филиповича, как непринятие смирения. Он не из тех, кто, получив по левой щеке, подставляет правую. К месту вспомнить, что христианство при своем зарождении носило мессианский характер: ждали скорого возвращения Христа, который прямо сейчас, при жизни его поколения, объявит «золотой век», братство, равенство, свободу между людьми. Когда ожидания не оправдались, появилось «Откровение Иоанна», а затем для утешения изболевшихся душ возникла и утвердилась идея загробного воздаяния: за грехи — адом, за муки и святость — вечным блаженством; то есть было признано, что на этом свете ничего не меняется, и не стоит пытаться менять, а все расчеты производятся там. Кто грешит здесь — тому там будет плохо. Многие из православных священников и простые верующие терпели свое угнетение, некоторые доступными средствами сопротивлялись,— Филипович был «крайним левым». Он не желает терпеть, он против тех маленьких хитростей и компромиссов, на которые шла верхушка православного духовенства, стремясь сохранить свои доходы и места. По духу, по натуре — он обличитель, полемист, проповедник, борец, герой. Конечно, Филипович — не революционер, конечно, программа его желаний отчасти консервативна, во многом наивна и идеальна. Он не призывал к освобождению крестьян, но требовал национальной и религиозной справедливости. В своих обличениях светских и духовных магнатов, королевской власти, иезуитов, заживевшего православного епископства он показал такую же отвагу и накал страстей, какие немногим позже прославили в России протопопа Аввакума — человека, сходного с Филиповичем положением, судьбою, неукротимостью духа. Похожи они и своими литературными произведениями. Есть определенная параллель между «Диариушем» игумена Афанасия и «Житием» протопопа Аввакума. Она заметна и в стилистике, и в пользовании народным языком, в повествовании от «я», в желании автора представить читателю личные переживания, свой эмоциональный мир.

В старобелорусской литературе Филипович занимает особое место — он был

последним белорусскоязычным писателем. Хронологически наследовавший его Симеон Полоцкий печатно выступил после отъезда в Москву, где, собственно, и прошла его творческая жизнь. Восемнадцатый век литературных памятников на белорусском языке оставил мало. Поэтому есть грустная для белорусской литературы символика в том, что ее талантливый представитель получил «в лоб две кули».

## Тьмы невежества противник

Симеон Полоцкий — единственный из белорусских писателей XVII и предыдущего столетий, у кого более-менее удачливо сложилась писательская и личная судьба. Над всеми другими словно висело заклятие. Франциск Скорина был вынужден покинуть родину. Сымон Будный объявлялся еретиком, терпел обиды и от иезуитов, и от протестантов, и от православных и умер в чужом углу. Мелетия Смотрицкого сломали морально, и он, перейдя в католичество, испытал все муки, связанные с разрушением личности. Афанасия Филиповича затаскали по тюрьмам, а затем и вовсе физически уничтожили. Самые малые сведения сохранились о Василии Тяпинском, Стефане Зизании, Андрее Рымше, Филофее Утчицком, Игнате Иевлевиче. Буквально осколками представлено их литературное творчество, а, верно, не одну бессонную ночь провели они над бумагой, много трудились, но что по злой моде века сожгли на кострах иноверцы, что выбросили равнодушные или боязливые наследники, что само собой развеялось в роковые лихолетья, каких достаточно пришлось изведать белорусской земле. «*Verba volant, scripta manent*» — говорили в средние века: слова улетают, написанное остается. Увы, однако, при том условии, что его берегут.

Симеон Полоцкий был первым, чье литературное наследство уцелело, отразив с известной полнотой и эпоху, и ее культуру, и личность выдающегося поэта, драматурга, публициста.

Симеон Полоцкий — это псевдоним. Он составил из монашеского имени и прозвания, данного поэту москвичами по месту его последнего жительства на родине. Мирское, настоящее имя Симеона — Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович. Он происходил из коренной семьи полоцких мещан. В «Полоцкой ревизии 1552 года» фамилия Петровских названа вскоре за Скоринами; возможно, эти семьи и жили неподалеку, потому что в росписи обороны Высокого замка они приписаны к соседствующим городням (участкам защитной стены) Софийской башни:

«Подле тое вежы две городни мещански — з великого посаду (в посаде жили Скорины). Затем городня Тяпинских. Затем городня Митковей. Затем пять городен игумены Полоцкого. Затем городня мещан Петровских».

Полоцк времен детства и юности Петровского выглядел печальнее, чем при Скорине. Войска Ивана Грозного, а затем Стефана Батория, боевые действия в войну 1632—1634 годов основательно разрушили город. Наиболее горькой была потеря уникальной библиотеки древнего Софийского собора, случившаяся в августе 1579 года. Солдаты Батория стремились поскорее ворваться в Полоцкую крепость в надежде захватить собранные там, особенно в Софийском соборе, огромные, как им казалось, сокровища. Когда после месячной осады девять башен и стены Верхнего замка были сожжены и отряды ворвались в замок, драгоценностей оказалось намного меньше, чем сулили слухи. Но для понимающих людей большую ценность имело обнаруженное в Софии собрание древних летописей и сочинений. В среде, уважающей книгу, такие

потери не забываются, они становятся легендой и воспитывают определенные чувства — в первую очередь, желание вернуть похищенное. Воспитывают и слава выдающегося земляка-первопечатника, и древняя история Полоцка, имевшего собственную династию князей и занимавшего в Белой Руси главенствующее положение, и походы полочан в битву против Мамая и на Грюнвальдскую сечу. Все это для одаренного ума — духовная пища, опора мечты, призвания.

Ко времени учения Симеона в Полоцке появилась и братская школа, фундаментом ее был браславский судья Севастьян Мирский, отписавший в 1633 году Богоявленской церкви «полплаца в городе с правом построения на нем монастыря, госпиталя и училища». Помимо школы в Полоцке с

1580 года действовала иезуитская коллегия, двери которой были распахнуты для всех желающих учиться. Учили иезуиты хорошо, причем бесплатно, и эти два обстоятельства объясняют широкое посещение школы детьми иноверцев — и протестантов, и православных. Необходимым предметом в тот век было составление виршей — двустихий, скрепленных рифмой. Школяры обязательно участвовали в публичных декламациях и в спектаклях школьного театра. Этому образу следовали и в братской школе. Словом, в Полоцке имелась пусть ограниченная, но поэтическая атмосфера, способная пробудить к мышлению поэтическими строками.

В сороковом году Полоцкого отвезли, для учебы в Киево-Могилянскую коллегию — лучшее учебное заведение православных в Речи Посполитой. Здесь стремились дать не меньшее образование, чем давали противостоящие католические коллегии. От того времени сохранились первые стихотворные опыты Петровского, циклы виршей религиозного содержания «Акафист» и «Канон». Они помечены 1648 годом. Годом, который стал началом борьбы украинского народа за свою самостоятельность. Едва ли когда кто-либо мог предположить, что возглавленное Богданом Хмельницким восстание перерастет в одну из самых длительных и кровопролитных войн века, в которой столкнутся армии нескольких государств.

Однако образ жизни студента несколько не изменился. Окончив в пяти: десятом году коллегию, он поступил на философский факультет Виленского университета. Университет принадлежал иезуитам, и преподавание велось по тем же программам и учебникам, которыми пользовались все католические университеты Европы. Вторым факультетом университета был теологический, он готовил преподавателей для иезуитских школ, и тут могли учиться только лица, вступившие в Орден.

На философский факультет в былые времена принимали без особых придирок к вероисповеданию, полагая, что три года слушания лекций изменят воззрения студента с выгодой для католической церкви. Но в пятидесятые годы этот ценз стал строже. Уже было официально покончено с веротерпимостью, которая существовала в Великом княжестве Литовском в предыдущие столетия. В 1648 году решение сейма исключило из-под опеки закона ариан — левое крыло протестантов. Годом прежде были закрыты их типографии и школы. Насильственные формы принимало обращение православных в униатство. Католическому натиску сопутствовала полонизация сознания белорусских магнатов, крупной и средней шляхты, что разрушило институт меценатства, необходимый для развития просвещения и литературы на родном языке. Сам белорусский язык вытеснялся из сферы культуры и официального употребления; в конце века эту практику узаконили специальным постановлением конфедерации сословий Речи Посполитой, но это было решение *post factum* — после сделанного. В Белоруссии и на Украине действовал униатский монашеский орден св. Василия Великого — так называемые базилиане. Униатских воззрений держался и Симеон, что, собственно, и

отворило перед ним двери университета.

Можно только гадать, как сложилась бы дальнейшая судьба Полоцкого, если бы в это время не случились события, круто изменившие жизнь всего того поколения и отразившиеся на истории нескольких стран. В 1654 году после известных решений Переяславской Рады Россия начала войну против Речи Посполитой. Ослабленная «казацкими» войнами и народными восстаниями. Речь Посполитая не могла оказать сопротивления; за лето и осень русские войска заняли Смоленск, Полоцк, Витебск, Мстиславль, Оршу, Могилев, а в следующем году — Минск, Пинск, Гродно, Ковно и столицу Белоруссии и Литвы — Вильно. Город подвергся разгрому, католические и униатские костелы — разграблению. Ни о каких занятиях в иезуитском университете не могло быть и речи; сама жизнь любого католика и униата висела в эти дни на волоске. И Полоцкий благоразумно отправился домой.

Воспользовавшись удобными обстоятельствами, на Речь Посполитую напали шведы и быстро оккупировали всю территорию Польши и часть Литвы, не занятую русскими войсками. Все шло к тому, что Речь Посполитая исчезнет с политической карты. На белорусских землях царь Алексей Михайлович возрождает «истинное от латинян» православие. Казалось, что настал час торжества православной церкви и что обижаемые долгие годы православные получают все те привилегии и льготы, какими прежде владели католики. Для людей образованных это, в первую очередь, связывалось с широкими возможностями занятий науками и творчеством. Вот на этой волне вознесения православной веры Самуил Петровский постригся в монахи Полоцкого Богоявленского монастыря. Весьма сомнительно, что им руководило религиозное чувство, хотя оно, безусловно, присутствовало. Он вообще не имел склонности к аскетизму и замкнутой келейной жизни. Ряса монаха или священника была как бы униформой профессиональных писателей того века. Клобук освобождал литератора от материальных забот, всегда пагубно отражающихся на творчестве. Мирская жизнь с ее обязанностями перед государством и семьей, по убеждению Полоцкого, могла лишь вредить научной и поэтической работе:

Ибо не будет мощно с книгами сидети,  
Уделит от них жена, удалят и дети...  
И Феофраст в книзе си того возбраняет,  
Препятствие мудрости женитву вещаает.  
Ей неудобно книги довольно читати,  
И хотение жены в доме исполняти.

Вот так, в 27 лет принудив себя к обету безбрачия, исчез из мира Самуил Петровский, а явился чернец Симеон, правда, на вполне мирской и отвечающей устремлениям души должности дидаскала (учителя) братской школы.

Буквально через месяц он стал участником дел, обусловивших всю дальнейшую его жизнь.

Начав в 1656 году войну со Швецией за балтийское побережье, царь Алексей Михайлович выехал к театру военных действий. Путь его лежал через Витебск и Полоцк, и отцы Богоявленского монастыря придумали восславить его прибытие в город панегирическими стихами. Здесь было не менее расчета, чем чувства, и расчет этот крылся в том, чтобы польщенный самодержец отблагодарил бедствующий монастырь материально. Игумен монастыря Игнатий Иевлевич, Филофей Утчицкий и Симеон — все трое поэты — составили искусные по форме и удачные в политическом отношении «Метры», которые при встрече царя за городской чертой и продекламировали двенадцать

отроков. Но несколькими днями прежде Симеон, неизвестно с ведома или без ведома игумена, отбыл в Витебск, и здесь тоже силами школьников были прочитаны для царя «Метры», сочиненные Симеоном лично:

Витаем тя православный царю, праведное солнце,  
Здавно бо век прагнули тебе души наши и сердце.  
Витаем тя, царю, от востока к нам пришедшаго.  
Белорусский же от нужды народ весь свобождашаго.

В приветствии не было забыто и боярское окружение царя:

Вы есть воинове царя росом избранное,  
И богом небесным в силе теж его посланное  
Противо народов свирепых наших гонителей,  
Горделивых, гневливых а злых церкви гонителей.  
Вы на тую войну, бояре, былисте готовы.  
За веру з смелостью пошли яко дети львовы.

Тут следует сказать, что все эти яркие метафоры, принятые, разумеется, с удовлетворением, не стоили Симеону напряжения поэтических сил. В основу декламации он взял изданную в конце XVI века «Просфониму», где эти же сравнения применялись к киевскому митрополиту. Подобная высокопарность считалась обязательной для распространенного тогда в Белоруссии и Литве жанра эпикграмм — описаний магнатских и шляхетских гербов. Не встреча с царем вдохновляла Полоцкого: человек предприимчивый, активный, Симеон вдохновился благоприятным случаем явить для оценки свой поэтический дар. Лирические стихи тот век отвергал; обстоятельства требовали от виршей политической начинки, и Полоцкий угадал, какой именно. В августе того же года распространились стихи о возможности избрания царя Алексея великим князем литовским и польским королем. Ничего не было известно конкретно, нельзя было предугадать, что решит сейм, но Симеон, опережал событие, пишет: «Winszowanie obrania па Krolestwo Polskie»

(«Поздравление по случаю избрания на королевство польское»):

Ликуй и веселися, царю Алексею,  
Што ездец литовский властью твоею  
Щытиться и за князя великого тебе  
З веселием прымует для оброне себе.  
Светиш, о солнце, в полском горизонте.  
Даст бог, засветиш и на Чермном Понте,  
Где солнце своим светом сияет на воды  
Там забрмит твоя слава над всеми народы.

Недавний студент иезуитского университета счел должным на всякий случай усладить слух и «святейшего Никона, архиепископа царствующего града Москвы, и всея Великия, Малыя и Белья России, и всея Северные страны и Поморья и многих государств патриарха», как тот пышно себя поименовал:

Не спит Никон святейшы, леч отверсты очы  
На вси страны мает, яко во дне, так и ночы.

Бы волк хитры не шкодил, на вси страны чует...

О тактическом назначении этих «Метров», «Виншований» и «Витаний» свидетельствует «Витание епископа Калиста Полоцкого и Витебского...», сочиненное Симеоном в 1657 году. Калист был назначен епископом в обход существовавших в Белоруссии правил, поскольку белорусские земли находились под эгидой Константинопольского, а не Московского патриарха. Устраивать в его честь декламацию не было оснований. Тем не менее Калист, въезжая в Полоцк, услышал:

Лобзаем тебе пастыру, нам от бога даны.  
От царя православна на сей сан избраны.  
Тебе пастырем овец своим познаваем  
И пастырскому гласу твоему послушаем.

Едва ли такая работа на потребу монастыря приносила Полоцкому удовлетворение. Другое дело, что подобные вирши писались росчерком пера вне связи с вдохновением. Вообще, Полоцкий писал быстро и легко, почти без помарок. Ученик и последователь Симеона поэт Сильвестр Медведев, уже по смерти учителя, вспоминая его распорядок дня, сообщал: «К тому присно прилежал Симеон чтению и писанию. На всякий день нме залог писати в по л десть по полу тетради, а писание его бе зело мелко и уписисто». Восемь тетрадных листков каждый день. Возможно, в полоцкий период жизни он писал меньше, но не писать Симеон себе не позволял. Чувствуя недюжинный талант, он старался его осуществить, собственно, таковы были его воззрения:

Талант в землю сокрыти, есть то благодати  
данныя на тлетворны вещи обращати.  
И еще:  
Знающе правду, а о ней молчати,  
есть злато в землю тщетно закопати.

Симеон отлично владел латынью и писал стихи по-латыни, писал на родном языке и кириллицей и латиницей, часто писал по-польски. В ранний период (1648—1663) в круг поэтической обработки Полоцкого попадало все, что он знал: сведения из истории и географии, древние мифы, христианские легенды, личные религиозные переживания, устройство мира, астрономические сведения, смена времен года — словом, все, на что откликалась его душа и что узнавал он из книг. Патриотические чувства Симеона с особенной яркостью проявились в виршах, написанных по случаю возвращения русскими в Полоцк городской святыни — иконы Богородицы, а затем вторичной потери ее. Стихи Полоцкого, созданные в белорусский период творчества, отличаются личностной интонацией, активным чувством; они свидетельствуют о высоком уровне белорусской поэзии того времени, о неординарном таланте поэта. Существенно, что в эти сложные годы Симеон имел и свою аудиторию среди учеников братской школы и, верно, среди образованных горожан. Для творческой личности «обратная связь» — чувства читателя — очень важна, более важна, чем хлеб, ибо изоляция, «работа в стол» губят дарование.

Но развитию белорусского слова неблагоприятствовали события внешней жизни. Заключив перемирие с Россией, поляки дали отпор шведам; в это время умер Богдан Хмельницкий, а сменивший его гетман Выговский поддался под власть короля и в 1659 году под Конотопом, соединившись с татарами, наголову разбил отборные русские

войска князя Пожарского. Началась новая война России с Речью Посполитой, на сей раз сопряженная с ощутимыми неудачами: на Волыни была вынуждена капитулировать армия Шереметьева; в Белоруссии под Ляховичами Сапега, Кмициц и Чарнецкий разбили 20-тысячную армию князя Хованского. В 1658 году на сторону короля перешел полковник Нечай, и его казаки обернули оружие против русских. Передались королю и вожаки белорусских крестьянских отрядов — Мурашко, Драневский. В 1661 году восставшие шляхта и городские верхи Могилева перебили русский гарнизон. Войскам царя Алексея пришлось оставить Минск и Борисов, а осенью 1661 года — Полоцк. По сути дела, вся Белоруссия вновь вошла в состав Речи Посполитой. Недолгие годы благоденствия православной церкви завершились, и ближайшее будущее могло сулить лишь притеснения, что незамедлительно и последовало. Не решив ни одной из задач: религиозной свободы, облегчения социального положения крестьян, — война, сопутствующие ей голод, эпидемия унесли на тот свет половину населения. Огромный ущерб претерпели хозяйство и культура. С потопом образно сравнивалось это время. Представление о нем дает роман Генрика Сенкевича «Потоп». Кстати сказать, что прообразом главного героя романа — Андрея Кмицица — послужил оршанский войт Самуэль Кмициц, сын оршанского старосты Кмиты. Правда, литературный персонаж существенно романтизирован: он хоть и совершает множество недобрых, самолюбивых поступков, но не из корысти. В отличие от него реальный Кмициц был не чист на руку, обирал горожан и за такие грехи подвергся изгнанию. Однако за храбрость и воинские заслуги был прощен и даже получил высокий чин великого стражника литовского. В романе обстановка того времени передана впечатляюще и довольно точно; во всяком случае, ужасы той войны Сенкевич описал в полном соответствии исторической правде.

На полях сражений погибла наиболее активная часть народа. Развилось неизбежное после долголетних войн невежество, ожесточились нравы, вступила в свои права мстительность. Ничего доброго не мог ждать для себя в родном своем городе и вообще в Княжестве Симеон Полоцкий. «Горделивым, гневливым, а злым церкви гонителям» в любой момент могли припомниться его пышные восхваления русскому монарху («Солнцем, я тебе царю, упатрую») и размах пожеланий: «Прийми митру Литовску, прийми и корону Полскую, Алексею, под свою оброну». Претензии же такого порядка в то лихолетье без раздумий удовлетворялись саблей.

Из неожиданной перемены обстоятельств, помимо реальной опасности для жизни, проистекали и другие, не менее горькие, последствия, главное из них заключалось в теперь уже полной невозможности осуществить свои творческие планы, в частности получить доступ к печатному станку. В этом отношении неблагоприятными были и годы царского владения Белоруссией. Ближайшая к Полоцку типография Спиридона Соболя, которая помещалась в Кутеинском монастыре близ Орши, была вывезена в Новый Иерусалим (монастырь в 60 километрах от Москвы, основанный в 1656 году; ныне город Истра). Издательская деятельность на белорусском языке загасла, во всяком случае вторая половина столетия не отмечена книжными изданиями.

После отступления русских из Белоруссии православные братства переходили к обороне; от паствы, пастырей и монахов требовалась твердость духа для терпения обид. Скудость средств, которыми располагали братства, регламентировала быт белого и черного духовенства. Содержать одаренного, а потому склонного к независимости поэта и братству, и епископству было не по карману. Падение интереса к особе Полоцкого, пренебрежительное желание указать «сверчку свой шесток» выразилось в наказании, назначенном Симеону епископом Калистом; за какой-то проступок епископ обязал поэта к работам в хлеву. Уравнение высокообразованного Симеона с обычными скотниками

вряд ли было принято с душевным смирением. Более того, пришлось изведать и все страхи тюремного заключения. По навету Симеон какой-то срок отбыл за решеткой в ожидании суда и наказания. «Молитва в скорби сущего и клевету терпящего» передает испытанные Полоцким в те дни чувства:

Призри оком милости на мене скорбяща.  
От неправедна мужа клевету терпяща.  
Их же ум мой не мыслил, он на мя клеветет.  
А душа в невинности от страха трепещет.  
Крове моя хочет, пагубы желает...

Вообще, жизнь Симеона в этот период проходила тоскливо. Сквозь юмористическое описание быта в автобиографических стихах слышится горечь безысходного разочарования:

Вся глава умом велми ся наткана.  
А мозгу мало, что места не стало.  
Времем сквозь нос разум вытекает,  
Да Семен умен — языком приимает.  
А сколько силы не можно сказати —  
Лва на бумагу мощно мне раздрати.  
Другий то Сампсон, да нет с ким побиться,  
Кого вызову, всяк мене боится.  
Да кто с богатырем бороться посмеет.  
Мечем, пистольми — все Семен умеет.  
Мнози видають, как сильно борюся.  
Когда с рубахи в вечер раздегнуся.  
Не один недруг тогда погибает,  
А кровь от ногтей аж в очи плюскает.  
По такой битве рад я спочиваю,  
На мягкой лавке так трудов збываю...  
Свои полаты за печью имею.  
А про богатство хвалиться не смею,  
Чтоб вор не окрал, а стану дарити.  
Кто мя изволит скоро оженити.  
Я буду ему праведно служити —  
Хлеб дармо ести, вино добре пити.

Так что весьма невеселую, даже тягостную жизнь вел Симеон в монастыре. Хотелось ее изменить, надо было куда-то подаваться, где-то искать лучших условий. Мысли такого рода, верно, крепко занимали поэта:

Видите меня, как я муж отраден.  
Возрастом велик и умом изряден.  
Ума излишком, аж негде девяти,  
Купи кто хочет, а я рад продати.

Но время шло, а покупателя не находилось. Репутация певца враждебного Речи Посполитой монарха не позволяла искать счастья на родине. Раскаяние же в



«политических грехах», склонение головы перед меценатами католического исповедания было чуждо его культуре, и Симеон пошел на риск — летом 1664 года, забрав мать и племянника, он, как тогда говорили, отъехал в Москву.

Это был смелый шаг. В российскую столицу в поисках доли или ради заработка приходило достаточное число белорусов, но в основном ремесленники и шляхта; их умения никак не соотносились с идеологией. Полоцкий же явился с пожеланием занять место в духовной жизни Москвы, войти в слой людей, формировавших общественное сознание. Меж тем он как недавний униат и тем более как монах униатского Ордена легко мог быть обвинен в религиозном инакомыслии, подвергнут наказанию. Самое удивительное, что Полоцкий, живя в центре православия и сам выступая защитником официальной церкви, не отрекся от своих униатских убеждений. Не заявляя о них вслух, что было бы равносильно самозакланию, он в тишине своей кельи подписывает некоторые книги личной библиотеки, правда, на латинском языке, так: «Эта книга есть надежное вместилище знаний Симеона Петровского-Ситниановича, полоцкого иеромонаха Ордена святого Василия Великого». Дата — август 1670 года — не оставляет сомнений, что шесть лет пребывания в Москве, довольно тесные контакты с царским двором, с верхами русской церкви не поколебали взглядов Симеона и что к достоинствам «чистого» православия он относился с иронией. Предубеждение против крайностей религиозного чувства позволяло ему вкусить и от восточной и от западной культур. Признание либо одной, либо другой, по его мнению, обедняло те радости, какие следуют из широты знаний, из общения со всеми доступными авторами и книгами. Эту идею Симеон последовательно, пользуясь любым случаем, претворял в дело, вкладывал ее в различную форму — от богословских сочинений до стихов.

Естественно, что Полоцкий оказался во главе «латинников» — той группы русского общества, которая ориентировалась на восприятие западноевропейской культурной традиции. Латинский язык, за широкое изучение которого стояли латинники, был языком международного общения, языком науки; овладение латынью открывало доступ к европейской и античной культуре. К кругу латинников принадлежали достаточно влиятельные при дворе люди — начальник Посольского приказа Афанасий Ордин-Нащокин, окольничий Федор Ртищев, свояк царя Борис Морозов, боярин Артамон Матвеев. Последний устраивал в своем доме собрания литераторов, так сказать, литературные среды. Приятелем и единомышленником Полоцкого был и князь Василий Голицын, будущий фаворит царевны Софьи. Среди этих людей и вызревали идеи о необходимости преобразований в русской жизни, осуществить которые после поражения Софьи в борьбе за трон выпало Петру I. Их противниками была «старомосковская» партия, так называемые грекофилы, стоявшие за отказ от изучения наук, не относящихся к богословию, за главенство церкви над просвещением, за ограничение культуры церковной греческой традицией. Из этой партии происходили критики Полоцкого, а в 1690 году на церковном соборе грекофилы все сочинения Полоцкого объявили еретическими.

Но в 1664 году, и уже потом до конца дней, фортуна благоприятствовала Симеону. В недолгом времени по приезде он указом царя был назначен учителем в специально открытое училище для подъячих Приказа Тайных дел. Учеников было четверо; с одним из них — Сильвестром Медведевым — Полоцкого связывала близкая дружба. Под руководством Симеона Медведев развивал свой поэтический талант и вошел в историю русской литературы вслед за учителем как один из лучших поэтов-силлабистов XVII века. Жизнь его кончилась трагически — он был казнен в 1691 году через отсечение головы по ложному обвинению в заговоре на жизнь Петра. Таков еще один пример

несчастной писательской судьбы, отличной от судьбы Симеона Полоцкого.

Главными предметами в училище были латинский и польский языки, но кроме них Симеон преподавал своим взрослым ученикам грамматику, риторику, поэтику, кое-что из богословия, философию и астрономию с астрологией. Астрология учила составлению гороскопов. Тайные знаки звезд любил прозрывать Медведев: с помощью астрологических расчетов он исчислил месяц рождения своего учителя — декабрь 1629 года, однако, к сожалению, не предугадал своей беды. По моде века баловался гороскопами и Симеон, по крайней мере он составлял гороскоп при рождении Петра Алексеевича (будущего Петра I):

И ты, плането Арес и Зевс, веселися  
В ваше бо сияние царевич родися...  
От бога сей планет естество дадеся.  
Лучше бо прочих планет в действе обретесея,  
Хитрость, богатство, слава на ней почивает,  
И на главе царской венец полагает.

Пророчество, как известно, сбылось, поскольку его исполнили стоявшие за спиной Петра и рвавшие к власти Нарышкины. Но в 1672 году, когда сочинялся стих, обращение поэта к звездам носило сугубо метафорический характер — благорасположение планет к младенцу украшало стих и льстило самолюбию царствующих родителей. Личное отношение Полоцкого к астрологии было иным:

Звезды в человецех воли не вреждают,  
Токмо страстми плоти нечто преклоняют.  
Тем же на звезды вины несть леть возлагати,  
Егда кто зло некое обыче деяти.

«Приветства», подобные упомянутому, Полоцкий сочинял десятками, можно сказать, на ходу. С 1665 года, заняв как бы неофициальный чин придворного поэта, он отмечал «пиитическими художествами» все более-менее приметные события жизни царской семьи — рождения, смерти, браки, именины.

Свободному доступу в Кремлевский дворец способствовало и назначение Симеона наставником царевичей — сначала Алексея, а по его смерти — Федора (будущего царя). Их Полоцкий также обучал латинскому и польскому языкам, и конечно же, стихосложению. К авторитету и знаниям Полоцкого царь прибег и при выборе учителя для царевича Петра. По обычаю Петра начали учить с пяти лет, в учителя определили подьячего Никиту Зотова, но прежде в присутствии самодержца Симеон проэкзаменовал Зотова в чтении и письме. Специально для Петра Симеон подготовил и издал «Букварь». Поскольку в то время самым надежным средством для прилежания в науках считалась розга, Симеон решил украсить учебник юмористическим посвящением этому атрибуту просвещения:

Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает,  
Розга буйство из сердец детских прогоняет.  
Розги малому, бича большим треба,  
А жезл подрасшим, при нескудном хлебе.  
Та орудия глупых исправляют.

Плоти целости ничтоже вреждают  
И волю злую к богу прилагает...  
Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте,  
Та суть безвинна, тех не проклиняйте...

Заветной мечтой Симеона было создание в Москве высшего учебного заведения по образцу Виленского университета или Киево-Могилянской академии, в котором он сам мог бы занять должность ректора и, получив относительную независимость от двора и церкви, сумел бы деятельно осуществлять свои взгляды на просвещение. Однако ранняя смерть помешала исполнению этих планов. Но идея Симеона, хоть и в сильно ущербленном виде, была реализована в 1686 году, в правление Софьи, когда в Москве на Никольской улице открылась Славяно-Греко-Латинская академия.

Близость ко двору, зависимость от личных достоинств самодержца и людей его окружения налагали на Полоцкого определенные путы. Материальное содержание, назначенное ему царем как наемному литератору, требовало лояльности, исполнения работы «в соответствии с желанием заказчика».

Близ царя еси — честь ти сотворнся.  
Но точию вины всякие блюдиися:  
Ибо тяжко оттуда падати  
И неудобно есть паки возстати.

Называя себя в стихах, посвящаемых царю, «рабом смиреннейшим», «иеромонахом недостойным», Симеон всего лишь исполнял ритуал; о своем достоинстве он мыслил иначе:

Аристотелес рече, что себе хвалити  
есть суетство; глупство же есть себе хулити.

Связки восхвалительных эпитетов, которыми Симеон расплачивался с царем, говорили скорее о лексических изысканиях поэта, об удовольствии, доставляемом ему формотворчеством. Возводя словесно-архитектурные сооружения, которые можно было читать и разглядывать, как картину (например, в «Орле российском» среди панорамы звездного неба показано Солнце, от него расходятся 48 лучей, в каждый вписана одна из добродетелей царя, вокруг знаки Зодиака, панорама опирается на колонну из виршей и т. д., и все это в красках), создавая также свойственные эпохе барокко произведения, Симеон прежде всего удовлетворял свое творческое самолюбие. Прилагая к особе монарха определения «смиренно-мудрый», «добронравный», «тишайший», Полоцкий не говорил всерьез, это были скорее ритуальные речения.

Для искреннего умиления перед царем московская и российская действительность не давала оснований. Страну сотрясали народные волнения и восстания. Царствование «тишайшего», Алексея Михайловича (1645—1676) вошло в историю под названием «бунтажного времени» — тридцать восстаний за тридцать лет. В 1667 году разразилось восстание под началом Степана Разина. Раскололась церковь. Восемь лет длилось восстание на Соловках. Воевали с Речью Посполитой, но платили дань крымскому хану. Просвещение было заботой одиноких энтузиастов: государство об этом не заботилось. Непримируемость к недовольным и еретикам отличалась крайней жестокостью. После Медного бунта семь тысяч человек казнили отсечением головы, а пятнадцать тысяч —

отсечением руки или ноги. В 1672 году в Москве погиб на костре ученик Аввакума и тоже литератор Авраамий. В обиход вошло резание языков — дабы ересей не реклн.

В такой обстановке безусловного подчинения, молчания и насилия Симеон Полоцкий позволял себе поучать царя:

Мало есть правды царю мудру быти  
И подчиненных мудрости лишити...  
Вели и рабом мудрости искати,  
И того тебе будут работати...  
От искусных муж ищи совета  
И от разумных вопросы ответа...  
Милостив буди, и скор оставляти,  
Косен казнити, а готов слушати извинения.  
Кротость да храниши...

Требовала смелости и пропаганда терпимости к чужому мнению, к заблуждениям и грехам другого человека, что составляло главную тему его «Комедии о блудном сыне».

Известность пришла к Полоцкому в 1666 году, когда церковный собор судил патриарха Никона и решал вопрос о раскольниках. Симеон был приставлен переводчиком к восточному патриарху Лигариду, не знавшему русского и славянского языков. От Лигарида ожидали убедительного ответа, но представленное им сочинение не удовлетворило церковную верхушку, и ответ на челобитные раскольников попов Никиты и Лазаря поручили составить Полоцкому. Симеон написал обширный полемический трактат «Жезл правления». Пользуясь случаем, он наполнил свой труд просветительным содержанием, а всю систему доказательств нацелил против невежества. Именно в невежестве, по убеждению Полоцкого, коренились заблуждения раскольников:

Буйствам обдержимые, премудрость хухкают,  
Слепи суще, светлости оныя не знают.

Никита, в частности, «через все житие свое в нощи невежества слепоствовав, яко сова, дерзнул возвести мрачныя очеса своя в светлый лучи святыя богословия». Лазарь в полемическом освещении Симеона и вовсе неграмотен. «Иди,— писал он не без насмешки,— прежде научися грамматичесствовати, таже к вящным хитростям учения». Но и противники старообрядцев немногим их образованнее:

Православныя себе именуют быти,  
А мрачных еретиков не можем учити.  
Сами бо не учимся, избрахом лежати.  
Во тьме невежествия таин почивати.

Низкая образованность, по мнению Полоцкого, стала как бы корпоративным признаком духовенства. «Многие невежды, не бывшие никогда учениками,— писал он,— смеют называться учителями... по правде, это не учителя, но мучители. Оттого умножилась в людях злоба, преуспело лукавство, волхование, чародейство, разбой, воровство, убийства, пьянство... виною всего этого... неуменье и нерадение духовных отцов». Вообще, невежество для Полоцкого было злом зол:

Невежда пути вожд да не бывает  
Книг неискусный да не поучает.  
Невежда мудрого елма поучает —  
Слепец читаго провождает.  
Сова о лучах солнца рассуждает,  
Егда невеглас о мудрых вещает.

Естественно, что раскольники платили Полоцкому открытой неприязнью. Откровенный и резкий в слове протопоп Аввакум писал: «Христос не учил нас диалектики а ни красноречия, потому что ритор и философ не может быть христианин... Златоуст называет философов трапенежными псами, а нынешних мы философов как наречем их, разве песьими сынами». По Симеону же:

Яко врачество болезнь исцеляет,  
Философия нрав зол души исправляет.

Он говорил об Аввакуме: «Се не умеет науки». В 1667 году, когда Аввакума готовили к ссылке в Пустозерск, Симеон являлся к нему по просьбе царя, наивно верившего, что просвещенный иеромонах убедит упорствующего протопопа отступить. Аввакум записал об этом их последнем свидании так: «Зело было стязание много: разошлись яко пьяни, не мог и поесть после крику». Другой исход бесед был бы чудом: две самые интересные и великие личности эпохи — вождь раскола и глава «латинников» — принадлежали к различным культурам, не имели ни одной точки соприкосновения взглядов и интересов. Аввакум — религиозный бунтарь, Полоцкий — сторонник просвещенного абсолютизма; Аввакум старался сохранить старину, простоту души. Полоцкий стремился ее обновить познанием; для Полоцкого царь — «вождь, богом данный», для Аввакума — царь «в жизни сей, яко козел скача по холмам ветр гоня»; Аввакум — мученик за веру, заживо сожженный по приказу царя Федора; Полоцкий менее всего расположен был терпеть за веру; для Аввакума вера — изначально и независима от культуры; для Полоцкого — чем выше культура, тем выше нравственность:

Естество дает токмо еже жити.  
Философия учит благо жити;  
Ово со скоты обще нам бывает,  
Сня аггелам нас уподобляет.

Аввакум обращается к душе. Полоцкий — к уму; Аввакум в первую очередь проповедник, Полоцкий в первую очередь — просветитель и поэт.

Стихотворчество было главным увлечением Симеона. Оставленное им поэтическое наследство огромно — пятьдесят тысяч строк. Он писал во всех жанрах и достиг высокой отточенности формы. Первым в России он превратил поэзию из ремесла в искусство. Большинство стихов Полоцкого построено по одной схеме: образ и его поэтический эквивалент нравственного содержания. Например:

Колесо скрипяще путнику стужает.  
Человек же ропотный богу досаждает.

Поэтические ассоциации Симеона часто очень неожиданны. Какая связь вроде бы может быть между овцой и вечерней молитвой, однако же:

Овца бо, егда приидет время спати,  
Нрав на колени имать припадати.  
Овчествуй каждо, прежде преклонная  
На колена ты, сердцем сокрушися.

О высоком профессионализме поэзии Полоцкого свидетельствуют его стихи с рифмующимися полустипами:

Не люби тела и будет цела  
Душа, конечно, поживет вечно.  
При жизни, хлебе, со Христом в небе...

Или еще, более изощренные по форме:

Есть прелесть в свете, як в полном цвете, ту ты остави  
возлюбленный, душе грешная, от злб воспряни.  
Приходи время, а грехов бремя тя угнетает,  
демон же смелый на тебе в стрелы яд своя впускает.

Мог Полоцкий блеснуть и требующим кропотливой работы стихом в две колонки, которые можно читать раздельно и в совокупности, как единый стих:

Бог сый в небе	Боже благий
Радость тебе	Свете драгий
Да дарует	Да храниши
Честь и славу	Марфу здраву
Мужу праву	В твою славу
Да готует	Юже зрише
За то, яко	Тя, любящу
Всем благ всяко	И служащу
Бывавши	Сердцем правым
Бедным милость	Умом десным
Скорбным радость...	Словом честным...

Есть у Полоцкого стихи, соединяющие вирши на трех языках — славянском, польском, латинском. Любил он и существовавшие в античной поэзии фигурные стихи — в виде звезды, ромба, сердца и т. д. При случае Симеон умел поиграть значениями слова:

В мире не мирном мир ныне бывает,  
егда царь мира враги побеждает.

Главный сборник поэзии Полоцкого — «Вертоград многоцветный» — выразил все дидактические устремления поэта, который видел в своих стихах пособие к исправлению нравов: «Обрящет zde благородный и богатый врачевства недугом своим; гордости — смирение; сребролюбю — благорасточение... Обрящет гневливей — кротость и прощение удобное; ленивец — бодрость; глупец — мудрость... ненавистник — любовь...

блудник — воздержание». Нашли в сборнике место стихи сатирического содержания, из которых наиболее интересно обличение «Монах»:

Но увы безчиния! Благ чин погубися,  
иночество в бесчинство в многих преложися...  
Множицею есть зрети по стогнам лежащих,  
изблевавших питие и иа свет не зрящих...  
Мнози от вина буи сквернословят зело,  
лают, клеветцут, срамят и честныя смело...  
Ни жених иной так себе украшает,  
Яко инок несмыслный,— за что погибает...

Расположив стихи в алфавитном порядке, Полоцкий создал своеобразную энциклопедию, в которой перемежены изложение церковных легенд, анекдоты, сведения из истории, географии, минералогии, взгляды на идеального монарха, на обязанности начальника, обличения пороков, знахарства и особенно завистников и клеветников (на создание последнего цикла его вдохновили враждебные действия грекофилов).

Смелым начинанием Полоцкого был и стихотворный перевод Псалтыри. Идея не отличалась новизной — в Речи Посполитой такой перевод выполнил Ян Кохановский веком прежде, но по условиям московской жизни посягновение на книгу «священного писания», попытка вложить в рифмы нерушимо хранившиеся тексты казалось дерзостью, вызвала недовольство и сопротивление. Сама эта поэтическая акция, явное небрежение к старинной традиции уязвляли старый образ мышления. Одаренный остротой слова противник Симеона грекофил Евфимий объяснял его деятельность в таких нелестных образах: «Ведати подобает, како ся волк смиряет, когда овцу уловляет или коня хватает: не точию главою челом биет к земли пред овцею, но и на чреве ползает и хвостом ласкателне творит и очима блискает весело, яко свещами. Овца же рассуждает: яко то у волка на сердце, что и на хвосте. Нет, бедная овечка! Плюй на его челобитье, утекай от него, бежи!» Только покровительство царя позволило Симеону отпечатать «Псалтырь» в типографии. По ней учились грамоте несколько последующих поколений. Работе Полоцкого воздал должное М. В. Ломоносов, назвав эту книгу вместе с «Грамматикой» Смотрицкого «вратами своей учености».

Книгоиздательская деятельность Симеона — еще одно из важных для развития русской культуры дел. В отличие от Западной Европы и от соседних Белоруссии и Украины, где типографии могли держать частные лица и издавать литературу по собственному усмотрению, в России XVII века монополия на печатание книг принадлежала церкви. В стране была одна типография, подчиненная патриарху, и она работала исключительно на потребу церкви: из 483 названий книг, выпущенных в Москве за столетие, только 13 изданий носили относительно светский характер. «Латинствующие заблуждения», которыми наполнял свои сочинения Полоцкий, без сомнений, не получили бы разрешения на печатание от возглавителя грекофилов патриарха Иоакима. Безнадежными были бы и попытки издать в официальной типографии свои стихи. Под воздействием Симеона его воспитанник царь Федор Алексеевич нарушил вековой обычай и открыл типографию в Кремле специально для Симеона; Полоцкий был полным ее распорядителем. Избегая контактов с противоборствующим ему Иоакимом, Полоцкий на своих изданиях самовольно ставил пометку, что книга печатается с благословения патриарха. Иоаким впоследствии возмущался: «Толико убо той Симеон освоеволися... печатным тиснением некия своя книги издати, оболгав мерность нашу, предписа в них,

якобы за нашим благословением тья его книги напечатаны. Мы же прежде типикарского издания тех книг ниже прочитахом, ниже яко либо видехом... отнюдь не токмо благословения, но изволения нашего не было...»

Получив типографию, Полоцкий наметил печатать сочинения, соответствующие своему мировоззрению. Понятно, что первыми изданиями стали его собственные работы. Он собрал и подготавливал для опубликования всю свою литературную продукцию. Но в разгар этих хлопот он скоропостижно скончался. Принявший печатню Сильвестр Медведев издал два тома проповедей и наставлений Симеона — «Обед душевный» и «Вечеря душевная». Сборники же стихов «Вертоград многоцветный» и «Рифмологион» так и остались неизданными. Извлечения из них впервые появились в печати только в XIX веке, а более широко — в наше время. Полное издание поэзии Полоцкого пока что не осуществлено.

Издать «пиитическое» наследство своего учителя Медведеву помешали старания грекофилов, которые при благоприятствующих обстоятельствах — после поражения Софьи и связанных с ней «латинников» — вообще осудили сочинения Полоцкого как «ереси имущих» и дали на них запрет «дерзати народно и в церквах прочите ти». Однако не эта отсроченная месть идейных противников погасила читательский интерес к поэзии Полоцкого в следующем веке. Симеон в своем творчестве выступал просветителем, представляя читателю широкий круг знаний, явлений и идей, о которых не было возможности рассказать иначе. Но при Петре просветительство получило иные каналы распространения; научная и светская книга пошла к читателю прямо, не облекаясь в замысловатые одежды силлабического стиха. Да и сама силлабика была обречена на забвение. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний», разработанный В. Третьяковским и изданный в 1735 году, поставил крест на равносложных виршах. За все последующее развитие истории русской поэзии никто не обращался к силлабическому стиху, но без той огромной работы, которую проделали силлабисты, и более всех остальных Симеон Полоцкий, без того освоения разных поэтических жанров, без опробования тысяч поэтических сюжетов, без формальных поисков немислимо было бы качественное изменение стиха, которым отмечена уже поэзия Третьяковского, Ломоносова, Сумарокова. Потом пришли Державин и Жуковский. Потом Пушкин и Лермонтов создали русскую классику, и нива поэтическая расцвела... Но «первый гон» на ниве русской поэзии провел Полоцкий.

Он был последним в ряду мощных деятелей белорусской литературы эпохи Ренессанса и барокко, после него вплоть до 30-х годов XIX века крупные личности, выступавшие в литературе на родном языке, неизвестны. Он стал первым русским профессиональным писателем, и более того, первым в России, интеллигентом без необходимой для существования интеллигента среды, вопреки окружающей среде. С этим связаны некоторые моменты его социального «приспособленчества», неустанность его просветительской проповеди, широта «культурнической» миссии, гибкость и разнообразие ее форм и средств. Полоцкий обогнал российскую действительность на целый век. По суровому закону истории таких людей — предтеч и предвестников — ближайшие к ним поколения забывают. Так случилось и с Полоцким. Признание его достоинств и заслуг принадлежит нашему времени. Сейчас нет исследователя русской и белорусской культуры XVII века, который бы не обращался к творчеству Симеона. Литературная и идеологическая жизнь того столетия недоступна правильному пониманию без учета его деятельности.

Свеча жизни Полоцкого загасла, отмерив поэту пятьдесят лет. Умер он для всех неожиданно, после короткой болезни, в полной ясности сознания. Он близкую смерть



предчувствовал и составил духовное завещание. Распоряжаясь своим состоянием (а оно по тем временам было немалым: шестьсот рублей золотом и семьсот серебром), Симеон Полоцкий назначил определенные суммы некоторым белорусским монастырям — Кутеинскому, Полоцкому, Витебскому, Святодуховскому в Вильно, Минскому, Дисненскому, Миорскому, которые, оставаясь защитниками родной культуры на белорусских землях, противостояли ополячиванию и окатоличиванию. Эта была его последняя дань родине.

Похоронили Симеона в Заиконоспасском монастыре, где он прожил все шестнадцать лет своего пребывания в Москве; возле могилы поставлены были две каменные стелы, на которых высекали и позолотили эпитафию из 48 строк, написанную Медведевым. Перечисляя заслуги Симеона Полоцкого, Медведев отмечал, что это был муж «в научение роду российску явивый», «проповедью слова народу полезный». Служение слову, служение просвещению против «тьмы невежества» и связало неразрывно и навеки имя Полоцкого с историей нашей духовной культуры.

## **"Как радостный призыв свободы и весны..."**

В сорока верстах от Новогрудка исстари и до минувшей войны лежал фольварк Заосье, приобретший известность тем, что здесь в морозную предрождественскую ночь 1798 года у супругов Николая и Барбары Мицкевичей родился сын Адам. Принимавшая роды шляхтянка пани Молодецкая, веря в волшебное действие примет, пуповину перерезала на книге, что силою поверья обещало младенцу ученость и большой ум. Пожелание повитухи оказалось пророческим; оно и сбываться начало весьма скоро: с четырех лет Адам Мицкевич приучился читать; он был одним из лучших учеников новогрудской гимназии, среди лучших студентов виленского университета; к двадцати пяти годам издал два сборника стихов, и к нему пришла слава великого поэта; с выходом в свет полных «Дзядов» и «Пана Тадеуша» поэтический гений Мицкевича получил европейское признание. Лирика, поэмы Мицкевича переведены на множество языков, его лучшие произведения вошли в сокровищницу мировой литературы, служат и вечно будут служить говоря словами Генрика Сенкевича «возвышению человеческих сердец» Адам Мицкевич выказал себя не только в поэзии. Он читал лекции по римской литературе в Лозаннском университете, вел кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс, был литературным критиком, публицистом, редактором газеты «Польский пилигрим» и интернационального политического издания «Трибуна народов»; он вошел в историю революционного движения как идеолог демократического крыла польской эмиграции. Личность Мицкевича величественна, его жизнь и творчество являют достойный пример непрерывного духовного напряжения.

Отъезжал в 1829 году из Петербурга за границу, Мицкевич утешался надеждой скоро возвратиться на родину. Но полное тягот изгнание растянулось на десятилетия и прекратилось лишь со смертью, наступившей в 1855 году в Константинополе. Разлука с отчиной была самым горьким испытанием поэта. Он писал в «Пане Тадеуше»:

Хотел бы малой птицей пролететь я  
Сквозь бури, грозы, ливни, лихолетье  
И обрести безоблачность погоды.  
Отцовский дом, младенческие годы,

Одна утеха в тяжкую годину —  
С приятелями ближе сесть к камину,  
От шума европейского замкнуться,  
К счастливым временам душой вернуться,  
Мечтать о родине, забыв чужбину.

*(Перевод С. Мар)\**

\*Все последующие переводы поэтических цитат из Адама Мицкевича без указания имени переводчика принадлежат С. Мар (Аксеновой).

Жизненный опыт, житейские наблюдения Мицкевича, служившие материалом его творчеству, питавшие его патриотизм, тесно связаны с Новогрудком, где прошли его детские и юношеские годы, и вообще с Черной Русью, или «Литвой». При жизни Мицкевича название «Литва» понималось иначе, чем сегодня. В то время оно обозначало белорусские и литовские земли, составившие федерацию с польским королевством по Люблинской унии 1569 года. Литвином равно выступали белорус, жмудин, литовец. Называя Мицкевича «литвином», поляки разумели под этим, что он выходец не из исконно польских земель, а из земель, присоединенных к «Короне». Называя себя «литвином», Мицкевич указывал этим на свою принадлежность к общности народов бывшего Великого княжества; называя же себя «поляком», он подчеркивал свою политическую ориентацию. Ориентацию на возрождение Речи Посполитой, на протест против несправедливых ее разделов. Речь Посполитая была поделена между тремя этими державами и в 1794 году окончательно исчезла с политической карты Европы. Разумеется, в социальном устройстве Речи Посполитой было достаточно изъянов, определивших утрату государственности, но память о былой славе, о былом единстве страны, национальные честь и гордость не могли мириться с разделами, принять их как непреложный и неизменный факт, смириться. Из этого проистекали многократные восстания.

Но желая возрождения, Польша всегда претендовала и на земли Литвы и Белоруссии, образовавшие с ней Речь Посполитую по Люблинской унии. Однако уния, как говорилось выше, была навязана Великому княжеству Литовскому силой и в тяжелых для него обстоятельствах. Польша и Литва, объединенные в Речь Посполитую, никогда не были «единым телом»; различия, обусловленные многовековой самостоятельностью Великого княжества, не стирались в народной памяти, присутствовали в укладе жизни и идеологии белорусской и литовской шляхты. В образной форме Адам Мицкевич объясняет это так:

Вот рядом с месяцем взошла звезда, другая...  
Десятки тысяч звезд уже горят, мигая.  
Созвездье Близнецов зажглось над темным хмелем.  
Славяне звали их когда-то Лель с Полелем.  
Другие имена у них в Литве зеленой:  
Одна звезда — Литва, другую звать Короной

Без таких терминологических справок нельзя правильно понимать творчество и взгляды Мицкевича, отношение его к родной земле. Даже Ян Чечот, близкий друг Мицкевича, известный собиратель белорусских народных песен, писавший стихи на

белорусском языке, редко говорил «белорусские песни», а чаще «литовские песни», или «гминные песни», или «песни весняков» (то есть крестьян), белорусский язык называл кривицким языком. Сам Адам Мицкевич называл Новогрудчину то «Литва, отчизна моя», то в «Бульбе» — «Ты не такая, Русь,— открыта глазу».

Богатая событиями история Новогрудка служила одаренному юноше неиссякаемым источником романтических осмыслений прошлого. Над руинами древнего замка витали тени его славных обитателей — Миндовга, Дмитрия Корибута, Витовта. Каменные башни помнили осады крестоносцев, набеги татар, шведскую войну.

Весь новогрудский замок на крутом  
Плече горы луною позолочен,  
Поросший дерном вал высок и прочен,  
Песок синее. Тень косым столбом  
Уходит в ров, где вздохи влаги сонной  
Колеблют бархат плесени зеленой.  
Спит Новогрудок. В замке тушат свет,  
Лишь стражам, окликающим друг друга,  
Ни сна на башнях, ни покоя нет.

*(Перевод А. Тарковского)*

У подножия замкового холма на месте языческого капища стоял самый древний в Белоруссии каменный костел — в этом костеле Мицкевича в феврале 1799 года крестили. На соседней улице высился курган, который легенда называла курганом Миндовга. Сами собой вспоминались тут описанные Матеем Стрыйковским дела великого князя. Все было перепутано в маленьком поветовом Новогрудке: католичество, православие, униатство; старинные суеверия; здесь смешались белорусская культура крестьян и культура шляхты, здесь мирно жили белорусы, поляки, евреи, здесь мешались языки — двуязычие, а после 1794 года и трезязычие было нормальным, необходимым элементом быта. Здесь были свои обычаи, своя слава, свои великие имена, свое видение жизни, и они с детства прочно вошли в сознание поэта. Новогрудчина считалась «медвежьим углом» Литвы, но Мицкевич никогда не стыдился своего «провинциального», «за стен ко во го» происхождения; наоборот, силой своего слова он придавал отчей земле широкую славу и все права «столичности».

В Белоруссии немного городов, которые были бы так красиво расположены, как Новогрудок. С Замковой горы далеко открываются живописные холмы, вековые леса. Сейчас, пожалуй, только Налибокская пуца может дать представление о новогрудских чащобах прошлого века;

Гласят предания в краю моем родимом,  
Что, если лесом кто пойдет непроходимым,  
Наткнется на барьер стволов, колод с ветвями,  
Размытых в глубине бегущими ручьями;  
Там муравейников лесных хитросплетения,  
Гадюки, пауки, слепни — столпотворенье!

.....  
По паре всех зверей там собрала природа.  
Медведь, к зубр, и тур — владыки темной чащи.  
И двор у каждого богатый и блестящий:

Рысь с росахою бесменные министры.  
Скрываются в ветвях, на все решенья быстры...

В двадцати верстах от города несет свои воды воспетый в народных песнях и преданиях Неман. Часто упоминается Неман и Мицкевичем:

Где струи прежние, о Неман мой родной?  
Как в детстве я любил их зачерпнуть горстями.  
Как в юности любил, волнуемый мечтами,  
Ища покоя, плыть над зыбкой глубиной.  
*(Перевод В. Левина)*

Но не только берега седого Немана — все в Новогрудском повете и вокруг Мира, и вокруг Кореличей, и вокруг Несвижа, было исхожено, объезжено Адамом Мицкевичем или в одиночестве, или с друзьями — Томашем Заном (впоследствии известный поэт), Игнатием Домейкой (впоследствии известный географ), Яном Чечотом. Томик стихов Мицкевича — лучший путеводитель по памятным новогрудским местам. По дороге в Заосье встретятся вам озеро, лес и гора. Вот они, увековеченные в «Тукае»:

Серебрится месяц робко:  
То осветит бездорожье,  
То во мрак опустит тропку.  
Путь среди болот змеится  
Полой скрытого значенья  
Мимо заросшей Гнилицы,  
Вдоль Кондычева течения,  
Где темнеет снизу пуща,  
Темнохмурая дуброва,  
Где приветствует идущих  
Головой гора Жанрово.  
*(Перевод М. Голодного)*

Недалеко от Заосья таится в Плунжинском бору прекрасное озеро:

Ты видишь Свитязь. Гладь воды ясна.  
Как лед, недвижна и блестяща.  
И вокруг нее, как черная стена,  
Стоит таинственная чаща.  
*(Перевод В. Левина)*

А недалеко от Свитязи и Заосья находятся Тугановичи, во времена Мицкевича — родовое поместье Верещаков. Здесь влюбленный в Марылю Верещака поэт часто гостил в свои летние вакации. По вечерам в усадьбу собирались друзья Марыли и Адама; Томаш Зан, Ян Чечот, Адам читали свои стихи. Марыля играла на фортепиано, пела нравившиеся Адаму белорусские песни. Любовь к Марыле вдохновила Мицкевича на большой цикл сонетов и баллад. Имя князя Тугая, названного в балладе «Свитязь» владельцем города, который ушел на дно озера, но не сдался врагу, произведено Мицкевичем от названия усадьбы, где жила Марыля.

Разлучение с Марылей стало для Мицкевича страшным жизненным потрясением.

Память об этой любви его душа хранила всю жизнь. За несколько лет до женитьбы на Целине Шимановской, когда поэт и гадать не мог, что подобно прадеду и отцу сам станет отцом пяти детей, а Целина из-за тяжелой болезни рано покинет этот мир, он, рисуя в «Пане Тадеуше» образ Яцека Соплицы, писал:

Недолго прожила жена моя на свете  
И мне оставила Дитя и муки эти.  
Зато как сильно я всегда любил другую!  
Хоть много лет прошло, забыть все не  
могу я.

Образ Марыли постоянно присутствовал в его творчестве; ей посвящена I часть «Дзядов», идеализированные ее черты отразились в Зосе — героине «Пана Тадеуша». К одному из живописных и дорогих Мицкевичу уголков Новогрудчины — деревне Руте — «привязана» баллада «Люблю я».

«Однажды,— пишет поэт,— когда ехал ночью я в Руту,

...кони, рванувшись из всей своей мочи,  
Сломали оглоблю тугую,  
«Остаться здесь в поле, к тому же средь ночи,—  
Сказал я,— вот это люблю я!

Волшебство последних двух слов сняло заклятье с возникшего на дороге призрака девушки, и в благодарность призрак объявил поэту:

«За это — с грядущего — занавес мрака  
Сниму я, как тучу ненастья.  
Ты встретишь Марылю, полюбишь, однако...»  
Запел тут петух на несчастье.

*(Перевод М. Зенкевича)*

Однако Марыля Верещака, уступая настояниям семьи, выйдет замуж за графа Путткамера, а Мицкевичу и через десять лет будут вспоминаться впечатления первого приезда в Тугановичи, случайное появление в комнате Марыли:

Вошел и отступил — да что ж это такое?  
Здесь, что ни говори, жилище не мужское.  
.....  
Откуда в комнату попало фортепьяно?  
Уж не гостит ли здесь молоденькая панна?  
Все пораскидано, уют небрежный сладок,—  
Знать руки юные творили беспорядок!  
Кто платье положил на кресло у постели,  
Расправив бережно оборки и бретели?  
Расставлены горшки с геранью по окошкам,  
С петунией, астрами, гвоздикой и горошком.

Не однажды вспомнит Мицкевич фольварк Плунжин, где была написана «Свитязянка», и Пуцевичи, и Столовичи, куда часто ездил на ярмарки, на веселые

сборища людей, и Цирин, и Солечники, и Милашево, и Горбатовичи, и Щорсы, где под сенью старого дуба создавалась «Гражина», и свои прогулки с Марылей в поле, где

Простая песня жниц разносится над нивой,  
Печальная, как день бессолнечный, тоскливый;  
Не вторит эхо ей; в рассветной мгlistой рани  
Похрустывает рожь, несется кос жужжанье.  
Запели косари жужжанью в подражанье,  
Закончив полосы, оттачивают косы,  
В такт оселки звучат, как хор многоголосый,  
И не видать людей, лишь звон серпов да пенье,  
Как голос музыки, невидимой, осенней.

Но Адам Мицкевич интересен для белорусской культуры не переработками белорусского фольклора и новогрудских легенд. В его главных произведениях — поэмах «Дзяды» и «Пан Тадеуш» — отразилась целая эпоха белорусской истории.

Мицкевич происходил из мелкопоместной шляхты; род Мицкевичей не был коренным для Новогрудчины — прапрадед поэта перебрался сюда в конце XVII века из Людского повета. Их герб «Порай» осветить этнические корни рода не может. В 1413 году по Городельской унии бояре-католики Великого княжества Литовского приняли 47 польских гербов; позже ими пользовалась вся — и православная, и католическая, и кальвинистская — шляхта белорусских и литовских земель, хотя, конечно, имелись и самобытные гербы. Более того, в XVII веке в связи с большими потерями в войнах в ряды шляхты рекрутировались крестьяне, получая те же гербы, которые носили древние роды. Так что Мицкевичи по крови, скорее всего, были чернорусами. Говоря о белорусской шляхте того времени, необходимо помнить, что вся она, за редким исключением, была окатоличена и ополячена, как и магнатство, на которое она равнялась и интересам которого служила своими голосами и саблями. Восемь-десять поколений шляхты испытывали идеологическое давление «Короны» и, разумеется, усваивая польскую идеологию и культуру, утрачивали многое из своей.

Между тем на белорусских землях мелкая шляхта составляла значительный слой населения. По подсчетам, сделанным в начале прошлого века, в Белоруссии на шесть крестьян приходился один шляхтич. Большое число шляхты не имело крепостных, разнясь от крестьян личной свободой, гербом и правом ношения сабли.

Отец Адама Мицкевича крепостными не владел, жил от своего адвокатского места при новогрудском суде. Семья при его жизни не нищенствовала; среди новогрудских мещан и шляхты даже считалась богатой, поскольку Николай Мицкевич построил в кредит каменный дом в шесть комнат с подвальной кухней. (В годы войны он был сожжен гитлеровскими оккупантами; сразу после освобождения Белоруссии восстановлен и в нем размещен музей поэта.) Но когда в 1812 году по смерти мужа Барбара Мицкевич осталась одна с четырьмя сыновьями, на семью навалилась изнурительная бедность. Отъезжая учиться в Виленский университет, Адам Мицкевич в придачу к материнскому благословию получил лишь двенадцать дукатов. С того сентябрьского дня 1815 года поэт всегда зарабатывал на жизнь сам. Не имея средств платить за обучение, Мицкевич учился в университете как казенный стипендиат и позднее отрабатывал свое обучение преподаванием в Ковенской гимназии. Исключительно бедность послужила препоной браку Адама Мицкевича с Марылей Верещака, мать которой отметала саму возможность союза Марыли с бедным учителем.

Практически Мицкевич вел жизнь неимущего разночинца. Время было такое. Феодалный уклад быта сломался, а для зарождавшихся буржуазных отношений гербы, древняя слава родов, боевые подвиги предков ничего не значили. Мелкая шляхта оказалась на распутье: либо крестьянствовать, то есть платить подати, либо выбираться в интеллигенцию. К разладу старого образа жизни добавлялся русификаторский гнет самодержавия. Естественно, мелкая шляхта откликнулась на такую ситуацию революционными настроениями. Другое дело, что конкретно в Белоруссии между шляхтой и крестьянством оказался исторически обусловленный разрыв, подчеркиваемый разностью культур и языков. Такого разрыва, воспринимаемого как национальная рознь, не было ни в России, ни в Польше. Но для истории народа имеют важность состояния всех его классов и сословий. Написанный сразу после подавления царизмом восстания 1831 года «Пан Тадеуш» являет собой эпическое полотно жизни белорусской мелкопоместной шляхты.

«Поэт стоит между исчезающим племенем людским и нами. Прежде чем они умерли, он видел их, а теперь их нет. Это и характерно для эпопеи. Совершил это Адам мастерски: вымершее это племя увековечил; оно уже не исчезнет», — говорил о «Пане Тадеуше» польский поэт З. Красиньский. Поэма написана на польском языке, но отразила она белорусскую натуру начала XIX века.

Шляхту белорусских и литовских регионов, говорившую и писавшую по-польски, нельзя назвать «польской» без длинного ряда оговорок. Она имела местные корни, никогда не была силой оккупационной по отношению к народу, участвовала во всех событиях здешней истории, веками защищала эти земли — свою родину — от внешних врагов, следовала местным обычаям, пользовалась местным фольклором, была двуязычной и т. д. Возвращение мелкой белорусской шляхты к родному языку, приближение передовых ее представителей к заботам народа более-менее заметно проявилось перед восстанием 1863 года и усилилось, расширилось после его печальных уроков. А в предыдущее время использование белорусской шляхтой многих элементов польской культуры есть исторический факт. Художественная литература была в основном на польском языке; на нем писали все авторы местного происхождения. Их читательская аудитория была достаточной, ибо грамотное городское и сельское население училось читать в первую очередь по-польски. По этой причине и в силу цензурных преград белорусскому печатному слову из шляхты белорусских земель в XIX веке вышли считанные литераторы, которые пользовались родным языком. В польской литературе сложилась даже так называемая белорусская школа прозаиков и поэтов, писавших на темы из белорусской жизни, например, Юлиан Гжималовский, Александр Грот-Спасовский, Александр Гроза, Героним Марцинкевич и др. Польско-белорусскими писателями были Ян Чечот, Ян Борщевский, Владислав Сырокомля, Винцент Каротынский, Адам Плуг, Артем Вериге-Даревский. Все они испытали влияние Адама Мицкевича, продолжили «открытую» великим поэтом белорусскую тематику.

Сюжет эпопеи «Пан Тадеуш», весь его достоверный материал относится к новогрудскому периоду жизни поэта. Последний наезд на Литве — таков подзаголовок поэмы — разворачивается в имении Соплицы. Реальные Соплицы находились неподалеку от фольварка Заосье, которым в год рождения Адама Мицкевича владел его двоюродный дед Базиль. Он и владелец Соплиц — Ян Соплица — тесно дружили и славились на всю Новогрудчину как большие забияки. Что рассорило приятелей — неизвестно, но в 1799 году Ян Соплица с людьми так крепко побил Базилья Мицкевича, что тот через месяц скончался. Отец Адама долгие годы вел судебное преследование виновника смерти своего дяди, но наказания ему не сыскал. Такие побития вовсе не были редкостью в

шляхетской среде. В том же 1799 году сам Николай Мицкевич, случившийся по служебным делам в имении Базин, едва избег смерти, побитый Нарбутами и Рылло. К слову вспомнить, что Заосье досталось Мицкевичам после сорокалетней тяжбы с Яновичами. Но выиграв дело в суде, Юзеф Мицкевич — родной брат Базиля — не мог вступить во владение фольварком, поскольку Янович отказывался его покинуть. Тогда Мицкевичи с помощью друзей отбили Заосье силой. На памяти Адама Мицкевича в Новогрудском повете были еще два широко известных наезда.

Подобный конфликт связывает и героев «Пана Тадеуша»: Соплицы враждуют с Горешками из-за замка, который каждая сторона считает своим. Поэма «населена» множеством героев — от комических фигур Юриста и Ассессора до мощной трагической личности Яцека Соплицы; по страницам поэмы проходит буквально парад лиц, хранителей давних шляхетских нравов, людей, ориентированных на прошлое; здесь переплелись несколько любовных, политических, имущественных интриг, которые навязывают героям непредвиденные приключения, радости, разочарования и счастливо разрешаются двумя свадьбами; в поэме юмор перемежается пафосом, веселая улыбка грустной, и все озарено светом сыновнего, любовного отношения автора к родной земле, заботливого размышления о ее судьбах. Сам поэт писал о «Пане Тадеуше» в письме к Антонию Одынцу: «Что там лучше всего — это написанные с натуры картины нашей родины, наших обычаев и нравов». Действительно, поэму отличает яркая образность: закаты, восходы, поля, луга, леса, охота на зайца и на медведя, шляхетские увлечения, споры и привычки выписаны с изумительным проникновением. Вот, к примеру, несколько строк о деревенском оркестре:

От предков повелось у нас обыкновение  
Под музыку сельчан плясать и петь на свадьбе.  
Вот музыканты ждут, они с утра в усадьбе;  
Знак подан.  
И скрипач, взмахнув смычком коротким,  
На скрипку оперся тяжелым подбородком,  
Галопом свой смычок пустил по струнам скрипки.  
Волынщики вапев схватили без ошибки,  
Плечами двигали, как будто бы крылами,  
И дунули в меха, зажглось на лицах пламя.

По всем двенадцати книгам поэмы рассыпано множество бытовых сведений. Как в энциклопедии, здесь и устройство двора, и устройство корчмы, и кулинарные рецепты, и огород, и правила обхождения, и обычаи. Например, во время обручения

Тадеуш с Зосею, конечно, не сидели.  
Но потчуют гостей и сами с ними ели;  
Так по обычаю пристало новым панам —  
Сперва прислуживать самим своим крестьянам.

Вот пан Гречиха по фигурам старинного сервиса объясняет ход поветового шляхетского сеймика:

Взгляните, шляхтич тот с решеньем не согласен,  
Из кухни выглянул, рассержен он и красен,



И, выпучив глаза, разинул рот широко,—  
Как будто бы пожрет всех во мгновенье ока!  
Нетрудно угадать, что закричал он «вето»!,  
Что шляхта кинулась к нему невзвидя света  
И, сабли обнажив, грозит ему расправой,—  
От битвы не уйти жестокой и кровавой.

Нравы шляхты емко представлены в сценах подготовки к наезду и самого наезда. Вот ироническое описание захвата Соплиц сторонниками графа Горешка, когда победители берут трофеи:

Все шляхта грабила, что под рукою было,  
Не тратя времени, забрался в хлев Кропило;  
Он окропил волов и двух телят, а Бритва  
Хватил их саблею. Кипела радом битва.  
Там Шило действовал, колол он под лопатки  
Свиной и поросят, бегущих без оглядки.

(Кропило, Бритва, Шило — клички шляхтичей, данные им в повете по виду излюбленного оружия — дубине, сабле, тесаку).

Большинство персонажей поэмы имело реальных прототипов на Новогрудчине. Судья Соплица «списан» с судьи Ростоцкого, в имении которого Рута Мицкевич часто гостил; рутская усадьба описана в первой книге поэмы; прообразом Подкомория послужил новогрудский подкоморный Пшецлавский; прообразом корчмаря Янкеля считают держателя плунжинской корчмы; буквально для всех упомянутых в поэме лиц — Добжниских, Возного, войскового Гречиши, Телимены, Рыкова, Володковича, Бергелей, Бирбашей, Подгайских — исследователи творчества Мицкевича определили исходную фигуру. Разумеется, сила типического обобщения перетопила жизненные реалии в художественную правду. Но для белорусского читателя географические, личностные, исторические координаты поэмы позволяют лучше определить собственную прошлую действительность. Ведь многие обстоятельства жизни в Польше слагались по иному, чем в Белоруссии и Литве. Польские крестьяне, например, статьей конституции 1807 года, были избавлены от личной зависимости, и царское правительство оставило для них в силе этот освободительный акт. Для белорусских и литовских крестьян, равно как и для русских, крепостное право просуществовало до 1861 года. Мицкевич непосредственно на польских землях был однажды; его жизнь до отъезда в эмиграцию прошла в Белоруссии, Литве и России, и рабское состояние самого многочисленного сословия он знал по собственным наблюдениям. Призывая к борьбе с царской тиранией, мечтая о вольной отчизне, Мицкевич считал, что шляхта не будет свободной, пока несвободен народ, и свои мысли он вложил в уста Тадеуша:

Отчизну милую мы получили снова,  
А что сулит она крестьянам дорогого?  
Одно-единственно — хозяина другого!  
.....  
Я — человек, боюсь играть чужой судьбою;  
Рабовладельцем быть позорно человеку,—  
Хочу отдать крестьян под новую опеку.

Пусть счастливо живут они в краю родимом,  
Подарим волю им и землю отдадим им,  
Ведь родились на ней и до седьмого пота  
На ней работают — всех кормит их работа!

В 1834 году, когда писались эти строки, вопрос об освобождении крестьян для шляхты польских земель утратил остроту. Для Белоруссии же и Литвы вопросы наделения крестьян волей и землей оставались насущными, они занимали умы, и шляхта, в зависимости от убеждений, искала доводы за и против. Консервативное мнение, бытовавшее в кругах белорусского панства, высказано (в мягкой форме) шляхтичем Гервазием в ответе на решение Тадеуша дать своим крестьянам свободу:

Жалею о крестьянах!  
Не оказалась бы та выдумка немецкой,  
Свобода искони была у нас шляхетской!  
Хотя произошли все люди от Адама,  
Но хлопы, слышал я, ведут свой род от Хама,  
От Сима — шляхтичи, евреи — от Яфета,—  
Зато к властвуем от сотворенья света.

Мицкевич — первый писатель, который ввел в художественную литературу образ белорусского крепостного крестьянина. Смена стародавнего обряда поминовения умерших (II часть «Дзядов») выражала протест поэта против гнета панов, распоряжавшихся «хлопами», как скотом, звала к состраданию ужасной доле крестьянина. В символических фигурах обряда поэт высказал народное отношение к властвовавшему сословию:

Гей, сычи, вороны, совы,  
Вот и мы теперь готовы  
Беспощадно, в лютой злости  
Пищу пана рвать на части.  
Нету пищи в панской пасти.  
Значит, пана рви на части,—  
Пусть белеют в поле кости!  
*(Перевод Л. Мартынова)*

В «Пане Тадеуше» социальные конфликты сглажены, в картинах сельского быта чувствуется пастораль, вообще родной автору мир Новогрудчины опозитизирован, воспроизведен в красках, подсказанных памятью изгнанника Соплицы — земля обетованная, куда отлетает отдыхать истосковавшаяся на чужбине душа. Действие поэмы завершается осенью 1812 года с вступлением в Новогрудок корпуса Юаефа Понятовского к французским войскам. С победой Наполеона в начавшейся войне шляхта связывает надежды на возвращение былой вольности. На этой волне патриотических чувств Мицкевич и обрывает повествование о последнем наезде на Литву, о судьбах шляхты. Новые времена не совмещались с прежними, к ним не приложимы были спокойствие и юмор, с какими можно вспоминать «доброе старое время».

Конечно, Мицкевичу ход и исход войны были известны хорошо. Знал он и те разрушения, и те людские жертвы, которые потерпела Беларусь, и то крушение надежд, возлагавшихся поляками на Наполеона, отдавших ему свои жизни для возрождения Речи

Посполитой. Такие события «добрым старым временем» назвать невозможно. Это была трагедия, перелом бытия и мировосприятия.

Люди 30—40-х годов по-иному чувствовали жизнь, иную вели борьбу, иные принимали муки. Бушевание страстей, духовный накал, свойственные III части «Дзядов» и продолжающим ее стихам «Отрывка», — это уже история дворянских революционеров; в России — декабристов, в Белоруссии и Литве — филаретов, участников восстания 1831 года. «Пан Тадеуш» — история предыдущего поколения, с которым завершилась феодальная эпоха жизни польского, белорусского, литовского народов. Поэма — гениальное произведение литературы, достояние мировой классики, в ней выразились гуманистические идеалы Адама Мицкевича, она научает терпимости, уважению, любви к людям, пестит добрые чувства души.

Содержанием третьей части «Дзядов» стал первый в Литве и Белоруссии политический процесс над революционно настроенной молодежью. Разгром гимназического общества «Лучистые» и студенческого общества филаретов, учиненный в Вильно в 1823 году сенатором Новосильцевым, явился репетицией тех жестоких репрессий, которыми царские палачи гасили восстания 1831 и особенно 1863 годов. Мицкевич сам был среди жертв этого циничного «следствия», полгода провел в тюремной камере, а назначенная ему «мягкая» кара — запрещение жить на родине и высылка в Россию — определилась стараниями друзей, затемнивших его роль в обществе филаретов.

*Многие судьбы оказались изломаны, многие жизни исковерканы, молодость, здоровье, духовные силы множества людей отняты ссылкой. Ссылка сломала жизнь Яна Чечота. Он родился в 1796 году, его детство прошло в окрестности Новой Мышь, неподалеку от Свитязи и Колдычевского озера. Как и Мицкевич, Чечот учился в Виленском университете и был одним из активных деятелей Общества филематов. После следствия и суда он был выслан в Уфу, затем в Тверь и вернулся на родину после девяти лет жизни на чужбине, жизни, полной бедствий. Умер Чечот в 1847 году в Друскениках, неподалеку от них — в деревне Ротница он и похоронен. Работая по возвращении в Отчизну библиотекарем у графа Хрептовича в Щорсах, Чечот собрал и издал несколько сборников белорусских песен, чем внес выдающийся вклад в белорусскую культуру и положил начало собиранию белорусского фольклора. Его талант — пусть и не такой яркий в сравнении с мицкевичским — безусловно, проявил бы себя шире, не будь его душа и физические силы сокрушены репрессиями.*

Страдания, принятые белорусской и литовской молодежью, равно как их стойкость, верность идеалам, общеизвестны. Но вот что хочется отметить. Третья часть поэмы написана сразу по неудаче восстания 1831 года, другие части созданы девятью годами прежде — поэт их тем не менее соединил. Такое решение Мицкевича исполнено глубокого смысла. «Дзяды» — белорусский народный обряд: по представлениям белорусов, души предков — дзядов — приходят на свидание с живыми не только ради поминальной чарки и каши. Воскрешая в памяти дзядов, живые дают им ответ за свои дела, за верность заветам. Чуткая совесть народа следит, чтобы ничто из духовного наследия дзядов не забылось, не утерялось, не отверглось — ведь все, что есть у живых, создавали дзяды, а то, что не смогли сделать они, обязаны сделать их потомки. «У автора этой поэмы была одна цель, — писал Мицкевич, — чтобы сохранилась в памяти народа история Литвы за несколько десятков лет...» Поэтический гений Адама Мицкевича увековечил наказ дзядов — не мириться с насилием тиранов, песня поэта утверждала и

утверждает высокие чувства свободолюбия.

Огонь пожрет истории прикрасы,  
Злодеями похитятся алмазы,  
Но песня души всех людей пронизает...  
(Перевод Н. Асеева)

Чужбина, особенно чужбина вынужденная, эмигрантская, не благоприятствует творческому дару. У редких художников вдали от родины сохраняется действенным талант. Есть истинная правота в древнем народном символе: мать — родина — земля дает силы; дух чужбины словно бы сдерживает вдохновение. После «Пана Тадеуша» (1834) Адам Мицкевич почти не работал в поэзии. Его духовная жизнь обрела иное содержание, иную ориентацию — на политическую деятельность. Ностальгия, мучившая его и в Париже, и в Лозанне, и в Венеции, требовала каких-то реальных дел. Мысленно он жил на родной Новогрудчине и в минуты острой тоски вспоминал любимые народные песни, например, как отметил А. Одынец, ту, которую в молодые годы пел вместе с Марылей:

Да цераз мой двор,  
Да цераз мой двор.  
Да цяцера ляцела.  
Не даў мне бог.  
Не даў мне бог,  
Каго я хацела.

Получив изданный Чечотом сборник белорусских песен, Мицкевич часто перечитывал его в час грусти. О родном крае и родном народе поэт подолгу беседовал с приятелями. Он считал, что «из всех народов славянских русины, то есть крестьяне губерний Пинской и частично Минской и Гродненской сохранили более всего славянского. В их сказках и песнях есть все. Памятников письменных немного, только Статут Литовский написан их языком — гармоничным и наименее искаженным из всех диалектов славянских. Жизнь их целиком в духе. На земле же вся их история была исполнена нужды и насилия.»

Со страстным вниманием изгнанника следил Мицкевич за событиями в Белоруссии. После неудачи восстания 1830—1831 гг. в эмиграции оказалось немало земляков, среди них руководитель повстанцев Новогрудского и Слонимского поветов Юзеф Кошиц. Оказался там и сражавшийся под началом Кошипа родной брат Мицкевича, и участники битвы под Вильно, и беловежские инсургенты. Их рассказам Мицкевич жадно внимал. Отряды повстанцев насчитывали десять тысяч человек. Восстание не получило поддержки крестьян в силу антагонистических интересов, которые, подобно пропасти, разделяли крестьянство и шляхту. Собственно поэтому оно было достаточно легко и чрезвычайно жестоко подавлено.

Крестьянские выступления за волю и землю продолжались. Усиление барщины в 20-е годы вызвало волнения на Брестчине и Гродненщине. В 30-е годы произошло 46 крупных крестьянских выступлений против крепостничества. Для подавления 25 из них царизм применил армию. 40-е годы отмечены массовыми побегами крестьян на юг России (на обживаемые херсонские земли) и на север (на строительство Петербургской железной дороги). Это было бегство от помещиков, от безжалостного насилия, голода,

рабства.

С 1846 г. в Минске, Гродно, Новогрудке, Лиде, Слониме действовал тайный «Союз свободных братьев» с программой, нацеленной против самодержавия. В Боровлянах под Минском «братья» изготавливали оружие, необходимое для очередного восстания. Стремясь затушить в Белоруссии постоянное «кипение страстей», правительство Николая I провело некоторые крутые реформы. Так, в 1840 г. было отменено действие на белорусских землях Статута Великого княжества Литовского.

которым пользовались здесь три с половиной столетия, стало обязательным делопроизводство на русском языке, закрывались местные, а открывались русские начальные школы и гимназии, на все административные должности назначались русские чиновники и т. д. В 1839 г. Полоцкий церковный собор принял продиктованное царем решение об объединении униатов и православных, из чего опять же вытекал целый ряд мер русификации, в первую голову крестьянства. Драматизм родной истории представлялся Мицкевичу так: «Этот край истинно славянский не имеет своего названия, потому что не является государством, а склоняется то к польской системе, то под русский скипетр. Земли эти оказались завоеваны Рюриковичами и после того завоевания носят название земель русских... На этой территории сражались две религии: католическая и православная. Речь Посполитая шляхетская и самодержавие России вели здесь ожесточенные войны».

Сочувствие родному народу, который на протяжении столетий оказывался между жерновами двух соседних противостоящих государств, подвигало Мицкевича на конкретные действия борьбы. В 1848 г., в год «весны народов», Мицкевич организует в Италии легион из соотечественников — он так и назывался «легион Мицкевича», — который, по мысли поэта, должен был принять участие в освободительной войне и на родине.

Отдавая дань уважения личному мужеству добровольцев этого и других легионов, следует отметить нереальность их планов. На западных границах империи самодержавие держало огромную армию, поскольку выполняло роль «жандарма Европы». В Белоруссии были расквартированы мощные воинские подразделения, победить которые могло бы только всеобщее народное восстание (например еще при Александре I было проведено усиление западных рубежей: снесен старый Брест и на месте древнего города построена Брестская крепость). Да и само время, объективные исторические процессы требовали не столько легионов, сколько выработки программы, обращенной к народу и учитывающей его сокровенные интересы. Но это была задача нового, только становящегося в России, марксистского сознания.

С началом Крымской войны Адам Мицкевич вновь организует легионы, должны сражаться против царизма. Но в Константинополе поэт попал в эпидемию холеры, заболел, и там оборвалась его жизнь.

В 20-е годы нашего века, возродив стародавний обычай, земляки поэта насыпали в его честь курган. Этот рукотворный, горстями насыпанный курган вознесен на холме, напротив руин воспетого Мицкевичем в «Гражине» замка, на тех самых тропинках, по которым бродил поэт в юности, на том самом месте, с которого вглядывался в синеющие на горизонте дубровы и боры Налибокской пуши, в древнюю дорогу, бегущую по холмам среди лесов к Неману. Прах Адама Мицкевича покоится вдали от родной земли, от могил предков, но дух его здесь, в местах первой встречи с музой, в местах, памятных сокровением первой любви. Он здесь, вместе с дядями, о которых поэт писал.

Старые уже деревья бережно окружают этот курган, здесь тихо, и в шелесте листьев слышится тихий голос поэта, мерный ритм стиха, чарующее поэтическое слово —

бессмертное слово любви к родине, слово страстного волнения о ее судьбах.

Стихи и поэмы Мицкевича читаются и в подлинниках, и в переводах. На белорусский язык переводили их Винцент Дунин-Марцинкевич, Александр Ельский, Янка Купала, Якуб Колас, Бронислав Тарашкевич, Кондрат Крапива, Аркадий Кулешов, Максим Танк, Михась Машара, Пилип Пестрак, Максим Лужанин, Юрий Гаврук, Владимир Короткевич, Рыгор Бородулин, Янка Сипаков и многие другие наши поэты. Произведения Мицкевича вошли в культурный обиход белорусского народа; исполнился завет поэта, прозвучавший в эпилоге «Пана Тадеуша»:

Дожить бы мне до радостного мига,  
Когда войдет под стрехи эта книга.  
Чтоб девушки за пряжею кудели  
Не только бы простые песни пели  
Про девочку, что скрипку так любила,  
Что и гусей для скрипки позабыла,  
Про сиротинку зорьку-заряницу,  
Что на ночь глядя загоняла птицу, —  
Чтоб взяли девушки ту книгу в руки.  
Простую, как народных песен звуки.

Голос поэта, «как радостный призыв свободы и весны», равно слышен всем народам.

## Ответ

Дунин-Марцинкевич стал первым белорусским писателем в новобелорусской литературе, ее зачинателем. В этом отношении он совершил великое дело. Ведь два предыдущих столетия белорусский литературный язык не развивался, литература создавалась на польском языке, а белорусский язык пользовался уничижительной репутацией «гаворкі вясковага люду», «хлопскай мовы», которая для изящной словесности никоим образом непригодна. Того же мнения держался и чиновничий аппарат, проводивший в Белоруссии политику русификации. Белорусскому писателю, если он хотел издаваться и иметь читательскую аудиторию, оставалось писать либо по-польски, либо по-русски. Но вот появляется одаренный человек — не из низов, не из деревни, а «свой», из дворян, который сознательно и целенаправленно пользуется «мужицким» языком. Конечно, во взглядах Дунина-Марцинкевича на белорусскую культуру заметна непоследовательность, в творчестве его действуют две языковые стихии, но он выступил против официальной установки, скинул гнет традиции, ответил на насущную народную потребность в собственной литературе, содействовал пробуждению национального самосознания.

По своим политическим взглядам Дунин-Марцинкевич был шляхетским революционером либерального крыла, и когда стала складываться революционная ситуация, он принял в ней посильное — и как можно судить — немалое участие. Агент III отделения, посланный весной 1861 года в Белоруссию и Литву для выяснения авторов и распространителей противоправительственных прокламаций, докладывал своему начальству, что стихотворное воззвание «Призыв сына Отчизны к братьям-литвинам

написано помещиком Дуниным-Марцинкевичем. «Недавно этот самый Марцинкевич,— продолжал агент,— написал произведение на народном языке под заголовком «Гутарка старого деда», где показывает судьбы Литвы в стихах от 1792 года до нынешнего времени, выказывая все притеснения, какие только могли быть на крестьян, и приписывая все эти притеснения правительству. Эти стихи уже довольно распространены и так убедительно действуют на крестьян, что где только они появились, то крестьяне перестали быть привязанными к государю, которого раньше благославляли, и начали искать заступничества помещиков».

Обвинение в авторстве крамольных стихов и стало одной из причин ареста Дунина-Марцинкевича в октябре 1864 года. Восстание в Белоруссии и Литве было уже подавлено, и царское самодержавие проводило чистку мятежных губернии, сводило счеты со своими политическими противниками. Дунин-Марцинкевич был бы арестован намного раньше, активные розыски его властями велись с февраля 1863 года, но в своем имении Люцинка он не жил, и отыскиали его в местечке Свирь. Отсюда писатель был препровожден под конвоем в губернский Минск и заключен в тюремный замок. В это время все тюрьмы были забиты людьми; для содержания инсургентов (повстанцев) и сочувствующих им использовались разные помещения, в первую очередь недавние католические монастыри. В Минске, например, помимо тюремного замка таким целям служил бернардинский монастырь (здание его сохранилось, расположено неподалеку от площади Свободы; сохранилось и здание тюрьмы). Считается, что в монастыре находилась под следствием и перед высылкой «в отдаленные губернии империи» дочь Дунина-Марцинкевича Камилла. Но никаких точных свидетельств, где и кого держала под стражей жандармская служба, не сохранилось; часть жандармских и полицейских архивов сожгли сами полицейские чины сразу по Февральской революции, часть погибла в годы гитлеровской оккупации, и архивных сведений о заключенных минской тюрьмы 1863—1864 годов осталось немного. Но едва ли Камиллу, которую обвиняли как главную зачинщицу беспорядков в Минске, держали в помещении монастыря. Ближе к истине думать (и есть косвенные указания в сохранившихся бумагах), что она находилась за более надежными решетками минской тюрьмы, откуда в сентябре 1863 года ее отправили по этапу в Соликамск и куда годом позже поместили ее отца.

Винценту Дунину-Марцинкевичу шел пятьдесят восьмой год. Лета достаточно поздние для тягот тюремного быта, бесконечных допросов, сидения в камере, ожидания высылки «во глубину сибирских руд». Думается, что отца и посадили в ту же тюрьму, где незадолго перед тем томилась любимая его дочь, из мелочной жандармской злобности, из присущего этому клану садизма. Условия содержания в тюрьме «политических преступников» были очень тяжелы. И в обычные времена тюремная практика в России отличалась крайним произволом. Например, в среднем из каждой сотни арестованных только 53 получали осуждение, остальные 47 подвергались подследственному заключению без причины, понапрасну, в силу вопиющего беззакония. По многим губерниям процент невинно страдающих в тюрьме людей был еще выше. Так, в Витебской губернии он составлял 74 процента, в Могилевской — 63, то есть из каждых ста, взятых в тюрьму, 74 или 63 человека не имели за собой никакой вины, а меж тем, прежде чем выйти на свободу, подвергались как минимум исправительному наказанию розгами — так сказать для острастки, на всякий случай, превентивно. С началом же восстания 1863 года министерство внутренних дел уплотнило тюрьмы вдвое — там, где по проекту могло находиться триста заключенных, содержали по шестьсот—восемьсот человек. Подавлявший восстание Муравьев признавался со смешком: «Очень часто я сажаю мятежников без малейшей вины, даже подозрения нет; ну, в таком случае я всегда

думаю: посидит под замком, да подолее, быть может, что-нибудь да отыщется. И что же вы думаете? Я был так счастлив, что всегда что-нибудь за сидельцем-то моим и отыскивал. Ну, тогда и подай его сюда». Поскольку муравьевскими «сидельцами» тюрьмы были забиты до отказа, условия жизни заключенных становились невыносимы. Ведь ни камеры, ни баня, ни кухня не могли обслужить удвоенное, утроенное число людей. Давка, спертый воздух, скверная пища, клопы — все вместе взятое походило на ад. Едва ли арестованному оказывалась помощь близкими или знакомыми, поскольку действовал страх, что такая забота будет истолкована как сочувствие повстанцам со всеми вытекающими из этого последствиями. К тому же Дунин-Марцинкевич по бедности не располагал средствами, чтобы войти в «недозволенные» контакты со стражей и улучшить свой быт. Так что четырнадцать месяцев пребывания в одной из камер минского тюремного замка прошли для Дунина-Марцинкевича в больших тяготах.

Из окна зарешеченной «обители» открывалась поэту улица Немига, застроенная вдоль реки — летом маловодной (почти ручей), в осенние дожди бурливой, а весной, в половодье, даже опасной своими разливами. Утром по Немиге спешил на Нижний рынок народ (примерно на этом месте находится сейчас минский Дом моделей), а на горе над Нижним рынком был центр города — Соборная площадь (ныне площадь Свободы) с губернаторским дворцом, костелами, собором. Тут (приблизительно на том месте, где расположена консерватория) находился тогда двухэтажный дом, служивший городу театром. Мыслями своими устремлялся узник к этому дому, с которым были связаны многие из лучших переживаний: здесь ставились его пьесы, здесь он сам играл в спектаклях, здесь гремели оvationи, здесь были испытаны минуты радостного вдохновения, славы и счастья. Да и не одна только эта площадь была известна писателю. Весь город он мог обойти с закрытыми глазами и во множество домов мог бы зайти желанным гостем, как заходил прежде, когда жил в Минске до приобретения имения Люцинка под Воложином. Но и после покупки имения Минск оставался родным городом — тут был у него и свой дом и собирались к нему друзья: писатель Александр Ельский, художник Ян Домель, поэт Игнат Легатович, краевед Константин Тышкевич, любитель розыгрышей Юрий Кобылинский и самый дорогой из друзей — Владислав Сырокомля. Здесь сдружился он с композитором Станиславом Монюшко, и Монюшко написал музыку к его пьесе «Идиллия». Первыми слушателями оперы были минчане, те минчане, от которых сейчас он был отделен толстыми стенами тюрьмы и штыками охраны.

Было что вспомнить Дунину-Марцинкевичу, наблюдая город через железную решетку. Было о ком погрустить. В полной безызвестности оставалась судьба Камиллы. Жива ли? Здорова ли? Вернется ли назад? И близких товарищей разнесло по белу свету. Из тех, что пошли в восстание, уже никого не придется увидеть. Старая привычная жизнь, сборы, споры, издание книг — все ушло дымом. И собственное будущее оставалось неизвестным. О нем и гадать было сложно. Многих выслали, некоторых казнили, причем тех вешали, кого могли высласть, и тех выслали, кого могли казнить. У муравьевской Фемиды глаза были завязаны туго, она не особенно разбиралась — кого как наказать, главное — подвергнуть репрессии. Но Дунину-Марцинкевичу было из-за чего волноваться. Во время подавления восстания в Белоруссии и Литве смертный приговор прозвучал для ста двадцати восьми человек; для устрашения жителей казни проводились в разных местах. Больше число казней припало на Вильню, где находилась штаб-квартира Муравьева. В Гродно казнили троих, в Бресте — двоих, в Кобрине — троих, в Волковыске — одного, в Игумене — четверых, в Новогрудке — троих, в Минске — четверых и так далее. Смертная казнь объявлялась не только за деятельное участие в восстании с оружием в руках. Казнили за «публичное чтение и распространение



возмутительных манифестов и подговор жителей к восстанию». Будь доказана вина Дунина-Марцинкевича как автора «Гуторки», то уж тогда действия его трактовались бы не просто как публичное чтение, но как злоумышленное сочинение текстов, способствующих непокорности властям и оскорбляющих личность здравствующего государя-императора. Временный полевой аудиториат, безусловно, назначил бы высшую меру.

Понятно, что Дунин-Марцинкевич ясно осознавал нависшую над ним опасность и потому отвергал все предъявленные обвинения, ни с одним не соглашаясь и выставляя себя бедной жертвой мнительности судебных органов. Об этом свидетельствует выписка из его следственного дела:

«Опрошенный по обвинению помещик Марцинкевич показал, что он решительно никакого участия в мятеже не принимал и в опровержение возведенных на него обвинений предлагает рассмотреть все его сочинения; в них он старался развивать мысли о соединении славян под скипетром русского императора; в повести для крестьян издания 1855 года «Гапон» убеждал крестьян не уклоняться от военной службы и представлял, что каждый, честно и ревностно выполняющий долг службы, может достигнуть хорошей будущности; затем прославлял правительство за заботы о воспитании всех без изъятия подданных... Действуя таким образом в течение двадцати лет, он не мог изменить свои убеждения в последнее время. Затем брошюры под названием «Гуторка старого деда» он не сочинял и даже ни от кого об ней не слыхал; других каких-либо сочинений в противоположительном духе также не писал; между крестьянами не укрывался и вредных мыслей не распространял... в первых числах 1863 года он взял в аренду Свенцянского уезда имение Дубровляны... но впоследствии имение это было секвестровано (то есть на его владельцев был наложен запрет пользоваться доходами с имения за участие в восстании или помощь повстанцам.— К.Т.), и он с 22 апреля 1864 года переехал на жительство в соседнее местечко Свирь, где и находился безотлучно до своего ареста... Возвращаться же в свое имение Люцинка он опасался, потому что лица, встречавшиеся на дорогах, подвергались аресту».

Создаваемый Дуниным-Марцинкевичем перед следственным столом идеальный образ благонадежного подданного, двадцать лет радевшего о пользе и славе царствующей династии, нисколько не соответствовал действительности. Призывы к крестьянам «не уклоняться», почтительность к государю, тем более прославление, все прочие декларации о своей пристойной деятельности «вшиты» писателем в объяснение белыми нитками. Скажи мне, кто твои друзья,— и я скажу, кто ты. Так мог сказать Дунину-Марцинкевичу следователь, задавая целый ряд изобличительных вопросов. Разве не вашим приятелем, господин Марцинкевич, был витебский литератор Артем Вериго-Даревский, командир витебского отряда мятежников, ныне приговоренный к восьми годам каторжных работ? Или разве не вам принадлежит тетрадь стихов с посвящением «Вяльможнаму Тадэушу Чудоўскаму ў знак глыбокай павагі гэтыя творы прысвячае аўтар». Тому самому Чудовскому, который был ближайшим другом казненного не столь давно Сигизмунда Сераковского, а сам организовал мятежные отряды на Могилевщине? Или не вашим товарищем был поэт Сырокомля, который жаждал революционных перемен в этом крае? И с какими целями вы вместе с Сырокомлей разъезжали в 1861 году? И отчего это вы не дружите хоть бы с одним лояльным по отношению к правительству лицом, а все с личностями сомнительными, откровенными или затаенными противниками существующей системы? И где прикажете найти такую лупу, с помощью которой возможно различить верноподданнические строки в ваших стихотворных и драматических произведениях? Или вы, господин Марцинкевич, считаете

верноподданническими стихами своего «Халимона на коронации», от которого за версту веет насмешкой над его императорским величеством? Герой-то ваш, побывавший, по вашему умыслу, в Москве на венчании на царство сиятельнейшего монарха нашего, бесстрашно куражится над увиденным:

У касцёл нас не дапусцілі;  
Боялся, відна, штоб не задавілі;  
Мы там на паперці сашлі у старону,  
Не бачылі, як цар надзяваў карону...  
Пасля для народа сталы там стаўлялі;  
Мы для той прычыны і Ёюноу не бралі.  
Гарэлю здаволі,— пій, хоць апражыся!  
Еш колькіЎгодна, — хоць расперажыся.

Это ведь черт знает что; коронация государя описана, словно мужицкая свадьба — без должного пиитета, да попросту дурашливо, с неприличным прямо-таки шутовством; вместо внушения благоговейного преклонения, вы, господин Марцинкевич, сознательно стремились пробудить скепсис и смех в народе. Ну, и наконец, почему эта зловредная, написанная латиницей «Гуторка старого деда» так удивительно близка вашей поэтической манере и вашему поэтическому словарю, будто создана той самой рукой, которая записала о страстном желании вашем соединить всех славян под скипетром русского императора?

Возможно вполне, что все такие и подобные вопросы и задавались и приходилось держаться в личине простодушного, несчастного, ничего не ведающего простака, балансировать на острие правдоподобной выдумки, чтобы не утратить честь, чтобы насколько возможно защитить себя и не дать в руки следствия желанных ему подозрений и зацепок к другим людям. Легко допустить, что Дунин-Марцинкевич надеялся отсидеть в Свири самое горячее время террора, но одно то, что он не возвращался домой, с определенностью говорит о его здравом понимании обстановки и мере своих действий против режима. В марте 1864 года на Лукишках в Вильне был казнен «красный диктатор» Кастусь Калиновский. Повешение проводилось публично, и рассказы о героической смерти главного повстанца, безусловно, дошли и до Свири. Что же мог думать о выдающемся белорусском революционере выдающийся белорусский писатель? Дунин-Марцинкевич был вдвое старше Калиновского; они принадлежали к разным поколениям, различно видели пути и цели социального переустройства тогдашнего общества. Калиновский — революционный демократ, для него шляхта, панство, помещичье землевладение — то, чего не должно быть, что должно исчезнуть, то, что крестьяне, взяв косы и топоры, обязаны уничтожить. Он писал;

«Мы... ўсе ужо ведаем, пгто чалавек вольны — гэта калі мае кусок сваей зямлі, за каторую ані чыншу і аброку не плаціць, ані паншчыны не служыць, калі плаціць малыя падаткі, і то не на царская стайні, псярні і курвы, а на патрэбу цэлага народа, калі не ідзе ў рэкруты чорт ведае дзе, а ідзе бараніці свайго краю тады толькі, калі які непрыяцель надыдзе, калі робіць усенька, што спадабае і што не крыудзіць бліжняга і хвалы боскай, і калі вызнае ту веру, якую вызнавалі яго бацькі, дзяды і прадзеда. От што вольнасць значыць. Сягоння то рад маскоускі нас не атуманіць, бо мы цяпер не такая дурныя, як былі ўперад, і пазналі, што нам не маніфестаў царских, а вольнасці патрэба... І то вольнасці не такой, якую нам цар схоча даці, но якую мы сам, мужыкі, паміж сабой зробім».

Как крестьянский идеолог он выражался с еще большей определенностью: «Первым делом нам необходимо уничтожить эту гнилую и развращенную касту, которую называют дворянством». Калиновский видел цель своей деятельности в крестьянской революции. Свое отношение к дворянству он ясно выразил одному из руководителей партии «белых» в восстании Я. Гейштору. «При первом нашем знакомстве,— вспоминал Гейштор,— Калиновский доказывал мне, что участие шляхты и помещиков в восстании является не только ненужным, но и вредным. Народ сам завоюет себе независимость и потребует собственность помещиков. Как милость, он разрешал шляхте вступать в повстанческие шеренги, но не в своих поветах, а там, где их не знали... Если бы она (шляхта) и погибла, то нашла бы ее только заслуженная кара, и родина нисколько бы от этого не потеряла».

С такую резкостью думать о своем классе Дунин-Марцинкевич не мог. Он был воспитан все-таки в традиции уважения к шляхетскому прошлому Великого княжества Литовского и Речи Посполитой; многое в отношении шляхты к крестьянству было для него неприемлемо, но уничтожения шляхты как института он не желал. Скорее, он был настроен на классовый мир; по его понятиям крестьяне должны просветиться, ланы должны подобреть, но и те и другие должны остаться, жить в покое, в согласии, в равновесии взаимно добрых чувств. Все творчество Дунина-Марцинкевича до восстания служило выражению таких идей. Но едва ли неудача восстания открыла ему глаза. Среди главных причин поражения восстания было и резкое разделение шляхты и народа; более того, извечная ненависть крестьянства к помещикам была ловко использована царизмом.

В крестьянскую среду всеми возможными способами вносились слухи, что повстанцы хотят вернуть старые крепостные порядки, отмененные добрым батюшкой-царем, что только поэтому паны схватились за оружие. Неудивительно, что крестьяне помогали войскам против инсургентов, доносили об их передвижениях властям, выдавали их тайники, а самих их, коли попадались в руки, били смертным боем. Статистика отмечает малое участие крестьян в восстании. Даже в Гродненской губернии они составляли в отрядах одну треть бойцов. Однако и трудно им было принять участие. Во всех мало-малье к и крупных населенных пунктах стали иа постой войска, была насильственно организована так называемая самооборона, против повстанцев твердили разную чушь чиновники и православные священники. Но и католическая верхушка под нажимом Муравьева обратилась с увещанием к пастве, призывая раскаяться и стать на колени:

«Без воли всемогущего бога ничего на свете не делается. Он возвышает, он и низводит; он дает жизнь, он отворяет и врата смерти; он один управляет светом и его единого воле никто не в состоянии противиться. Должно быть, эта воля господня не понята нами, должно быть, число грехов наших превысило всякую меру, если господь допустил, что столько бедствий, столько горя ниспало на край наш, взволнованный людьми беспорядка.

Главное начальство края приняло все меры к укрощению мятежа и к водворению спокойствия; оно карает виновных в мятеже для обуздания восстающих против законной власти, но вместе с тем отверзает дверь к милосердию. Безусловно предавайтесь на волю и помилование высшего в нашем крае начальства, которому государь император поручил объявить прощение тем, которые, сложивши оружие, явятся к местным властям с чистосердечным раскаянием и будут просить пощады.

А потому поспешайте воспользоваться предлагаемой вам милостью; этого требует не только ваше и родных ваших благо, но вместе с тем это есть и прямая обязанность, которую возлагает на вас наша святая религия... Исполняйте затем святые приказания,

возвращайтесь немедленно к спокойным трудам вседневных ваших занятий, горячо молитесь за нашего августейшего императора всероссийского Александра II, которому господь бог вверил нашу судьбу; молитесь за весь царствующий дом и за всех, которые занимают высшие должности, дабы мы, по словам апостола Павла, вели жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте...»

Справедливость требует сказать, что не все духовенство так думало и говорило. За противоположные призывы семь священников были казнены, а сто пятьдесят девять высланы в глубь империи. Но каково в такой атмосфере было принимать жизненно важные решения темному, искренне верующему, жаждущему клочка своей земли и воли крестьянину; как мог он довериться своим вчерашним притеснителям, которые сейчас выступили вроде бы в его защиту. Тем более не мог и не хотел, что правительство передавало крестьянам земли помещиков-повстанцев. Выходило, что проще получить наделы, не бунтуя против царя, а наоборот — передавая в руки уездного начальника вооружившегося пана. Даже донос на повстанца оплачивался казней. Узкая программа восстания не заинтересовала крестьян, а при их равнодушии повстанцы и каратели оказались в удручающем и безнадежном неравенстве сил и вооружения.

На 11 января 1863 года, то есть к началу восстания, на территории Белоруссии и Литвы находилось достаточно большое число царских войск: 1-я кавалерийская дивизия: 1-я конно-артиллерийская бригада, 1-я, 2-я и 3-я пехотные дивизии; 1-я, 2-я и 3-я полевые артиллерийские бригады, а также 33-й и 42-й Донские казачьи полки. С началом военных действий против повстанцев в Виленский военный округ дополнительно прибыли: лейб-гвардии сводно-казачий полк; 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии; 3-я гренадерская дивизия; лейб-гвардии драгунский полк; девять полков донских казаков и отдельные батальоны из резерва: Эстляндский, Либавский, Нарвский, Великолуцкий, Олонецкий, Вологодский, Костромской, Симбирский, Муромский, Низовский. Галицкий, Черниговский, Могилевский, Брянский, Кременчугский, Смоленский, Полтавский, Алексопольский, Полоцкий, Елецкий, Витебский, Орловский и др.

Понятно, что противостоять такой армии могло только всенародное ополчение, но поскольку восстание не приняло всенародного характера, оно оказалось обречено на неудачу прежде, чем началось. Можно только дивиться, что боевые столкновения длились по октябрь 1863 года.

Перед лицом этой силы, перед осознанием напрасных жертв со стороны лучшей части народа, тысяч и тысяч репрессированных, сотен казненных, перед фактами осуществляемого Муравьевым наступления на культуру белорусских губерний невольно возникало сожаление о происшедшем восстании. На несколько десятилетий культурная жизнь Белоруссии заглохла, белорусский язык подвергся запрещению, страх репрессий породил широкое малодушие в обывательской массе без различия ее сословного происхождения. Еще в июле 1863 года лица благородного сословия стали подписывать верноподданнические адреса следующего содержания: «Всеавгустейший монарх! Смуты революции вовлекли многих из дворян Виленской (или: Могилевской, Минской, Гродненской, Витебской) губернии к нарушению верноподданнической присяги вашему императорскому величеству. Отвергая действия революционной партии, по причине которой от нескольких месяцев земля наша обгащается кровью по большей части напрасных жертв, чистосердечно и гласно просим тебя, государь, считать нас верноподданными твоими, заявляя при сем, что мы, составляя одно целое и нераздельное с Россией, остаемся навсегда верноподданными твоими, вверяя судьбу дворянства, августейший монарх, твоему неограниченному милосердию». Подписи под такими адресами собирались все лето и осень, притом собирались, разумеется, добровольно-

принудительно: не хочешь подписывать — дело хозяйское, но значит не верноподданный, а сочувствующий мятежу, а коли сочувствующий, то по статье такой-то, параграфу такому-то государя нашего такого-то прикладывается к тебе, голубчику, мера наказания. И лица благородного происхождения с охотой или без, но подписывали. В Виленской губернии в июле поставили подписи 235 дворян, а к октябрю их стало 3900. Также обстояло дело и в прочих губерниях. Что можно было думать об этой — большей — части шляхты, находясь в тюрьме? Что вообще, за исключением малого образованного круга, представляла собой белорусская шляхта, живущая при народе, на своих фольварках, та, которая по прежним представлениям Дунина-Марцинкевича, была обязана подавать народу пример благопристойной, нравственной жизни? Ничего достойного уважения. То же невежество, что и у мужика, только помноженное на сословную спесь и шляхетский пых.

Не лучшее впечатление производила и та часть дворянства, которая служила в аппарате. У Дунина-Марцинкевича, верно, накопились за жизнь, и в тюрьме особенно, горькие чувства от крюкотворства и подлости служителей закона — так называемых юристов, независимо от того, в какие — жандармские или гражданские — костюмы они были одеты. Не случайно в «Пинской шляхте» Дунин-Марцинкевич писал:

Гдзе ўнадзіцца юрыста,  
Вымеце хату дачыста.  
Такіх дзіваў нагаворыць,  
Так многа кручкоў натворыць,  
Што, пачасаўшы затыкал,  
Не рассупоніш памылак.  
Не дасі,— цябе замучыць.  
Добра стара казка вучыць:  
Дзярэ каза ў лесе лазу,  
Воўк дзярэ ў лесе казу,  
А ваўка — мужык Іван,  
А Івана — ясны пан.  
Пана ўжо дзярэ юрыста,  
А юрыста — д'яблау трыста!

«Трыста д'яблаў» драли и тех конкретных юристов, которые вели следствие по делу самого Дунина-Марцинкевича и подписывали соответствующие документы. Вот для примера одна из юридических бумаг:

### *Рапорт*

*По следственному делу, произведенному о помещике имения Люцинки Минского уезда, коллежском регистраторе Викентии Марцинкевиче, 66 лет, вероисповедания римско-католического, оказалось, что он подвергся обвинению в распространении вредных для правительства идей между простолюдинами, в подозрительных разъездах по разным губерниям, в пересылке из Вильно в 1861 году своему семейству чрез проживающего вблизи его имения Люцинки еврея Шевеля Лейнора пакета с подозрительными вещами и сообщений сведений о происходящих в крае беспорядках, в издании пред началом мятежа возмутительного сочинения на протонародном языке под заглавием «Гуторка старого деда» и в допущении в имении своем собрания разных*

*лиц. Хотя помещик Марцинкевич в обвинениях сих не сознался и произведенным исследованием не обнаружено юридических доказательств к изобличению, но принимая во внимание, что в имени Марцинкевича Люцинке при обыске найдены одна печатная и две литографированные молитвы за Ойчизну, изданные без цензуры, что из семейства Марцинкевича жена его Мария и дочери Камилия и Цезарина принимали деятельное участие в бывших демонстрациях и пении запрещенного гимна, а последняя, кроме того, носила конфедератку, и из них по обвинениям сим: Мария Марцинкевич состоит под следствием, и дела о ней представлены предместнику вашего превосходительства Виленскою следственной комиссией 18 декабря прошлого года за № 2433 и 12 апреля сего года за № 580...*

*Хотя помещик Викентий Марцинкевич по обвинениям сим подлежал бы выселению из здешнего края, но, снисходя к преклонным его летам, я полагал бы: его, Марцинкевича, оставить на месте жительства, с отдачею на поручительство и с учреждением за ним полицейского надзора, а с принадлежащего ему имени взыскать усиленный 10-процентный сбор...»*

Вот так: «юридических доказательств к изобличению» не обнаружено, но усиленный сбор сыскать. Скоро последовало и решение Временного полевого аудиториата:

*«...помещика Марцинкевича, на основании... правил о порядке наложения взысканий на мятежников и их соучастников... подвергнуть денежному штрафу, взыскав с имени его, как за него самого, так и за жену его, участвовавшую в демонстрациях... усиленный 30-процентный сбор».*

Усиленный 10-процентный сбор усилился в три раза. Действительно, «где унадзіцца юриста — вымеце хату дачыста». Заключение тянулось год, и за это время были приняты десятки таких решений, относящихся к товарищам по несчастью. Как это было осмыслить писателю, комедиографу? Многократно повторяемая сцена приобрела типические черты. Не приходится сомневаться, что «Пинскую шляхту» Дунин-Марцинкевич написал в тюрьме. Прежде чем пьеса легла на бумагу уже за письменным столом в имении Люцинка, она вся составила в уме на нарах тюремной камеры. Может быть, Дунин-Марцинкевич и читал ее там вслух, веселил товарищей. При его склонности к шутке, любви к общению, актерском таланте это просто неизбежно. Вообще, он был не из тех, кто может подолгу грустить, он был человек бойкий, смелый, решительный.

Писатель вышел из тюремного замка 5 декабря 1865 года и поехал в Люцинку под строгий гласный надзор полиции. Вот бы, кажется, человеку обрадоваться обретенной свободе и замолкнуть, не дразнить власть предержащих, писать что-либо легонькое, безобидное, веселое, вроде давней своей «Идиллии», или о совестливых чиновниках, которые при исполнении тяжелых служебных обязанностей стараются тем не менее входить «в положение», «облегчить участь» — ведь вот же не выслали вслед за Камиллой, а вполне могли выслать, ведь пожалели «преклонные лета», проявили «человечность» и «понимание».

Однако по приезде в Люцинку Дунин-Марцинкевич пишет не беззубый водевиль, а записывает выношенную в тюрьме злую сатиру на самодержавный чиновничий аппарат и таким образом на всю существующую систему, — свою знаменитую «Пинскую шляхту».

Сюжет ее прост: в одной из пинских околиц подрались два шляхтича, подрались по той нелепой причине, что один назвал другого мужиком, чем смертельно оскорбил его достоинство. Обиженный подал в суд, и для разбирательства приезжает становой пристав Крючков и при нем писарь Писулькин. Дети враждующих сторон — Марыся и Гришка — любят друг друга, но взаимная ненависть отцов грозит расстроить их счастье. Но и любовь и вражда даны автором в пометках, главное действующее лицо пьесы —

Крючков, «наяснейшая корона», как его называют все персонажи. Сюжет пьесы строится исключительно на нем — на его способе разбирательства, на его решениях и приговорах. Все, что накопилось у автора в душе за четырнадцать месяцев заключения, все, что он знал по опыту своей работы в минской криминальной палате,— все в пьесе получило пародийное, гротескное отражение. Вот один из образцов решений Крюčkова, весьма напоминающий решение по делу самого Дунина-Марцинкевича.

"По указу его императорского величества, во временном присутствии, в комплекте, составленном из участкового заседателя и его письмоводителя, слушали дело, коего обстоятельства следующие: Иван Тюхай-Липский назвал Тихона Пратосавицкого мужиком; тот за такую обиду побил Липского, на что сей последний представил и свидетелей. Расследовав таковое дело, временное присутствие, сообразно указу все милостивейшего государя Петра Великого в 1688 году марта 69-го дня последовавшего и применяясь к Статуту Литовскому раздела 5-го параграфа 18-го,— определило: а) Тихону Пратосавицкому, как уголовному преступнику, назначается: 1) 25 лоз на голой земле без подстилки и 2) штраф 25 рублей в пользу временного присутствия; б) Ивану Тюхаю-Липскому, как нанесшему личное оскорбление Пратосавицкому, назначается: 1) 15 лоз на подстилке и 2) 15 рублей штрафа в пользу временного присутствия; в) свидетелям, которые видели драку и не разняли дерущихся: 1) по 10 лоз на подстилке и 2) по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия; г) всей прочей шляхте, которая не видела драки, за то, что не видела, а тем самым не могла и разнять дерущихся, назначается 1) по 5 лоз на подстилке и 2) по 5 рублей штрафа в пользу того же присутствия. Наконец: д) применяясь к указу ее величества Анны Ивановны 1764 года октября 45-го числа за негербовую бумагу, употребленную и имеющуюся употребиться по сему делу,— Пратосавицкий 5, Липский 3, свидетели по 2, а все прочие по 1 рублю уплотят...»

Это и сейчас звучит очень весело. Каково же было удовольствие для простого зрителя 70-х годов прошлого века, с которым «наяснейшие короны точно так и поступали в действительности! Ясное дело, что пьеса не могла быть разрешена к постановке и публикации. Даже через двадцать лет после написания, в 1889 году, когда издатель Календаря Северо-Западного края М. Довнар-Запольский обратился в цензуру за разрешением опубликовать «Пинскую шляхту» в календаре, виленский генерал-губернатор, рассматривавший рукописи, счел должным ответить категорическим отказом: «По моему мнению, подобное произведение, в коем в неприглядном свете выставляется личность должностного лица, становаго пристава, который к этому везде называется «наяснейшая корона», вряд ли удобно помещать в каком-либо издании, а в особенности в таком, как календарь, который предназначается для распространения в среде населения».

Выставить напоказ цинизм, лихоимство, низость чиновничьего аппарата — таков был ответ Дунина-Марцинкевича самодержавию. В пьесе нет «критики отдельных недостатков». Комедия вскрывает суть порока, и неважно, что персонажи — шляхта глухого повета, а мелкий судебный чиновник — один из десятков тысяч кровопийц народа. Сравнить Крюčkова с иными чиновниками, а страх перед ним околичной шляхты с собственным страхом перед приставом, исправником и прочим начальством своего уезда — это дело «почтенной публики». Тут интересен и еще один — неявный, но присутствующий смысл. Не верьте чиновникам — как бы говорит Дунин-Марцинкевич, они и сильны только вашей доверчивостью, вашей боязнью их весомо звучащей, но пустой болтовни. Нет за ними правды — они мелкие рвачи, грязь общества; не закон и правда движут ими, а «трыста д'яблаў» порока.

Из послевоенного периода творчества Дунина-Марцинкевича известны две пьесы — «Пинская шляхта» и «Залёты», но писал Марцинкевич много и все писал, что называется, для себя. Белорусский писатель Ядвигин Ш. (Антон Левицкий), который в детские годы жил в доме Марцинкевича, вспоминал затем в «Письмах с дороги»: «Памятаю і вялікі куфар, куды хаваў ён сваё пісанне, паўнюсенькі быў, але мала выйшла гэтага пісання адтуль у свет: па смерці Марцінкевіча стары дом згарэў, пайшла з дымам і большая палова працы гэтага заслужанага для нашай бацькаўшчыны чалавека».

Все тленно в этом мире, все, кроме народной памяти, которая одна хранит дела своих лучших сынов и дочерей.

Памятное историческое прошлое создается усилиями тысяч людей, каждый из них вносит в сокровищницу народного достояния свой вклад — кто меньший, кто больший, соответственно дарованию и силе духа. Именно эти люди являют пример деятельной любви к родине, служения ее культуре, дают образцы для следования и подражания.

Помнить о них — святой долг каждого поколения.

## Мир земле

Отечественная война 1812 года поражает своей быстротечностью — она уложилась в шесть месяцев, в отличие от русско-турецких, русско-шведской, крымской войн, которые тянулись годами. Из 600 тысяч войск, приведенных Наполеоном покорять Российскую империю, ушли восвояси около 30 тысяч, причем в виде толпы, управляемой биологическим инстинктом спасения. Поражает воображение Бородинская битва — одно из самых крупных сражений XIX века и всей предыдущей истории. На поле битвы, имевшем 8 километров по фронту и 7 километров в глубину, столкнулись с обеих сторон 255 тысяч людей, грохотали 1200 орудий, которые только за 12 часов боевых действий 7 сентября выпустили 140 тысяч снарядов, то есть по одному на каждом двоих участников сражения. Трудно вообразить те 9-10 миллионов пуль, израсходованных здесь противными армиями, это многотонное облако свинца, рой смертоносных свистящих шариков, отправивших на тот свет или в лазареты почти 100 тысяч солдат. Плотность огня, например, на Семеновских флешах была такая, что французы ходили в атаки колоннами по 50—60 человек в глубину на каждый погонный метр фронта.

Показательно и поведение армии Наполеона. Ни в какой другой войне его войска так не опустошали занятую территорию, как в 1812 году Белоруссию, Литву, Смоленщину и Московскую область. По воспоминаниям современников, наиболее усердствовали в грабежах баварцы, пруссаки, рейнские немцы, хорваты из итальянского корпуса. Почти не грабила императорская гвардия (10 тысяч солдат), однако, не запятнав честь мундира мародерством, гвардейцы опозорили себя варварской расправой над тремя тысячами тяжелораненых, которые находились в Москве в Кудринском госпитале. Многие из этих несчастных были убиты, а 700 человек сгорели живьем.

Для Белоруссии война 1812 года началась с того рассветного часа 24 июня, когда армии Бонапарта перешли Неман. Кирасиры и уланы, пехота и егеря, старая и молодая гвардия, артиллерийские батареи и пионерские роты — все они вступали на белорусскую и литовскую землю, ослепленные иллюзиями молниеносной войны и блистательной победы. Но очень скоро прозрели и поняли они, что и леса, и поля, и реки Полочкины и Витебщины, Минщины и Могилевщины становятся для них местом вечного приюта. Лихо шли армии Бонапарта по белорусским дорогам в длинные купальские дни и без надежды



на спасение брели обратно в длинные колядные ночи под поминальный вой волчьих стай.

Символичны последние часы пребывания Наполеона в Белоруссии: после совещания с маршалами в Сморгони он решил покинуть войска и в одном из ныне существующих домиков переделался в мундир польского улана. В каком-то смысле эта уловка была саморазжалованием, возвращением из императоров в «маленькие люди». Он сам понимал это и свои чувства выразил в одной из бесед: «Я покинул Париж в намерении не идти дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного — только один шаг, и пусть судит потомство». Такой плотный набор сакраментальных фраз искажает истину, даже вызывает некоторое сочувствие. Но понятия «великое» и «смешное» здесь совсем неуместны: из Сморгони в чужом наряде под чужим именем бежал человек, по вине которого только в Белоруссии погибло свыше миллиона людей. И стремился он в Париж, чтобы опять «привести триста тысяч солдат».

Наполеону хотелось переиграть войну, провести ее, так сказать, набело; 1812 год казался ему черновиком, в котором следовало исправить тактические ошибки. Он искал причины поражения в ранних и сильных морозах, в бездарности своего брата Жерома, в чем угодно, кроме главного — что «большую армию» сокрушила стихия всенародной войны, сила единодушного сопротивления миллионов людей, не пожелавших смириться с присутствием захватчика.

Земли Белоруссии оказались ареной длительных военных действий. Вообще вопрос «Белоруссия и Отечественная война 1812 года» достаточно многогранен — здесь нет той однозначной ясности, какая определяла отношение к Наполеону русского народа. Отличия существенны и драматичны. Перед лицом внешней опасности русский народ — от царского двора до самого бедного крестьянина — был единодушен в неприятии непрошенных пришельцев. В Белоруссии и Лнтве значительная часть дворянства и духовенства поначалу приветствовала Наполеона, от которого получила согласие на восстановление бывшего Великого княжества Литовского. Белорусские полки были и в российской и в наполеоновской армиях. Объясняется это сложными историческими причинами. Что же это были за причины?

Воссоединение Белоруссии с Российской империей произошло в результате разделов Речи Посполитой, а также Тильзитского мира, после которого к России перешел от Пруссии Белостокский округ со значительным количеством белорусского населения. В это время в Белоруссии насчитывалось 4 миллиона человек — девятая часть общего населения России. Изменилось положение крестьян. За 1772—1800 годы русским помещикам было роздано во владение 208550 душ мужского пола, то есть фактически крестьянских семей. Считая с женами и двумя-тремя детьми это составило более миллиона человек — четвертую часть всего населения.

В податное сословие была переведена на значительная часть мелкой шляхты, не имевшей доказательных документов на дворянство. Тысячи людей подверглись репрессиям, например солдаты бывшей армии Великого княжества, которая после разделов была распущена. Лишившись службы, множество профессиональных солдат и офицеров, не владевших иной собственностью, помимо сабли, оказались на положении нищих и представляли собой с точки зрения царской администрации опасный элемент. Поэтому в 1795 году Екатерина направила гене-рал-губернатору новоприсоединенных губерний Тутолмину следующий указ: «Зашедших в губернии из распущенных бывших войск людей и других шатающихся, проживающих праздно, всех отправить в Екатеринославское наместничество на вечное поселение». Между тем бывшее войско

Великого княжества составляло 30 тысяч человек, так что на вечное поселение в чужом краю пошли не сотни, а тысячи. На Украину было переведено и несколько нерасформированных полков.

Жизнь крестьян ухудшилась с присоединением России к континентальной блокаде Англии: уменьшился вывоз хлеба, пеньки, сала, льна, что сбило на них цены почти вдвое. В непосильный гнет превратились для белорусских и литовских губерний подати и налоги, которые здесь в отличие от России собирались не в ассигнациях, а в металлической монете (золоте и серебре). Но по существовавшему тогда неофициальному курсу за 100 рублей ассигнациями давали 22 рубля серебром. Правительство попросту выбирало на этих землях золото и серебро по цене бумажных денег; иначе говоря, в Белоруссии и Литве налоги оказались в 4—5 раз выше, что, с одной стороны, подрывало местное хозяйство, а с другой — подогревало недовольство. Лишь в 1811 году последовало разрешение оплачивать подати ассигнациями.

Недальновидная политика царизма осложняла ситуацию и создавала почву для недовольства, сеяла национальное недоверие между белорусами и русскими.

Введены были рекрутские наборы, которых прежде Белоруссия не знала. И в отношении этой повинности белорусы оказались в иных обстоятельствах, чем другие присоединенные к России народы. В русской регулярной армии вычленялись по национальному признаку лишь пять полков: конный литовский (из белорусов и литовцев); конный татарский (из белорусских и литовских татар); конный польский (то есть опять же из белорусов и литовцев, поскольку этническая территория Польши в то время не входила в состав Российской империи); греческий батальон; одесский греческий батальон. Первые два полка были образованы из существовавшего в Великом княжестве Литовском со времени Грюнвальдской битвы Литовско-Татарского полка. Каждый полк имел тысячный состав: 500 человек шляхты и 500 шеренговых (рядовых). Калмыки, башкиры, поволжские и крымские татары выставляли полки в иррегулярное войско, то есть в войско, создаваемое на время войны. К иррегулярным относились и все казачьи войска (Донское, Кубанское, Оренбургское, Уральское, Сибирское и т. д.). В 1807-м от рекрутских наборов была освобождена Украина — она выставляла казачьи полки; украинские солдаты были также в некоторых гусарских полках. Рекрутская повинность не налагалась на Латвию, Эстонию, Бессарабию. Не призывались в армию финны, народы Севера. В 1786 году стали считать поселенным войском кабардинцев, их полк был определен в 1000 человек. Были созданы полки численностью в 300—500 человек из ингушей, осетин, лезгин, но опять же на правах поселенного войска, без отрыва от родины. Не проводились наборы рекрутов в Грузии, не призывались в армию евреи, от рекрутской повинности были освобождены семьи духовенства и почетных граждан, колонисты, семьи рабочих важных предприятий. С 1776 года купцы получили право вносить взамен рекрута деньги — 360 рублей, позже цену подняли до 500 рублей, с 1807 года — до 1000 рублей.

Таким образом, в рассматриваемое время регулярная армия России комплектовалась главным образом из русских и белорусов, чему способствовали родственность языков и исповедания.

Рекрутчина воспринималась худшим из земных бедствий, проводы в солдаты более походили на положение во гроб живьем. Повинность эта, введенная Петром I в 1699 году, устанавливала для солдата пожизненный срок службы; человек, отдаваемый в рекруты, практически навсегда уходил от семьи, родни, родного дома и родины. Лишь в 1793 году срок службы был ограничен 25 годами; к этому времени в Российской армии несли службу белорусские солдаты по 20 рекрутским наборам. Следующее уменьшение

срока службы — до 20 лет произошло в 1834 году, а затем до 15 лет — в 1856 году.

В рекруты брали мужчин в возрасте 19—35 лет. Так что тот, кому чудом удалось четверть века оставаться в живых в бесконечных кампаниях и походах, выходил из армии либо 60-летним стариком, либо 45-летним человеком без кола и двора.

На белорусских землях первый набор рекрутов был проведен в 1773 году. Он дал армии примерно 3 тысячи человек. Обычный набор требовал 1 человека с 500 душ, но в военные годы набирали по 4 и по 5 рекрутов с 500 душ. Датчик рекрута обеспечивал его мукой, крупами, солью в размере трехмесячного пропитания и еще давал три рубля денег — сумму по тому времени немалую. За 1796—1799 годы от всех белорусских губерний армия получила 49 тысяч человек, а всего за последнюю четверть XVIII века — 109 тысяч, не считая шляхты, которая пополняла офицерский корпус российской армии. В царствование Александра обычно брали 4—5 рекрутов с 500 душ, лишь три набора были по 1 человеку. Наборы 1802 и 1803 годов дали по 6 тысяч белорусских рекрутов, в 1806, 1807 годах — 33 тысячи, в 1811— 14,7 тысячи.

В зимний набор 1812 года брали по 8 рекрутов с 500 душ, поэтому за 1-е десятилетие XIX века к началу Отечественной войны белорусские земли выставили в армию более 130 тысяч солдат. (Численные подсчеты проведены автором на основании следующих источников и исследований: Полное собрание законов Российской империи; «Столетие военного министерства»; «История русской армии и флота» и др.).

Если учесть 25-летний срок службы, то к 1812 году в армии находились еще солдаты набора 1782 года; в совокупности всех наборов это составляло более 220 тысяч человек. Правда, многие из них, вероятно, погибли в походах Суворова, под Аустерлицем, в Пруссии, в русско-турецкой войне и других сражениях. Определить число этих потерь, наверное, невозможно, во всяком случае, очень трудно, поскольку сложно проследить, куда поступали рекруты из Белоруссии по указу Екатерины от октября 1794 года. Рекрутами из Минской, Полоцкой, Могилевской губернии комплектовались вновь создаваемые егерские корпуса Белорусский, Екатеринославский, Эстляндский, Лифляндский, Финляндский. (В те годы состав корпуса колебался от 10 до 50 тысяч человек). Если принять минимальную цифру, то в пять корпусов пошло по меньшей мере тысяч 40 рекрутов. С 1775 года существовал Белорусский полк, комплектуемый исключительно из белорусов; уроженцами белорусских губерний комплектовались уланские полки, из местных рекрутов формировались гарнизоны в городах.

Суммируя все сказанное, можно заключить, что белорусский народ, составлявший в 1811 году десятую часть 40-миллионного населения империи, поставлял в регулярные войска до 15 процентов рекрутов.

В начале XIX века сложилась новая система комплектования армии: рекруты сначала шли в специальные депо, а из них после начального обучения распределялись по дивизиям. В частности, гродненцы направлялись в Каргопольское, Олонецкое, Ахтырское, Глуховское, Брянское депо, минчане — в Рогнединское, Брянское, Старорусское, могилевцы — в Брянское, витебляне — в Новгород-Северское, Ольвиопольское, Вязьменское, Стародубовское, Каргопольское и т. д. Из этих депо белорусскими солдатами комплектовались пехотные дивизии: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27-я. Следует заметить, что всего пехотных дивизий было 25 (по нумерации с 3-й по 27-ю; 1-я и 2-я были гренадерскими).

Это подробное перечисление дивизий отражает широту и особенность отношений, которые сложились между русскими и белорусскими солдатами в рядах армии; они не были отделены друг от друга, как иные национальные подразделения. Русские и белорусы

вместе в одних дивизиях, а часто в одних полках несли одинаковые тяготы войн, походов, казарменной или лагерной жизни. Вместе с витеблянами служили москвичи и владимирцы, с гродненцами — калужане, с минчанами — туляки, и эта совместная двадцатипятилетняя жизнь вырабатывала и совместные устремления, мечты, стирала вековые национальные предрассудки, содействовала сплочению народов, пониманию равенности тяжелой доли, которую определял крестьянам, ремесленникам, солдатам царизм.

К началу Отечественной войны 14 из 16 перечисленных дивизия находились в составе армий Баркляя-де-Толли и Багратиона. Накопив на западных границах 450-тысячную армию (позже к нему присоединилось еще около 150 тысяч войск) и создав тройной перевес сил против Баркляя-де-Толли и Багратиона, располагавших 165 тысячами солдат, Наполеон рассчитывал уничтожить армии русских по отдельности в пределах Белоруссии и Литвы и продиктовать Александру свои условия мира. Ставка на победу в одном-двух стратегических сражениях опиралась на опыт Аустерлица (где русские и австрийские войска потеряли 15 тысяч убитыми, а 20 тысяч попало в плен), на удачу битвы под Фридландом, в которой русская армия в один день потеряла 25 тысяч солдат, после чего был подписан выгодный Наполеону Тильзитский мир. Он говорил своим приближенным: «Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь в Вильне, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго... Я не перейду Двины. Хотеть идти дальше в течение этого года — значит идти навстречу собственной гибели».

Однако пошел. Увлекло. Увлекли отступающие 1-я и 2-я армии, которые казались легкой добычей, увлекла жажда боевых действий, стремительной войны. В это время Наполеон не столько хотел выгодного мира, сколько блестящей битвы. На мирное предложение царя он ответил отказом, а ведь мог без потерь, без пролития крови, просто по обстоятельствам своей реальной силы, пугающей Александра, вытребовать значительные уступки. Но в том-то и беда, что хотелось не мира, хотелось сражения, переживания тех чувств, которые давала война, хотелось игры полками, дивизиями, сотнями тысяч жизней. Мир без крупного выигрыша, без нового подтверждения своего военного гения казался недостойным, неинтересным. А стратегическая битва не получалась: и 120-тысячная армия Баркляя-де-Толли, и 50-тысячная армия Багратиона отступали со сложным маневром, тяжелыми арьергардными боями. Стычками и разной силы боями с наполеоновскими дивизиями отмечены многие белорусские города, местечки, деревни: Вишнево, Воложин, Ивенец, Бакшты, Волковыск, Кареличи, Раков, Бобруйск, Несвиж, Мир, Борисов, Кобрин, Свислочь, Игумен (Червень), Романове, Бешенковичи, Рудия, Поречье, Старый Быхов. Из названных здесь населенных пунктов известны в связи с войной, особенно с первым ее месяцем, пожалуй, Мир, в котором казаки Платова разбили девять уланских польских полков, да Кобрин, под которым армия Тормосова разгромила саксонский корпус.

Через месяц наступательных боев Наполеон начал раздражаться: возимый 20-дневный запас продовольствия был съеден, надежда на захват армейских продовольственных складов, находящихся в Белоруссии и Литве, не оправдалась — большинство их было сожжено отступавшими частями. «Большая армия» села на голодный поек. Тотчас покинули строй и занялись мародерством почти 50 тысяч солдат, то есть больше, чем было в армии Багратиона. Первыми ушли грабить дворы и усадьбы и каждого встречного шесть тысяч баварцев. От недостатка фуража начался падеж лошадей — движение полумиллионной армии «споткнулось», ей потребовалась

передышка. Между тем войска Баркляя-де-Толли и Багратиона отходили в организованных боевых порядках, разрушая своим отступлением все расчеты Наполеона. 1-я армия покинула Дрисский лагерь; преследуя ее, Наполеон приблизился к Витебску, где полагал втянуть Баркляя-де-Толли в губительное большое сражение, но тот силами 11-й, 23-й и 3-й дивизий остановил 25-тысячный французский авангард у деревень Островка и Комары. Здесь прошли истребительные трехдневные бои. В этих дивизиях служили в большинстве полочане, витебляне, уроженцы Виленщины. Они дрались за родные места и выстояли. От Островны до реки Лучосы, впадающей в Двину у предместий города, на десяти верстах 3-я, 11-я и 23-я дивизии потеряли 3764 человека — по 376 солдат на каждую версту, по 370 потеряли французы. Тут на каждом метре дороги лежал убитый или раненый солдат, зато 1-я армия была спасена и, оторвавшись от Наполеона, стала отступать к Смоленску. В эти же дни Багратион, переправляясь через Днепр, выделил в арьергард против теснивших 2-ю армию корпусов Даву корпус генерала Раевского, в который входили 26-я и 12-я укомплектованные гродненцами дивизии. Битва проходила между деревнями Дашковка и Салтановка, неподалеку от Могилева, при тяжелом неравенстве сил — две дивизии против пяти. Победа досталась корпусу Раевского (он потерял 2,5 тысячи солдат, французы — 3,5 тысячи) и позволила Багратиону перевести армию на левый берег Днепра. Он не медля написал в штаб 1-й армии: «Насилу выпутался из аду. Дураки меня выпустили».

Барклай-де-Толли и Багратион вели армии к Смоленску. Наполеон вступил в покинутый Витебск. Он разместился в лучшем здании города — губернаторском дворце, построенном на Высоком обрывистом берегу Западной Двины, неподалеку от впадения в нее Витьбы. Из окон открывался вид на заречную часть города, тогда малозастроенную, с торговой пристанью, купеческими складами, а далее — тянулись луга и леса, и линия горизонта была далеко. Далек, за сотни верст, находилась и граница, которую он перешел. Вся Белоруссия и Литва были завоеваны — огромная территория, около пяти миллионов населения. Он властвовал над ними, над их землями, над этой широкой быстроводной рекой. Настроение у императора было самодовольное, он много работал: писал по сто писем в день, управлял с помощью курьеров парижской жизнью, решал сотни административных, хозяйственных, военных дел, обдумывал, как и о чем разговаривать с Александром, когда тот вновь обратится с просьбой о мире.

Но царь молчал, впереди реально существовали две российские армии: армия Тормосова начала наступление на юге Белоруссии и уже выиграла Кобринский бой; усиливались русские войска в Латвии, на Петербургских путях — и пошли открываться все изъяны Великой Армии, в которой на 297 французских батальонов пехоты приходилось 307 пехотных батальонов из разных стран Европы; на 38 тысяч французской конницы — 42 тысячи кавалеристов из подчиненных государств. К неудержимому мародерству прибавилось массовое дезертирство. Бежали из наполеоновской армии не только испанцы, считавшие для себя бесчестьем сражаться за Наполеона, залившего их родину кровью, бежали немцы, швейцарцы, португальцы, голландцы, итальянцы и не менее других французы. Так, уже в августе только на Псковщине перебежали от Наполеона более 5 тысяч солдат. Около 60 тысяч дезертиров отсиживалось в лесах. Дезертиров было больше, чем погибших и раненых; они несли двойное зло — ослабляли армию и подрывали тыл грабежом населения.

Такое состояние — ни мира, ни войны — не могло, разумеется, удовлетворить Наполеона, и в Витебске, в губернаторском дворце, здравомыслие изменило ему — он решил наступать на Смоленск и Москву. «Захватив Москву, я поражу Россию в сердце», — говорил он с присущей ему образностью.

Арьергардные бои под Смоленском вела укомплектованная молодыми рекрутами с Витебщины 27-я дивизия, которая в яростных боях потеряла пять шестых личного состава. Смоленск обороняли 12-я и 26-я дивизии, затем их сменили 7-я и 24-я, укомплектованные уроженцами Минской, Гродненской и Витебской губерний. На защиту своего города пришло 12-тысячное смоленское ополчение, в основном крестьянское, которое в бою ничем не уступало солдатам. Взятие Смоленска обошлось Наполеону в 20 тысяч убитых и раненых. Разозленный император отдал город на разграбление; около 2 тысяч жителей укрылись в соборе, где провели две недели, пока победители не обобрали до иголки все уцелевшие дома. Весь Старый город сгорел. Здесь перед штурмом французами крепости были собраны тяжелораненые русские и белорусы — несколько тысяч человек, все они сгорели в огне...

К Бородинскому полю Наполеон смог привести 135 тысяч войска из того полумиллиона солдат, что лихо проходили через Неман в купальскую ночь 24 июня. Около 80 тысяч убиты и ранены; 60 тысяч были в бегах; более 10 тысяч болели; часть защищала правый фланг от 3-й армии; 20-тысячный корпус Домбровского осаждал Бобруйскую крепость; 60 тысяч стояли на Полоччине против корпуса Витгенштейна; прочие охраняли дороги и составляли тыловые гарнизоны. В целом Наполеон оставил в Белоруссии около 100 тысяч солдат.

Что же происходило в это время в Белоруссии? В отличие от занятых русских областей и Латвии, где действовала оккупационная администрация, Белоруссия и Литва считались Наполеоном «освобожденными от русского ига». В Вильно на третий день после вступления в город французских войск с согласия императора образовалась Комиссия временного правительства Великого княжества Литовского, которая присягнула Наполеону, то есть часть польских, белорусских и литовских магнатов формально выставили Белоруссию и Литву как бы в качестве союзников Франции. От союзников Наполеон требовал: поставок продовольствия, фуража, денежных поступлений в звонкой монете и воинских подразделений. Например, Пруссия была обязана выставить для похода на Россию 20 тысяч войск, дать 20 миллионов килограммов ржи, 40 миллионов килограммов пшеницы, 40 тысяч быков. Австрия посылала 30 тысяч войска, Швейцария — 16 тысяч, Голландия — 52 тысячи, поляки — 36 тысяч пехоты и конницы.

От Белоруссии и Литвы Наполеон за обещание воссоздать Великое княжество потребовал огромных поставок продовольствия и 100-тысячную армию. Эта небывалая численность белорусско-литовских войск была названа не случайно.

В 1811 году белорусский магнат Михаил Огинский, пользуясь расположением Александра, предложил проект конституции, по которому из восьми губерний — Виленской, Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской, Волынской, Подольской и Киевской — восстанавливалось Великое княжество с определенной автономией от России. Великой княгиней, наместницей царя, полагалось стать Катерине Павловне, сестре Александра. Проект намечал личное освобождение крестьян и создание 100-тысячной армии, которая входила бы в состав Российской, но имела бы особое обмундирование. Проект был отвергнут в петербургских и московских высших кругах, не желавших каких-либо прецедентов с отменой крепостного права.

Наполеон, тщательно собиравший сведения о России, знал об атом проекте и потому назвал такую цифру. Но для создания армии не имелось возможностей; не было людей, поскольку предыдущие рекрутские наборы выбрали наиболее здоровую часть мужчин призывного возраста; не было необходимого вооружения и обмундирования; не было офицеров, чтобы возглавить роты, батальоны, полки; а главное, простой люд не имел

желания воевать за интересы пришельца и захватчика. Оценив ситуацию, Комиссия временного правительства доложила Наполеону, что реально в ближайшие месяцы сможет выставить в его действующую армию 5 полков пехоты и 4 конных уланских полка. Для пехоты собрали 10 тысяч рекрутов: в Минской и Виленской губерниях по 3 тысячи, в Гродненской — 2,5, в Белостокской — 1,5 тысячи. В конницу брали одного всадника с каждых 75 дворов, а для его содержания назначили денежный сбор в 73 рубля с каждых 50 дворов. Срок службы был определен в шесть лет. Пехотные полки получили нумерацию с 18-го по 22-й, уланские — с 17-го по 20-й. Из дворянской и студенческой молодежи был образован легкоконный полк под командованием уроженца Слонима генерала Конопко; полк этот Наполеон «милостиво» причислил к императорской гвардии, но оставил в Белоруссии для действий против армии Тормосова. Кроме того, из белорусов и литовцев была создана артиллерийская батарея, вошедшая в корпус Понятовского; к полку Конопко присоединился эскадрон белорусских татар под началом Ахматовича. На юге Минской губернии, то есть на Полесье, пытались сформировать 6-й пехотный полк, но он комплектовался столь медленно, что в строй не вошел. В числе белорусско-литовских подразделений, находившихся у Наполеона, надо назвать и трехтысячный полк уланов, сформированный князем Радзивиллом. В губерниях и уездах Комиссия временного правительства стремилась организовать жандармские подразделения (по 30—60 человек на уезд), но, например, на всю Минскую губернию отряд жандармов составил 70 человек. Наконец, в Могилеве был создан отряд стражи численностью в 400 штыков. Главная функция стражи и жандармов состояла в подавлении крестьянских беспорядков и защите помещичьих дворов. Белорусские крестьяне ожидали от Наполеона отмены крепостничества (как это произошло в Польше в 1807 году, где крестьяне получили личную свободу) и с началом войны стали отказываться от повиновения помещикам, сводили давние справедливые с ними счета, разоряли усадьбы, навлекали на помещичьи дворы толпы мародеров. Однако Наполеон не решился на освобождение крестьянства, наоборот, он распорядился высылать команды для усмирения бунтовщиков. От крестьянства требовали: продовольствие и фураж для французской армии, рекрутов — в образуемое для Наполеона белорусско-литовское войско. Естественно, возникло сопротивление: либо пассивное — невыполнение поставок, уход целыми деревнями в лес, либо активное — убийство реквизиционеров, партизанские действия по уничтожению групп вражеских солдат, захвату провиантских обозов и т. п.

В историю народного сопротивления захватчикам вошли действия партизанских отрядов, организованных крестьянами деревень Староселье, Есьман, Мажаны, Клевки в Борисовском повете на Минщине, деревни Тростяницы в Игуменском повете, деревни Жарки на Полоччине. Врага топили в реках, поджигали в домах, избивали кольями, как это было в Могилеве. Крестьяне, вооруженные ружьями, превращались в грозную военную силу. Так 12-тысячный французский гарнизон был буквально заперт в Витебске окружившими город партизанами, и Наполеон для спасения его был вынужден отправить на помощь войска. Не менее, чем вооруженное сопротивление, значил крестьянский саботаж поставок продовольствия для наполеоновских войск: голод убивал врага, как и пули.

Небольшим энтузиазмом в отношении Наполеона отличались белорусская шляхта (в основном мелкая) и мещанство. Вначале, когда Наполеон победоносно двигался вослед отступавшим армиям, был порыв организовать ополчение, вступать в полки, жертвовать драгоценности, золото, серебро, но после поражения польских улан под Миром и саксонцев под Кобрином пыл погас. Поначалу война казалась легкой, и газеты с полной

серьезностью печатали чепуху, вроде того, что 40 школьников трижды обманывали, а затем обратили в паническое бегство 50 казаков, или как новогрудский шляхтич Иван Маркевич пожертвовал на пользу армии «отличную сибирскую медвежью шубу на шесть шапок для сапер». Для военных реляций подбиралась соответствующая лексика: «Непобедимые отряды великого Наполеона исполинскими шагами подвигаются вперед...» Вскоре стали печатать сведения, сколько какая дама наципала корпии для раненых. Шляхта с пышностью отмечала 15 августа день рождения Наполеона. В городах на лучших зданиях вывешивались портреты императора с переслащенными надписями. Например: «Вся твердь земная восклицает: сегодня родился Тот, кто унизил надменных и освободил слабых» или «Всемогущий Справедливый бог проявляется в Наполеоне». В костелах и церквях служили благодарственные молебны, парадным маршем перед публикой проходили гарнизонные части, вечером в честь императора расцветали фейерверки.

Но весь этот официальный звон, организованное ликование мало подкреплялись делами. Так, общая численность созданных в Белоруссии и Литве войск превышала 23 тысячи человек, но в боевых действиях Наполеона против российских армий приняла участие едва ли четверть. Пехотные полки были обмундированы и вооружены только в сентябре; три уланских полка завершили комплектование в конце ноября, когда французская армия откатывалась назад; 20-й уланский полк вообще не был укомплектован полностью. Фактически заметной воинской поддержки Наполеон от Белоруссии и Литвы не получил. Уже в декабре, во время полного развала «большой армии» и беспорядочного отступления, Наполеон потребовал от Комиссии временного правительства объявить посполитое рушение и выставить на поле брани 30 тысяч белорусско-литовских шляхтичей (одну треть от общего числа шляхты). В седло должны были сесть мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Но 30-тысячное ополчение было явно нереальным, и решили в первую очередь собрать 15 тысяч человек: с Виленщины 7300, с Минщины 4500, с Гродненщины 2200, с Велосточкины 1800. Однако в ополчение пришло лишь 500 человек.

Те два десятка тысяч белорусов, которые оказались в полках, формировавшихся для армии Наполеона, были в большинстве своем не добровольцы. Это были рекруты, принужденные и приведенные помещиками крестьяне. Они тоже стали жертвами войны, жертвами тех иллюзий, которые цинично сеял Наполеон, используя сложности истории народов, играя на человеческой слепоте, ограниченности, романтических порывах, ставя людей в безвыходное состояние: отказ — смерть на месте, согласие — смерть впереди.

Судьбы этих людей сложились следующим образом. Гвардейский полк генерала Конопко в бою под Слонимом потерял убитыми 230 человек, остальные бежали в Новогрудок и позднее примкнули к другим белорусским частям, покинувшим родину вместе с французами. 22-й пехотный и 18-й уланский полки были разбиты под Минском войсками 3-й армии. Прочие пехотные полки отступили в Польшу. 17-й полк в бою под Краковом потерял убитыми и ранеными 142 человека и перестал существовать; 18, 20, 21-й полки оказались в крепости Модлин и здесь выдерживали длительную осаду русских войск. К концу осады из 2280 человек, пришедших в крепость в феврале 1813 года, 1333 были убиты или тяжелоранены. 21-й конно-егерский полк Игнатия Монюшки долгое время действовал в составе французской армии. После Парижского мира он вошел в состав польского войска, которое сформировал с разрешения Александра его брат Константин Павлович, ставший наместником в Польше. Вернулись из Франции в 1814 году и тоже вошли в это войско белорусские 20-й и 19-й уланские полки. Татарский эскадрон состоял в гвардии Наполеона до Парижского мира, а затем был распущен.



Таким образом, подавляющее большинство белорусских солдат, призванных магнатской верхушкой на службу Наполеона, воевало и погибало совершенно бесцельно — за чужие интересы и на чужой земле...

В не менее тяжелом положении находилось население оккупированной Белоруссии. Летом и осенью 1812 года от Белоруссии и Литвы более всего Наполеон требовал поставок продовольствия и фуража. Были введены налоги с доходов — напитков, рыбы, масла, табака и т. п. Чудовищные размеры приобретали поборы натурой. В целом по Белоруссии в августе по указу Наполеона реквизиции подлежали: 528 тысяч тонн зерна, 100 тысяч тонн овса, 53 тысячи голов скота, 4,5 тысячи тонн сена. В октябре от Минской губернии потребовали 10 тысяч коров. Виленскую губернию в декабре обязали сдать 27 тысяч коров. То есть аппетиты «большой армии» были фантастические, и чтобы их удовлетворить, белорусским крестьянам оставалось отдать названным гостям все, а самим умирать от голода. Помимо официальных поборов с каждого двора на нужды армии наполеоновские реквизиторы выбрали под видом добровольного пожертвования по 2 пуда сена и соломы, по 5 килограммов гороха, по 90 килограммов ржи и овса. Объявив себя освободителем Белоруссии и Литвы «от русского ига», Наполеон тем не менее потребовал в свою казну все недоимки прежней администрации. Так, в Минской губернии он собрал налогов 539 тысяч рублей серебром и еще все задолженности жителей правительству Александра.

Словом, бедствия, обрушившиеся на оккупированные территории, вполне оправдывали те давние, широко ходившие в среде простого народа • слухи, что Наполеон и есть апокалипсический зверь. О такой обрисовке Бонапарта потрудился Синод еще в 1807 году. Тогда, во время неудачных для российской армии боев с французами. Синод по подсказке царского двора подготовил послание ко всем православным христианам, обличающее Наполеона, но по привычке разбивать лоб, когда прикажут молиться, сочинители послания переусердствовали и объявили Наполеона предтечей антихриста. Память о том послании, прочитанном с амвонов всех церквей, была сильна в народе — ведь не каждый год, даже не в каждое столетие церковь называет папстве конкретного избранника Сатаны. Но теперь, в ходе военных действий, послание вспоминалось как пророческое, — действительно, поборы, грабежи, поджоги, насилия над мирным населением, повсеместная смерть, поля, заваленные трупами, мало чем отличались от конца света. Едва ли бы тот библейский для белорусского населения был страшнее.

Так складывалась ситуация в Белоруссии, когда Наполеон привел свою армию к Бородинскому полю. Напротив него стояли войска Кутузова, те самые, которые он так долго и безуспешно преследовал. Наполеон, как известно, обрадовался, наконец-то его желание осуществилось — он мог дать стратегическое сражение, проявить свой военный гений, получить, как ему мнилось, ключ от победной войны. Ему казалось, что, разбив Кутузова, он на завтра же увидит гонцов, привезших ему просьбу о мире на любых условиях, что города и села проявят к нему ту лояльность, которая сопровождала его победы и захваты в других странах Европы, что он продиктует свою волю России так же, как диктовал ее Австрии, Пруссии или Бельгии, и вернется в Париж, осиянный славой покорителя огромной державы, или же отправится покорять следующие земли и т. п. Думая об императоре Александре, он позабыл о народе, вернее, представлял его с роковой для себя неточностью, по впечатлениям гувернеров и гувернанток, путешественников, дипломатов и прочих шпионов, которые поставляли ему сведения о стране,

которую он собирался победить. Собственно, можно только дивиться, как человек, забравшись в глубь России, как топор в колоду, и видя перед собой малочисленную

армию — малую часть того войска, которое способна выставить Российская империя, как этот человек полагал одержать победу. Даже выиграв сражение, он не мог бы стать победителем, ведь поражение армии не означает поражения народа, народ такого поражения не признает и не признавал никогда. Для Наполеона Бородинская битва не могла быть стратегической. В этом он глубоко ошибался.

Стратегической, то есть решающей, переломной, она могла стать для России. Кутузов надеялся положить Бородино рубежом нашествия. В своих расчетах численности войск он опирался на заверения московского губернатора Растопчина, обещавшего усилить 1-ю и 2-ю армии воинским резервом и 80 тысячами народного ополчения. Однако вместо 31 тысячи войск Кутузов получил лишь 14,5 тысячи, а ополченцев поступило 27 тысяч, из которых вошло в строй 10 тысяч человек. Главная беда заключалась в том, что ополченцы были практически безоружны. «Я назначил сборные пункты,— объяснял позже Растопчин,— и в 24 дня ополчение было собрано, разделено по дружинам и одето, но так как недостаточно было ружей, то ополченцев вооружили пиками, бесполезными и безвредными». Это тем более удивительно, что еще 26 июля царь, отъезжая из Москвы в Петербург, писал: «Распоряжения Москвы прекрасны: эта губерния мне предложила 80 тысяч человек. Затруднение в том, как их вооружить, потому что, к крайнему моему удивлению, у нас нет более ружей... Я покамест сформирую много кавалерии, вооруженной пиками. Я распоряжусь дать пики также пехоте, пока мы не достанем ружей».

С того дня, как царь испытал «крайнее удивление», и до дня Бородинской битвы прошло полтора месяца, а необходимого количества огнестрельного оружия за этот немалый срок не собрали... Кто-то из ответственных чиновников поленился, кто-то забыл, кто-то спешил обтяпать личные делишки, и тысячи ополченцев пришли на поле битвы практически, как на расстрел. Так, в корпус генерала Раевского поступило ратников с ружьями 1128 человек, с пиками — 2212 человек; из 1150 ополченцев, которыми доукомплектовали 7-ю дивизию, половина опять же несла на плечах пики. Воинский резерв, который поступил к Кутузову за семь дней до Бородино, состоял сплошь из необстрелянных рекрутов в основном из белорусских губерний. Ими пополнили 27-ю дивизию Неверовского, ту самую, которая в битве прославилась обороной Семеновских флешей, 12-ю и 26-ю дивизии. Отсутствие резервов, неготовность и безоружность ополчений, собственно, и вынудили Кутузова отступить после явной и впечатлительной победы.

Ход Бородинского сражения широко известен и по школьным учебникам истории, и по множеству популярных изданий, а особенно по великолепной его реконструкции, представленной Л. Н. Толстым в «Войне и мире». Поэтому здесь стоит назвать лишь некоторые сведения. Дальнобойность ружей, которыми были вооружены линейные полки, составляла 250—300 шагов, лишь егерские полки имели на вооружении ружья дальнего боя — на 1000 шагов. Поэтому в большинстве боев, составивших сражение, противников разделяли 300 шагов: батальоны вели истребительный огонь, видя друг недруга в лицо, и при малой скорострельности ружей скоро сходились в штыковые атаки. Наполеон потерял на поле битвы убитыми и ранеными 58627 солдат и офицеров, из них пехоты — 42 тысячи и конницы — 16 тысяч. Бородинское поле назвали могилой французской кавалерии. Три четверти потерь наполеоновской армии — 44 тысячи человек — припали на бои за батарею Раевского и Семеновские флешы, где сражались 27, 12, 4, 17, 3, 24, 7, 11, 23-я дивизии и лейбгвардейский Литовский полк. После битвы Кутузов имел 80 тысяч войск, Наполеон — 78 тысяч. Силы сравнялись. Приди в эти дни, 7—8 сентября, несколько дивизий к Кутузову, и весь дальнейший ход войны получил бы

иное течение. Но не было этих дивизий, и войска, выигравшие крупнейшее сражение столетия, продолжили отход и оставили Москву.

Наполеон въехал в старую столицу, вошел в Кремль. По его пониманию, он «поразил Россию в сердце». Меж тем она не чувствовала себя убитой. Кутузов отвел армию в Тарутино, формировались новые корпуса, пополнялись поредевшие, теперь каждый день увеличивал силы России и уменьшал силы Наполеона. За 36 дней сидения в Москве он потерял 30 тысяч человек, за это время Кутузов увеличил свою армию на 40 тысяч солдат. В эти 36 дней вся Россия, пережив гордость Бородинской победы и боль уступки Москвы, всколыхнулась и пришла в такое состояние духа, которое не дает пощады ни себе, ни врагу. Наполеон, томясь на Поклонной горе в напрасном ожидании «московских бояр» с ключами от города, полагал войну законченной. А она только начиналась. По городам и деревням поднималось народное ополчение: донское казачество выставило дополнительно 26 полков, оренбургские казаки — 23 полка, башкиры — 18 полков, мещеряки — 2 полка, тептеры — 1 полк, латыши — 5000 человек, эстонцы провели набор по 17 рекрутов с 500 душ, немецкие колонисты в Саратовской губернии составили свой батальон, калмыки дали 2 полка, Черниговская губерния — 26 тысяч человек, украинские губернии — 11 тысяч казаков, а в целом ополчение составило силу в 320 тысяч человек, из них 50 тысяч в седле. А еще из рекрутов набора 1812 года формировались полки регулярной армии.

Наполеон оказался в Москве, как в загоне, — в нелепом и безвыходном положении. Путь на Украину был закрыт Кутузовым, Москва была обложена полукружьем из Новгородского, Тверского, Владимирского, Рязанского, Тульского, Калужского ополчений, на тыловых коммуникациях хозяйничали партизаны. Армия все более превращалась в многотысячную банду грабителей; призрак близкой смерти бродил среди осквернителей Москвы, помечая ледяным перстом свои жертвы. Сознание роковой неудачи захватило самого Наполеона, подтолкнув сделать шаг от великого к ничтожному, — он решил сжечь Москву, и она запылала. Из 9158 домов пожар обратил в пепелища 6532, из 8500 лавок уцелело 1300, из 550 предприятий сгорело 510. На кострище, в которое превратилась Москва, более нечего было делать. Но как не хотелось позорного бегства! «Я желаю мира, мне нужен мир, я непременно хочу его заключить, только бы честь была спасена», — отчаянно наставлял Наполеон своего адъютанта Лористона, выправляя его к Кутузову. Сначала вопросом чести было войти в Москву, теперь — с честью выбраться. Все должно было быть забыто — сотни тысяч убитых, разорение многих губерний, разруха, сожжение Смоленска и Москвы, лишь бы один самовлюбленный человек не чувствовал себя обесчещенным проигранной войной, не упал с пьедестала славы и поклонения. Но слишком дорого обошлась народам России претензия тщеславного корсиканского дворянина на роль всеевропейского диктатора. Надо было расплачиваться. Эта расплата, начатая битвой у Тарутино, продолжалась в сражениях при Малоярославце, Вязьме, под Красным, у Чашников, в боях за Полоцк, Витебск, Волковыск, в разгроме на Березине и закончилась полным уничтожением наполеоновской армии по пути от Борисова к Ковно. В том самом месте, где Наполеон полгода назад писал в приказе по армии: «Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися?.. Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война? Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию».

Сколько в этих словах демагогии, бравады, слепоты и цинизма. Следствиями войны всегда были не только смерть в бою и увечья от ран. Ей обязательно сопутствуют голод, эпидемии, насилия, ожесточение сердец. «Внести войну» — значит напоить землю

кровью, обратить города и деревни в кострища, людей — в трупы. Но «внести войну» означает и получить войну: «кто с мечом придет от меча и погибнет». Погибала наполеоновская армия не только от меча. Погибала в корчах под ударами крестьянских навозных вил, отточенных кос, снятых с телег оглобель, от той созданной насилием ненависти, которая позволяет равнодушно взирать, как недавние убийцы и грабители, замерзшие и голодные, падают у обочин и их заносит снегом. Кто несет войну, того она и уносит. Отечественная война 1812 года еще раз это наглядно показала.

Немеркнущим символом войны за Отечество стала Бородинская битва, с которой, собственно, и начался обратный счет войне. Для Белоруссии Бородинская битва обрела силу символа действительного соединения с русским народом, соединения, освященного совместно пролитой кровью. Соединение Белоруссии с Россией наступило не по решению Екатерины, австрийского императора и прусского короля, а по чувству народов, испытавших равные бедствия войны на дорогах отступления и на дорогах наступления. Это воссоединение отмечено стоянием плечо к плечу в тяжких битвах, братскими могилами, кровью, которая, смешиваясь, означала братание. Это братание народов и началось на Бородинском поле, усилилось в севастопольскую страду, в войне за свободу болгар, в противостоянии японцам, а потом немцам в первую мировую... Дружба означает полное доверие, и такое доверие зародилось в битвах 1812 года, когда народы России единодушно действовали против нашествия.

Смысл этого нашествия не поддается распознаванию. Смутные наполеоновские планы покорения России, последующего похода на Индию, установления там своего владычества на зло англичанам, о чем свидетельствуют захваченные личные карты Наполеона,— все это граничит с фантазиями, искаженным, больным воображением. Сатанинская идея мирового господства, зародившаяся в голове одного человека и получившая опору в действовавшем механизме беспрекословного подчинения нижестоящих, в развитом аппарате насилия, в циничном грабеже захваченных территорий, обошлась народам Европы в несколько миллионов жертв. Белорусский народ потерял миллион из четырех миллионов. Такие невероятные, убийственные для здорового экономического и духовного развития нации потери Белоруссия за свою историю испытывала каждое столетие. В войнах 1648—1667 годов белорусский народ потерял 1,8 миллиона из 3,6 миллиона, в годы Северной войны 900 тысяч из двух миллионов. Эта катастрофа лучше видится в таких цифрах: ж 1647 году в Белоруссии и Литве проживало 4 миллиона 540 тысяч человек, в 1667 году осталось 2 миллиона 340 тысяч. Погиб каждый второй, каждые 50 из 100. Это в среднем. А на Витебщине погибли каждые 72 из 100, на Мстиславщине каждые 71 из 100, на Полоччине и Минщине каждые 63 из 100 человек. К 1700 году население выросло до 3 миллионов, но уже к 1721 году войны уменьшили его до 1 миллиона 800 тысяч. Погиб каждый третий. Менее чем за век, за жизнь четырех поколений численность белорусского народа не только не увеличилась, а уменьшилась более чем вдвое.

Вернув к XIX столетию 4-миллионную численность, народ Белоруссии в результате наполеоновской авантюры опять потерял миллион человек — каждого четвертого. Довоенный уровень населения был превзойден на 400 тысяч человек лишь к 1863 году. В годы первой мировой войны из семимиллионного населения Белоруссия потеряла 1 миллион 200 тысяч человек. Каждого пятого. И каждого четвертого потеряла в Великую Отечественную войну. В этих ужасающих цифрах жертв, в этой одинаковости губительных наполеоновского и гитлеровского нашествий есть зловещая символика. Историки, исследовавшие эту параллель, показали, что Гитлер пошел проторенной дорогой. Не случайно он приурочил начало войны на 22 июня (Наполеон — 24-го). Не

случайно ездил в Париж поклониться праху Бонапарта, не случайно планы гитлеровского командования, как и план Наполеона, были рассчитаны на блицкриг, а главный удар был нацелен на Москву. Гитлеру казалось, что Наполеон ошибся в малостях, а вот он, Гитлер, эти малые ошибки не повторит, и все закончится иначе, дело гениального корсиканца завершит тевтонский гений.

Если пользоваться тем содержанием древних символов, которые использует народ, то антихрист — это конкретный человеконенавистник, человекоубийца, душегуб, погубитель рода человеческого, детей, стариков, женщин, вообще жизни. И в такой трактовке этого символа Наполеон — действительно антихрист, антихристианин, антикрестьянин, ведь крестьян он более всего и погубил.

XIX век был обходителен с властительными преступниками. Наполеон окончил свой век на острове св. Елены, в изоляции от мира, которому принес столько бед. Там, в одиночестве, оглядывая свою жизнь, он вспоминал и Бородино, и переправу возле Борисова, и бегство из Сморгони. Совесть не мучила его; поля, покрытые тысячами изуродованных тел, горящие города, сироты и калеки ему не снились. Главной ошибки своей жизни он не понял — он всегда нес войну, смерть, страдания. С этой жуткой миссией он прошел вперед и назад и по землям Белоруссии. Только самоотверженность народов России сокрушила созданный им механизм зла, принесла, говоря словами Пушкина, мир земле.